

Сергей  
СОЛОВЬЕВ

История  
падения  
Польши

Восточный  
вопрос



Историческая  
библиотека

Сергей  
СОЛОВЬЕВ



## История падения Польши Восточный вопрос

*«...В то время, когда Польский вопрос вследствие ослабления Польши терял свое прежнее значение для России, вопрос Восточный принимал новую постановку»*



## Annotation

К середине 18 века Речь Посполитая окончательно потеряла свое могущество в Восточной Европе и уже не играла той роли в международных делах региона, как в 17 веке. Ее соседи напротив усилились и стали вмешиваться во внутренние дела Польши, участвуя в выдвижении королей. Власть короля в стране была слабой и ему приходилось учитывать мнение влиятельных аристократов из регионов. В итоге Пруссия, Австрия и Россия совершают раздел Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах. Русский историк Сергей Соловьев детально описывает причины и ход этих разделов.

---

- [Соловьев Сергей Михайлович](#)

- [ГЛАВА I](#)
- [ГЛАВА II](#)
- [ГЛАВА III](#)
- [ГЛАВА IV](#)
- [ГЛАВА V](#)
- [ГЛАВА VI](#)
- [ГЛАВА VII](#)
- [ГЛАВА VIII](#)
- [ГЛАВА IX](#)
- [ГЛАВА X](#)
- [ГЛАВА XI](#)
- [ГЛАВА XII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)

- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)

- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)

- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)

- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)

- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)



- [232](#)
  - [233](#)
  - [234](#)
  - [235](#)
  - [236](#)
  - [237](#)
  - [238](#)
  - [239](#)
  - [240](#)
  - [241](#)
  - [242](#)
  - [243](#)
  - [244](#)
  - [245](#)
  - [246](#)
  - [247](#)
  - [248](#)
  - [249](#)
  - [250](#)
  - [251](#)
  - [252](#)
  - [253](#)
  - [254](#)
  - [255](#)
  - [256](#)
  - [257](#)
  - [258](#)
  - [259](#)
  - [260](#)
  - [261](#)
-

**Соловьев Сергей Михайлович**  
**История падения Польши**

## ГЛАВА I

В 1620 году католицизм праздновал великую победу: страна, в которой некогда было высоко поднято знамя восстания против него во имя славянской народности, — страна, которая и теперь вздумала было восстановить свою самостоятельность вследствие религиозного движения, — Богемия была залита кровию; десятки тысяч народа покидали родину; иезуит мог на свободе жечь чешские книги и служить латинскую обедню. Теперь оставались только два самостоятельных славянских государства в Европе — Россия и Польша; но и между ними история уже постановила роковой вопрос, при решении которого одно из них должно было окончить свое политическое бытие. В том самом 1620 году, столь памятном в истории славян, в истории борьбы их с католицизмом<sup>1</sup>, на Польском сейме волынский депутат, описывая нестерпимые гонения, которые русский народ в польских областях терпел за свою веру, закончил так свою речь: "Уже двадцать лет на каждом сеймике, на каждом сейме горькими слезами молим, но вымолить не можем, чтобы оставили нас при правах и вольностях наших. Если и теперь желание наше не исполнится, то будем принуждены с пророком возопить: "Суди ми, Боже, и рассуди прю мою"".

Суд Божий приближался: русские люди были не одни среди врагов своей веры и народности, за ними стояло обширное и независимое Русское, православное государство. После целого ряда восстаний, страшной резни и опустошений по обеим сторонам Днепра Малороссия поддалась русскому царю. Заветная цель собирателей Русской земли, Московских государей, государей всея Руси, казалось, была достигнута. После небывалых успехов русского оружия, после взятия Вильны царь Алексей Михайлович имел праводумать, что Малороссия и Белороссия, Волынь, Подолия и Литва останутся навсегда за ним. Но великое дело только что начиналось, и для его окончания нужно было еще без малого полтора столетия. Шатость, изменчивость казаков дали возможности Польше оправиться и затянули войну, истощившую Московское государство, только что начавшее собираться с силами после погрома Смутного времени<sup>2</sup>;

гетман Западной Украины Дорошенко передался султану — и этим навлекал и на Польшу, и на Россию новую войну со страшными тогда для Европы турками. Россия и Польша, истощенные тринадцатилетнею борьбою, спешили прекратить борьбу ввиду общего врага; в 1667 году заключено было Андрусовское перемирие: Россия получала то, что успела удержать в своих руках в последнее время, Смоленск, Чернигов и Украину на восточной стороне Днепра, Киев удерживала только на два года, но потом, по Московскому договору 1686 года, Киев был уступлен ей навеки.

Здесь почти на сто лет приостановлено было собирание Русской земли. Сначала опасность со стороны турок требовала не только прекращения борьбы между Россиею и Польшею, но и заключения союза между ними; вслед за тем преобразовательная деятельность Петра Великого подняла другую борьбу — с Швециею. С основания Русского государства, в продолжение осьми веков мы видим в нашей истории движение на восток или северо-восток. В XII и XIII веках историческая жизнь видимо отливает с Юго-Запада на Северо-Восток, с берегов Днепра к берегам Волги; Западная Россия теряет свое самостоятельное существование; Россия Восточная, Московское государство, сохраняя свою самостоятельность, распространяется все на восток, обхватывает восточную равнину Европы и потом занимает всю Северную Азию вплоть до Восточного океана, а на западе не только не распространяется, но теряет и часть своих земель, которые в первой четверти XVII века отошли к Польше и Швеции. Уход русского народа на далекий Северо-восток важен в том отношении, что благодаря ему Русское государство могло окрепнуть вдали от западных влияний: мы видим, что те славянские народы, которые преждевременно, не окрепнув, вошли в столкновение с Западом, сильным своею цивилизацией, своим римским наследством, поникли перед ним, утратили свою самостоятельность, а некоторые даже и народность. Но и вредные следствия удаления русского народа на Северо-восток также видны: застой, слабость общественного развития, банкротство экономическое и нравственное<sup>3</sup>.

Окрепнув, Русское государство не могло долее ограничиваться одним Востоком; для продолжения своей исторической жизни оно необходимо должно было сблизиться с Западом, приобрести его цивилизацию — и в конце XVII века Россия переменяет свое прежнее

направление на восток, поворачивает к западу. Этот поворот, который мы обыкновенно называем преобразованием, тяжкий для народа, пошедшего в науку к чужим народам, теперь, однако, не мог повредить его самостоятельности, ибо Россия являлась перед Европою могущественным государством. Этот поворот России с востока на запад не замедлил обнаружиться и тем, что границы ее начинают расширяться на запад; по-видимому, Россия с начала XVIII века принимает наступательное, завоевательное движение в эту сторону. Всмотримся попристальнее в явление.

С начала XVIII века в отношениях России к Западной Европе господствуют три вопроса: Шведский, Турецкий, или Восточный, и Польский; иногда они соединяются вместе по два, иногда все три. Первый поднялся — Шведский, потому что поворот России с востока на запад был поворот к морю, без которого она задыхалась как без необходимой отдушины, а море было в шведских руках. Россия после упорной и тяжелой борьбы овладела балтийским берегом. Швеция не могла забыть этого и при удобных случаях, при затруднительном положении России, предъявляла свои притязания на возврат старых владений.

Другой господствующий вопрос касался берегов другого моря, Черного, ибо Россия, как известно, родилась на дороге между двумя морями, Балтийским и Черным. Первый князь ее является с Балтийского моря и утверждает в Новгороде, а второй уже утверждает в Киеве и победоносно плавает в Черном море.

Еще до начала русской истории Днепром шла дорога в Грецию, и потому при первых князьях Русских завязалась тесная связь у Руси с Византией, скрепленная принятием христианства, Греческой веры; а по нижнему Дунаю и дальше на юг сидели все родные славянские племена, тем более близкие к русским, что исповедовали ту же греческую веру. Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь от татар, собиралась около Москвы, Московское государство осталось единственным независимым государством греческой веры; понятно, следовательно, что к нему постоянно обращены были взоры народов Балканского полуострова. Но в каком отношении находился султан Турецкий к христианскому народонаселению своих областей, в таком же отношении находился государь Московский и вся Россия к

мусульманскому народонаселению своих восточных областей. Московские послы, возвращавшиеся из Турции, привозили вести: "Христиане говорят одно: дал бы Бог хотя малую победу великому государю, то мы бы встали и начали промышлять над турком. К султану приходили послы от татар казанских и астраханских и от башкир, просили, чтобы султан освободил их от русских и принял под свою власть царство Казанское и Астраханское. Султан принял этих послов ласково, но сказал, чтобы подождали немного".

Чего же надобно было дожидаться, с одной стороны, христианскому народонаселению Турецкой империи, с другой — мусульманскому народонаселению восточных областей России? Дождаться, чтобы взял верх кто-нибудь из двоих: царь Русский, единственный на свете православный государь восточный, как выражались в XVII веке; или султан Турецкий, естественный покровитель всего мусульманства. Кажется, ясно, как этот вопрос относится к истории Европы и христианства!

Вопрос не был решен ни в XVII, ни в первой половине XVIII века; победы Миниха только смыли позор прутский. Россия, так поднятая в глазах Европы Петром Великим, Россия, которой союза наперерыв искали западные державы, — Россия в отношении к хищническому народонаселению Востока находилась в том же положении, в каком остановилась еще в XVI веке. Нестерпимое хищничество орд — Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской — заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самою хищною из орд татарских — с Крымскою, которая находилась под верховною властью султана Турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью; чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольничьих рынков.

Вопрос Крымский не был решен в первой половине XVIII века и передан второй. Передан был и другой подобный же вопрос — вопрос Польский.

Во второй половине XVIII века, волею-неволею, России надобно было свести старые счета с Польшею. Привели дело к концу: 1)

русское национальное движение, совершавшееся, как прежде, под религиозным знаменем; 2) завоевательные стремления Пруссии; 3) преобразовательные движения, господствовавшие в Европе с начала века до конца его.

Религиозная борьба, поднявшая Русь против Польши в XVI веке, повела во второй половине XVI 11-го к знаменитому вопросу о диссидентах, игравшему такую роль в истории падения Польши. Здесь связь явлений, кажется, очень ясна; распространяться о ней не нужно. Что касается до завоевательных стремлений Пруссии, то мы за объяснениями их можем обратиться к немецким историкам, которые скажут нам следующее:

"Шляхетская республика (Польша) в XVI столетии взяла на себя относительно Восточной Европы ту же самую роль, какую, относительно Запада, взял на себя Филипп Испанский, то есть: стремление к всемирному владычеству во имя католицизма. Как Филипп, в качестве защитника старой Церкви, старался подчинить себе Англию, так Сигизмунд Польский старался подчинить себе свою родину, Швецию; как Филипп имел приверженцев во Франции, держал гарнизон в Париже и имел в виду посадить дочь свою на Французский престол, так Сигизмунд имел партию в Москве, занимал своим войском Кремль и, наконец, видел избрание сына своего в цари Московские. Но и следствия были одни и те же как на востоке, так и на западе: повсюду кончилось неудачей.

Как Франция соединилась около Генриха IV, так Россия собралась около Михаила Романова; как в борьбе с Филиппом развивалась юная морская сила Англии, так в польских войнах вырос герой протестантизма, Густав-Адольф<sup>4</sup>. Польша вышла из борьбы столь же изможденною и лишенною средств к жизни, как и Испания. Такая роль Польши в религиозных войнах, конечно, не могла смягчить той застарелой ненависти, которая изначала существовала между Польшей и Немецким Севером. Целые века оба народа вели борьбу за широкие равнины между Эльбой и Вислой, которые сначала были заняты германцами, потом, по удалении последних во время великого переселения народов, стали жилищами славян. Здесь немецкая колонизация снова завоевала Бранденбургские марки и Силезию, потом немецкий меч покорил Прусские земли. Господство Немецкого ордена утвердилось здесь сначала с согласия поляков; но когда орден

перестал признавать верховную власть Польши, последовала смертельная борьба, кончившаяся, после вековых войн, полным покорением ордена. Восточная Пруссия стала польским леном, западная — польскою провинцией. Страны эти приняли протестантизм, и Восточная Пруссия сделалась через это светским герцогством, которое скоро после того досталось курфюрстам Бранденбургским.

Западная Пруссия, которой горожане и дворянство большею частью были протестантами, приняла относительно короля Сигизмунда положение, подобное положению Нидерландов относительно Филиппа II; враждебное отношение провинции к королевству, немецкого языка к польскому было усилено враждою религиозной, здесь победа католической реакции повлекла бы за собою непосредственно падение немецкого элемента. Курфюрстам Бранденбургским удалось принудить Польшу отказаться от своих ленных прав, и Восточная Пруссия стала самостоятельным государством. Польша подчинилась необходимости, но не забыла своих притязаний: скоро потом она заключила союз с Людовиком XIV для возвращения себе Пруссии, и, когда Фридрих I принял титул Прусского короля, посыпались протесты польских магнатов. Так родилось Прусское государство в борьбе за немецкую национальность и свободу вероисповедания, в полной внутренней и внешней противоположности к Польше. Вражда заключалась здесь в натуре вещей. Кто об этом не пожалеет? Но что значит человеческое сожаление в отношениях между народами? Пока Польша существовала, она должна была стремиться сделать Кенигсберг опять польским городом, а Данциг — католическим. Пока Бранденбургия оставалась страной немецкою и протестантскою, главная задача ее состояла в том, чтобы сделать мархию и герцогство целостным государством чрез освобождение Западной Пруссии"<sup>5</sup>.

Третьею причиной падения Польши указали мы преобразовательные движения XVIII века. Преобразовательная деятельность европейских правительств началась на востоке в последних годах XVII века: вследствие преобразовательной деятельности Петра Великого Восточная Европа приняла новый вид и соединилась с Западною; во второй половине века на новые движения в литературе и обществе откликнулись три монарха: Екатерина II — в



России, Фридрих II — в Пруссии, Иосиф II — в Австрии. Во Франции правительство не сумело удержать в своих руках направление преобразовательного движения — и следствием был страшный переворот, взволновавший всю Европу. Среди преобразовательных движений, которыми знаменовался век, — среди движений, происходивших всюду около, Польша не могла оставаться спокойною, тем более что в ней преобразования были нужнее, чем где-либо: вследствие безобразно одностороннего развития одного сословия, вследствие внутреннего безнравия Польша потеряла свое политическое значение; ее независимость была только номинальною, более века она уже страдала изнурительною лихорадкою, истощившею ее силы. Естественно, что некоторые поляки должны были прийти к мысли, что единственным средством спасения для их отечества было преобразование правительственных форм; с этой мыслию вступил на престол король Станислав-Август Понятовский, который хотел быть для Польши тем же, чем его знаменитые соседи — Екатерина, Фридрих, Иосиф — были для своих государств. Но что бывает спасительно для крепких организмов, то губит слабые, и попытка преобразования только ускорила падение Польши. Станислав Понятовский взял на себя задачу, которая пришлась не по силам его как короля и не по силам его как человека.

Чтобы понять преобразовательные попытки в Польше во второй половине XVIII века, мы должны обратиться к устройству республики, в каком застал ее Станислав-Август. Польша представляла собою обширное военное государство. Вооруженное сословие, шляхта, имея у себя исключительно все права, кормилась на счет земледельческого, рабствующего народонаселения; город не поднимался, и его народонаселение не могло сопоставить с шляхтою другую, уравнивающую силу, потому что промышленность и торговля были в руках иностранцев, немцев, жидов. Войско, следовательно, было единственною силою, могшею развиваться беспрепятственно и определить в свою пользу отношения к верховной власти, которая была сдержана в самом начале Польской истории и потом все никла более и более перед вельможеством и шляхтою<sup>6</sup>. Отсутствие государственных и общественных сдержек, сознание своей силы, исключительной полноправности и независимости условливали в польской шляхте крайнее развитие личности, стремление к

необузданной свободе, неумение сторониться с своим я перед требованиями общегоблага.

Король избирался одною шляхтою. Шляхта, собиравшаяся на провинциальные сеймы (сеймики), выбирала послов на большой сейм, давала им наказы, и по возвращении с сейма они обязаны были отдавать отчет избирателям своим. Сейм собирался каждые два года сам собою. Для сеймового решения необходимо было *единогласие*: каждый посол мог *сорвать сейм*, уничтожить его решения, провозгласивши свое несогласие (*veto*) с ними: знаменитое право, известное под именем *liberum veto*. В продолжение 30 последних лет все сеймы были сорваны. Против произвольных действий правительства было организовано и узаконено вооруженное восстание — *конфедерация*: собиралась шляхта, публиковала о своих неудовольствиях и требованиях, выбирала себе вождя, маршала конфедерации, подписывала конфедерационный акт, предъявляла его в присутственном месте, и конфедерация, восстание получало законность.

Для управления при короле находились независимые и бессменные сановники, в равном числе для Польши (для короны) и для Литвы: 2 великих маршала для гражданского управления и полиции; 2 великих канцлера и 2 вице-канцлера заведовали судом, были посредниками между королем и сеймом, сносились с иностранными послами; 2 великих и 2 польных гетмана начальствовали войсками и управляли всеми войсковыми делами; 2 великих казначея с 2 помощниками управляли финансами; 2 надворных маршала заведовали двором королевским.

Редкий государь восходит на престол с такими миролюбивыми намерениями, с какими взошла на русский престол Екатерина II. Это миролюбие проистекало из убеждения в необходимости прежде всего заняться внутренними делами, поправить расстроенные финансы, а для этого нужно было, по расчету императрицы, по крайней мере пять лет мира. Отсюда понятно, с каким беспокойством смотрела Екатерина на Польшу, в которой происходили сильные волнения партий, грозившие еще усилиться, потому что королю Августу III оставалось недолго жить и предстояли королевские выборы. Екатерина должна была поддерживать свою партию между польскими вельможами, оказывать покровительство русскому православному

народонаселению, подававшему ей жалобы на притеснения от католиков; должна была заботиться, чтобы избран был в короли человек, от которого ей нечего было бы опасаться в будущем, и в то же время должна была хлопотать изо всех сил, чтобы все это было достигнуто мирным путем. Задача очень нелегкая! В Польше боролись две партии: партия придворная, во главе которой стояли всемогущий при Августе III министр Брюль и зять его Мнишек, и партия, во главе которой стояли князья Чарторыйские; последняя партия держалась России, и это определяло взгляд русского двора на польские дела: чтобы поддержать своих, надобно было действовать против брюлевской, или саксонской, партии, противодействовать ее стремлению возвести на польский престол по смерти Августа III сына его, курфюрста Саксонского.

Трудность задачи, как мы видели, состояла в том, чтобы достигнуть своих целей мирным путем и в то же время не показать слабости, неспособности к решительным действиям. Встревоженная известиями, что придворная партия готова употребить насилия над членами партии Чарторыйских, Екатерина 1 апреля 1763 года послала приказание послу своему при польском дворе Кайзерлингу: "Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кёнигсштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу Запорожских казаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбою позволить им отомстить за оскорбления, которые наносит им король Польский". Относительно православных Екатерина писала Кайзерлингу: "Епископ Георгий Белорусский<sup>7</sup> подал мне просьбу от имени всех исповедующих греческую веру, с жалобами на бедствия, которые они претерпевают в Польше; поручаю их вашему покровительству; сообщите мне, что нужно для усиления моего значения там, моей партии; я не пренебрегу ничем для этого". Но в то же время она требовала от Кайзерлинга, чтобы он сдерживал рьяность партии Чарторыйских; так, писала она от 4 июля: "Я вижу, что наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедерацию; но я не вижу, к чему поведет конфедерация при жизни короля Польского? Говорю вам сущую правду: мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в порядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя; моя армия не может выступить в походе этом году; и потому я вам рекомендую сдерживать наших друзей, а главное, чтобы они не

вооружались, не спросись со мною; я не хочу быть увлечена далее того, сколько требует польза моих дел". От 26 июля: "В последнем моем письме я приказывала вам удерживать друзей моих от преждевременной конфедерации; но в то же время дайте им самые положительные удостоверения, что мы их будем поддерживать во всем, что благоразумно, будем поддерживать до самой смерти короля, после которой мы будем действовать, без сомнения, в их пользу".

Между тем не одну Варшаву волновал вопрос: кому быть королем по смерти Августа III? Сильно занимались им также в Петербурге и Москве, и Нестор русских дипломатов граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин настаивал, что всего лучше возвести на престол сына Августа III, будущего курфюрста Саксонского. Но иначе определил Совет, созданный императрицею, когда получено было известие, что король очень слаб: Совет решил, что при будущих выборах надобно действовать в пользу Пяста (природного поляка), и именно стольника Литовского графа Станислава Понятовского; если же его нельзя, то двоюродного брата его, князя Адама Чарторыйского, сына князя Августа, воеводы Русского; хранить это в тайне, держать 30 000 войска на границе и еще 50 000 наготове.

Наконец решительная минута наступила: 5 октября 1763 года умер король Август III. "Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля Польского; король Прусский из-за стола вскочил, как услышал", — писала Екатерина Панину. Старик Бестужев опять подал мнение в пользу курфюрста Саксонского, которого следовало поддерживать: "во-1) главнейше вследствие того намерения, которое уже о нем при государыне императрице Елисавете Петровне принято и союзным дворам — Венскому, Французскому и самому Саксонскому — сообщено было, а притом и в таком рассуждении, что 2) всякий избираемый природный поляк, или Пяст, сколь бы знатен и богат ни был, без чужестранной денежной помощи себя содержать не в состоянии; следовательно, в случае перевеса от кого-либо другого денежной дачи для России и вредителен будет. 3) Равномерно и из иностранных принцев, а того больше из усилившегося Бранденбургского Дома для России и ее интересов отнюдь индифферентен быть не может. 4) Государь Петр Великий по своей прозорливости и находя пользу своих интересов об удержании польской короны в Саксонском доме со всею колеблемостию оногo

наивозможнейше старался. 5) Избрание помянутого курпринца, может быть, не столько затруднений возымает, когда без сумнения поляки уже к тому исподволь приготовлены, так что, может быть, и нужды не будет гораздо великих денег на то отсюда тратить.

Между тем по имеющимся в Коллегии иностранных дел делам известно, что хотя поляки желают лучше себе королем Пяста, но в то же время, подвергая выбор одного сколько от самих себя, столь же больше от мелкого шляхетства крайним затруднениям или и самой невозможности, устремляются уже в своих мыслях главнейше на двух иностранных князей, то есть принца Карла Лотаринского и ландграфа Гессен-Кассельского, из которых о первом Венский, а о последнем Берлинский двор стараются, имея уже для того в Польше некоторые партии. Но как избрание того или другого из сих принцев российским интересам в рассуждении натуральной их преданности и зависимости от Венского или Берлинского двора полезно, а потому и индифферентно быть не может, то необходимо нужно немедленно избрать и назначить из других иностранных принцев или из Пястов такого кандидата, на которого бы Россия совершенно полагаться могла и который бы свое возвышение только ее императорскому величеству долженствовал и от нее единой зависим был. Если ее императорскому величеству неугодно будет избрать и назначить к тому нынешнего курфюрста Саксонского, то выбор из других иностранных или из его же Саксонского дома удельных принцев ничем разниться не мог бы и от самых Пястов, потому что неминуемо надлежало бы избираемого из первых или последних короля Польского для обязательства к России ежегодными денежными субсидиями снабжать.

Что особливо до Пястов касается, то, сколько графу Бестужеву-Рюмину известно, находятся в Польше только двое к тому способных, а с другой стороны, и для России надежных, а именно — князь Адам Чарторижский да стольник Литовский граф Понятовский. Но как первый очень богат, следовательно, не имея большой нужды в получении от России денежного вспоможения, хотя в руки какой другой иностранной державы и не отдастся, однако ж и от России совсем зависим быть не похочет; то в рассуждении сего важного обстоятельства и в случае если всевысочайшее ее императорского величества соизволение точно на выбор Пяста будет, не без основания кажется, что сей последний, то есть граф Понятовский, для России и

ее интересов гораздо надежнейшим и полезнейшим был бы, столь наипаче, что, пользуясь в прибавок к своему собственному достатку некоторым ежегодным отсюда денежным вспоможением, натурально был бы в российской зависимости, а сверх того и возвышение свое единственно ее императорскому величеству долженствовал бы".

Старик жил воспоминаниями прошедшего времени, когда он был канцлером императрицы Елисаветы и сватал саксонскую принцессу за наследника русского престола. Странно было теперь толковать о кандидатуре Саксонского курфюрста, когда поддерживать последнего значило губить "своих друзей"; когда в Курляндии русские войска действовали против принца Карла, сына Августа III. Говорили, будто Бестужев действовал против Понятовского в угоду Орловым, врагам последнего; но мы видели, что Бестужев предлагал Понятовского, если уже непременно нужно выбрать Пяста; вернее, что самолюбивый старик защищал собственное дело: при Елисавете Петровне было решено оставить Польскую корону в Саксонской династии!

Король Прусский выскочил из-за стола, как услышал о смерти Августа III. Мысль об увеличении своих владений на счет Польши не покидала Фридриха II; но теперь было не время ее высказывать. За приобретение Силезии от Австрии он поплатился очень дорого. Истощенный Семилетнею войной, которая едва было не довела его до гибели, он стоял одинок и сильно желал опереться на союз с императрицею Русской. С этою целию он решился войти в виды Екатерины относительно избрания нового короля, поддерживать ее кандидата, лишь бы он не предпринимал никаких преобразований в государственном устройстве Польши. Екатерина, лично нерасположенная к Саксонской династии и к Марии-Терезии, сочувствуя Фридриху как человеку и не имея причин опасаться его как государя, рада была действовать с ним заодно в Польше, и самая дружеская переписка завязалась между ними.

Фридрих не щадил фимиама перед императрицей и женщиною; Екатерина отвечала ему в том же тоне. Еще до кончины Августа III Фридрих сообщил Екатерине известия из Вены, что там думают, какие имеют подозрения относительно видов на Польшу со стороны России; просил не тревожиться мнениями и подозрениями Венского двора, потому что в Вене нет денег, и Мария-Терезия вовсе не в таком выгодном положении, чтобы могла начать войну. "Вы достигнете своей

цели, — писал Фридрих, — если только немножко прикроете свои виды и накажете своим посланникам в Вене и Константинополе опровергать ложные слухи, там распускаемые; в противном случае ваши дела пострадают. Вы посадите на Польский престол короля по вашему желанию и без войны, а это последнее в сто раз лучше, чем опять погружать Европу в пропасть, из которой она едва вышла. Саксонцы сильно встревожились; причины тревоги — дела курляндские и вступление в Польшу отряда русских войск под начальством Салтыкова. Крики поляков — пустые звуки; короля Польского бояться нечего: едва в состоянии он содержать семь тысяч войска. Но они могут заключить союзы, которым надобно воспрепятствовать; надобно их усыпить, чтоб они заранее не приняли мер, могущих повредить вашим намерениям". Фридрих не скрывал, что желал бы видеть на польском престоле Пяста; Екатерина отвечала, что это и ее желание, только бы этот Пяст не был старик, смотрящий в гроб, ибо тогда начнутся новые волнения и интриги с разных сторон в чаянии скорых выборов.

Смерть Августа III повела к объяснениям более решительным относительно его преемника. Едва Август успел испустить дух, как невестка его, новая курфирстина Саксонская, отправила письмо к Фридриху II с просьбою помочь ее мужу в достижении польского престола и быть посредником между ним и Россией, предлагая сделать для последней все возможные удовлетворения. Фридрих, отправляя копию этого письма в Петербург, писал Екатерине: "Если ваше императорское величество подкрепите теперь свою партию в Польше, то никакое государство не будет иметь права этим оскорбиться. Если образуется противная партия, то велите только Чарторыйским попросить вашего покровительства; эта формальность даст вам предлог в случае нужды отправить войско в Польшу; мне кажется, что если вы объявите Саксонскому двору, что не можете согласиться на избрание курфюрста в короли Польские, то Саксония не двинется и не запутает дела".

Навстречу этому письму шло письмо из Петербурга в Берлин. "Получивши известие о смерти короля Польского, мне было естественно обратиться к вашему величеству, — писала Екатерина Фридриху, — так как мы согласны насчет избрания Пяста, то следует нам теперь объясниться, и без дальнейших околичностей я предлагаю

вашему величеству между Пястами такого, который более других будет обязан вашему величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если ваше величество согласны, то это стольник Литовский — граф Станислав Понятовский, и вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет наименее средств получить ее, следовательно, наиболее обязан будет тем, из рук которых он ее получит. Этого нельзя сказать о главах нашей партии: тот из них, кто достигнет престола, будет считать себя обязанным сколько нам, столько же и своему уменью вести дела. Ваше величество мне скажете, что Понятовскому нечем будет жить; но я думаю, что Чарторыйские, заинтересованные тем, что один из их дома будет на престоле, дадут ему приличное содержание. Ваше величество, не удивляйтесь движениям войск на моих границах: они в связи с моими государственными правилами. Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно".

Фридрих отвечал, что согласен и что немедленно же прикажет своему министру в Варшаве действовать заодно с Кайзерлингом в пользу Понятовского. Прусскому королю дали знать, что французы и саксонцы интригуют изо всех сил, чтобы внушить полякам отвращение к Пясту; но Фридрих не боялся этих интриг: он был твердо уверен, что, если русский и прусский министры вместе объявят главным вельможам о желании своих государей, — те сейчас же согласятся. Фридрих был спокоен и относительно Австрии: по его убеждению, Венский двор не вмешивается в выборы, лишь бы соблюдены были формальности. "Что же касается Порты Оттоманской, — писал Фридрих Екатерине, — то я в этом отношении предупредил ваши желания". Фридрих приказал своему министру в Константинополе действовать согласно с желаниями обоих дворов, брался внушить интернунцию, что избрание Пяста в короли Польские вполне согласно с интересами султана. "Я с своей стороны, — писал Фридрих, — не пощажу ничего, что бы могло успокоить умы, чтобы все прошло спокойно и без кровопролития, и я заранее поздравляю ваше императорское величество с королем, которого вы дадите Польше". Король не упускал случая высказаться, что смотрит на мирное избрание Понятовского как на дело решенное. Екатерина послала ему в подарок астраханских арбузов; Фридрих (7 ноября 1763 г.) отвечал на эту любезность: "Кроме редкости и превосходного



вкуса плодов бесконечно дорого для меня то, от чьей руки получил я их в подарок. Огромное расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным сеймом: но вы умеете соединить все в сфере вашей деятельности; та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе".

Прошел 1763 год. В начале 1764-го Фридрих не переставал утверждать Екатерину в тех же надеждах: Франция и Австрия будут мешать при выборах только тайком, интригами, а не силою; надобно бояться одного — чтобы они своими интригами не подняли Порту. Относительно поляков Фридрих беспокоился менее всего: "Деньгами и угрозами вы заставите их сделать все, что вам угодно; но, разумеется, сначала должно употребить все кроткие меры, чтобы не дать соседям предлога вмешаться в дело, которое вы считаете своим". Фридрих уверял, что не будет ничего серьезного, основываясь на своем знании национального польского характера: "Поляки горды, когда считают себя вне опасности, и ползают, когда видят опасность. Я думаю, что не будет пролито крови: разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь шляхтича на сеймике. Поляки получили некоторую сумму денег от Саксонского двора; кто захочет получить их, тот произведет некоторый шум; но все и ограничится шумом. Ваше величество приведете в исполнение свой проект: этот оракул вернее Калхасова".

Оракул действительно оказался верным. Как обыкновенно бывало при королевских выборах, Польша взволновалась борьбою партий: в челе одной стороны стояли Чарторыйские, в челе другой, противной им стороны находились — великий гетман коронный Браницкий<sup>8</sup>, первый богач Литвы князь Карл Радзивилл и киевский палатин — граф Потоцкий; в Литве против Радзивилла действовали Масальские: один — гетман, другой — епископ Виленский. По обычаю, усобица была прекращена иностранным оружием: Чарторыйские призвали русские войска, которые заставили Браницкого и Радзивилла бежать за границу; восторжествовавшая сторона выбрала королем Станислава Понятовского (7 сентября 1764 г.). "Поздравляю вас с королем, которого мы сделали, — писала Екатерина Никите Ивановичу Панину, управлявшему внешними сношениями, — сей случай наивяще умножил к вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры".

Что всего важней было для Екатерины — торжество ее в Польше не повело к нарушению мира в Европе; Австрия и Франция не двинулись. Несмотря на то, спокойствие со стороны Польши не могло быть продолжительно: с одной стороны, поднимался там старый вопрос о диссидентах, с другой — новый, о преобразованиях. Еще до королевского избрания Чарторыйские, пользуясь своим торжеством, выказали явное стремление к преобразованиям, и новый король вступил на престол с тем же намерением. Фридрих II встревожился. "Многие из польских вельмож, — писал он Екатерине<sup>9</sup>, - желают уничтожить *liberum veto* и заменить его большинством: это намерение очень важно для всех соседей Польши; согласен, что нам нечего беспокоиться при короле Станиславе; но на будущее время? Если ваше величество согласитесь на эту перемену, то можете раскаяться, и Польша может сделаться государством, опасным для своих соседей; тогда как, поддерживая старые законы государства, которые вы гарантировали, у вас всегда будут средства делать перемены, когда сочтете это для себя нужным. Чтоб воспрепятствовать полякам предаться первому энтузиазму, всего лучше оставить у них русские войска до окончания сейма".

Екатерина дала знать Понятовскому, чтоб он удержался от преобразований. Король исполнил ее желание, но отвечал откровенно, что это самая тяжелая для него жертва: "Смею думать, ваше императорское величество, видите самое сильное доказательство моего безграничного уважения к вам в той жертве, которую я принес на нынешнем сейме: я пожертвовал тем, что мне всего дороже. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение *liberum veto* составляют предметы самых пламенных моих желаний. Но вы пожелали, чтоб этого еще пока не было, — и это даже не было предложено". Чтобы выпросить у Екатерины позволение приступить немедленно к реформам, Станислав-Август начал представлять ей, что реформы необходимы для исполнения главного его желания — полноправия диссидентов. "Вы хотите, чтобы Польша оставалась свободною, — писал он ей<sup>10</sup>, - вы желаете, чтобы союз Польши с вашею империей стал еще теснее и выгоднее для обоих народов, чем прежде; чтобы каждый гражданин польский, включая сюда и диссидентов, любил вас и был вам обязан. Я также хочу, чтобы Польша оставалась свободною, и потому-то я желал бы извлечь ее из

того страшного беспорядка, который в ней царствует. Множеству ревностных патриотов до того стала противна анархия, что они начинают громко говорить, что предпочтут абсолютную монархию тем постыдным злоупотреблениям своеволия, если уже невозможно достигнуть свободы более умеренной. От этого-то отчаяния я хочу их предохранить; но для того единственное средство — сеймовые преобразования. Ваше величество принимает живое участие в диссидентах: но для их дела, как для всякого другого, нужно более порядка на сеймах, а этого нельзя достигнуть без исправления наших сеймиков".

Но Станиславу-Августу было трудно убедить кого бы то ни было в последнем. Опыт был сделан, и оказалось, что успех дела диссидентов не мог зависеть от преобразования сеймиков и сейма: едва только примас упомянул на сейме о требованиях диссидентов, как страшный, всеобщий крик остановил дело; здесь, следовательно, не один шляхтич своим veto сорвал сейм. Сам король уведомил об этом Екатерину, выставляя трудность дела и свое усердие в исполнении желаний русской императрицы: "Никогда во всю мою жизнь ничего не добивался я с таким трудом, с каким добился у сейма позволения вступить с вами в переговоры насчет предметов, вами желаемых. *Вопреки мнению всех моих советников* я поднял вопрос о диссидентах, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса в моем присутствии"<sup>11</sup>.

Но могла ли Екатерина отказаться от своего требования? Могла ли Россия отказать в помощи русскому народу? Дело шло не об одном уравнивании прав православных с католиками; дело шло о том, что полтора ста церквей были отняты у православных. Екатерина не могла не помочь диссидентам, показывая в то же время, что готова одинаково помогать и Польше, защищать ее от своего союзника, короля Прусского. Чтобы сколько-нибудь поправить истощенную казну, польское правительство издало тариф относительно привозных товаров. Прусскому королю это очень не понравилось, потому что пошлины легли преимущественно на привозимые из его владений товары. Чтобы отомстить, он устроил на Висле, недалеко от Мариенвердера, таможню, снабженную батареей; пушки грозили гибелью каждому польскому судну, которое бы отказалось заплатить пошлину с перевозимых товаров, а пошлина простиралась от 10 до 15

процентов. Поднялся всеобщий вопль. Станислав-Август обратился к Екатерине с просьбой о помощи, написав к Фридриху письмо в сильных выражениях. По поводу этого письма Екатерина писала к Панину: "Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Написано прекрасно, но вовсе не прилично. О, как бы вы забранились, если бы я написала такое блестящее, но вредное для моих дел письмо! Прошу вас, поставьте Польского короля на ту же ногу, на, какую вы поставили меня. Вы этим доставите ему величайшее благо, то есть спокойное и благоразумное царствование; сдержите его живость, не дайте ему показывать столько остроумия насчет пользы его дел".

По ходатайству русской императрицы мариенвердерская таможня была снята. "Уничтожение мариенвердерской таможни, — писал Станислав Екатерине, — доказывает, с одной стороны, истинную дружбу вашего императорского величества ко мне, с другой — силу вашего влияния на короля Прусского. Страшно мне было думать, что несчастье, неизвестное Польше при моих предшественниках, постигло ее в мое царствование и что беда пришла со стороны того государя, который содействовал моему избранию; уже начались было толки, что мариенвердерская таможня была выговорена в награду за это содействие".

Важная услуга была оказана; но за нее следовало заплатить. Вопрос о диссидентах стоял на очереди.

## ГЛАВА II

В 1653 году посол Московского царя Алексея Михайловича князь Борис Александрович Репнин потребовал от польского правительства, чтобы православным русским людям вперед в вере неволи не было и жить им в прежних вольностях. Польское правительство не согласилось на это требование, и следствием было отпадение Малороссии. Через сто с чем-нибудь лет посол Российской императрицы, также князь Репнин, предъявил то же требование, получил отказ, и следствием был первый раздел Польши.

Мы видели, какую важную долю влияния на благоприятный исход польских дел императрица приписывала Никите Ивановичу Панину: "Я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры", и это говорилось не в рескрипте, назначенном для публики. Панин был недоволен стариком Кайзерлингом, неудовлетворительности его донесений о положении дел, и потому, не отзывая Кайзерлинга, отправил к нему на помощь родственника своего князя Николая Васильевича Репнина. В сентябре 1764 года Кайзерлинг умер, и Репнин остался один. Всякому, кто знаком с иностранными известиями об описываемых событиях, Репнин необходимо представляется человеком стремительным на захват, на решительные, насильственные меры. Не предупреждая событий, мы позволим себе только напомнить, что Репнин был орудием Панина, действовал по его инструкциям; но в характере Панина была ли эта стремительность? Все отзывы о Панине согласны в одном: все указывают на его медленность. Мы видели из собственного признания Екатерины, какое влияние эта медленность, осторожность министра производили на решения пылкой императрицы: "О, как бы вы забранились, если бы я написала такое блестящее, но вредное для моих дел письмо! Прошу вас, поставьте Польского короля на ту же ногу, на какую вы поставили меня".

Действительно, инструкции Панина послам в Польшу проникнуты осторожностью, желанием как можно менее обнаруживать вмешательства в дела. Так, например, когда Кайзерлинг и Репнин дали знать, что Чарторыйские требуют русского войска, Панин подал мнение: "Тысяча легких войск уже готова, и ожидают

польских комиссаров для препровождения, что казалось бы уже и довольно в соответствие саксонским войском; но, по-видимому, наши друзья ищут сколько возможно облегчать свои собственные депансы и себя усиливать нашими ресурсами, почему мое всеподданнейшее мнение: другую тысячу, по их желанию, хотя и заготовить, но, однако ж, к графу Кайзерлингу наперед написать, чтоб наши друзья гораздо осмотрелись, *не могут ли они таким безвременным введением к себе чужестранных войск воспричинствовать против себя национальную недоверенность и противу нас подозрение*, чем наипаче противные могут воспользоваться и от чужестранных держав достать себе большее деньгами подкрепление, а нам навести от них какие-либо беспокойства новыми делами с их стороны.

Итак, не лучше ли остаться при первом нашем плане, чтобы, не притворяясь и не отлагая, устремиться к изгнанию саксонцев из Польши производимыми движениями наших войск на границах и перепущением в Польшу готовых уже тысячи казаков, и потом стараться единодушно взять поверхность над противными ныне раздробленными факциями собственным вооружением благонамеренных магнатов и подкреплением их нашими деньгами, нашим кредитом и нашею в их делах инфлюенциею, соединенною с королем Прусским, и, наконец, тою опасностью, которую натурально поляки иметь должны от нас, когда их дело пойдет против нашей воли, а особливо в такое время, как у нас со всех сторон руки останутся свободны, что мы несумненно иметь и будем, если с *благоразумною умеренностию* пойдем в сем деле, не напрягая излишне свои струны". На этом мнении Екатерина написала: "Я весьма с сим мнением согласна и, прочитав промеморию, почти все те же рефлексии делала".

Имеем право ожидать, что и в диссидентском деле Панин будет поступать так же с благоразумною умеренностию — и не ошибаемся. Вот что писал он Репнину 13 октября 1764 года: "От проницания вашего, согласия с прусским послом и от соображения имеющихся у вас ее императорского величества постановлений долженствует зависеть благовременное кстати употребление таких *откровенно* избираемых и употребляемых способов (изъяснения с королем и лучшими по характеру магнатами), дабы если совершенная невозможность одержать для диссидентов все у них похищенное, по крайней мере, однако же, что ни есть довольно знатное и важное в

пользу их восстановлено и исходатайствовано было. Нет нужды распространяться здесь, сколь много польза и честь отечества нашего, а особливо персональная ее императорского величества слава интересованы в доставлении диссидентам справедливого удовлетворения.

Для приклонения к тому короля и всех способствовать могущих магнатов довольно уже, и кроме формальных трактатами определенных обязательств представлять им в убеждение, что когда ее императорское величество для пользы республики не жалела ни трудов, ни денег, дабы ее, в толь смущенное и критическое время, каковы для нее бывали обыкновенно прежние междоцарствия, сохранить от беспокойств, гражданского нестроения и других с оным неразлучно соединенных бедствий, безо всякой для себя из того корысти, то коль справедливо она может требовать и ожидать от благодарности королевской и всея республики, чтоб правосудие и столь к персональной ее величества славе, сколько к собственной чести нынешнего польского века служащее предстательство и заступление ее возымели действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои, вопреки торжественным трактатам, собственным польским фундаментальным законам, общей вольности вольного народа и множеству королевских привилегий, невинно страждут под игом порабощения за одно исповедание других признанных христианских религий, в коих они рождены и воспитаны.

К сим представлениям может ваше сиятельство присовокупить все те, кои вы сами за приличные почести изволите, отзываясь в случае крайности, то есть когда все другие средства втуне истощены будут, что и то им предостерегать должно, дабы ее императорское величество, увидя к заступлению своему в справедливом деле столь малое со стороны республики уважение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства приневоленною одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она от признания знатного им своего благодеяния и дружбы иначе достигнуть не могла, и чтоб для того ее величество не указала далее ставить в землях ее те самые войска, кои по ею пору столь охотно и с таким знатным иждивением употребляемы были для единой пользы и службы республики, которая долженствовала бы сама собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан уничтожается общая ее вольность и равенство. При

вынужденном иногда употреблении сей угрозы надобно будет вашему сиятельству согласовать с словами и самое дело и сходно с тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребывание, дабы, по крайней мере, страхом вырвать у поляков то, чего от них ласково добиться не можно было. *Не думаю я, да и думать почти нельзя,* чтобы можно было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они лишились: довольно когда они в некоторое равенство прав и преимуществ республики приведены и для переды от нового гонения совершенно ограждены будут, дабы инако продолжением прежнего утеснения не могли они, и в том числе и наши единоверные, к невозвратному ущербу государственных наших интересов вовсе искоренены быть".

Впоследствии (15 сентября 1766 года) Репнин получил от императрицы подробную инструкцию, чего требовать для диссидентов: "Мы не удаляемся, конечно, от дозволения и сохранения господствующей религии некоторых пред терпимыми отличностей, как во всяком благоустроенном правлении обыкновенно бывает, а посему и согласимся мы охотно на исключение диссидентов из сената и от чинов вне оного, всю доверенность республики требующих, то есть гетманских, если б во взаимство сей важной уступки возвращено было диссидентам право избрания в послы на сейм, в депутаты к трибуналам и городовые старосты, с узаконением, чтоб для соблюдения им навсегда сего права, быть из них в некоторых воеводствах непременно к каждому сейму третьему послу при двух католиках. За важную бы от вас услугу нам и отечеству сочли мы одержание от вас всего вышеписаного, но если и не будет во всем пространстве соответствовать успех сему нашему определению, не припишем мы, однако, недостатку усердия или трудов ваших, зная весьма, сколько трудно или паче невозможно преодолеть гидру суеверия и собственную корысть в людях; и так полагаем мы за ультиматум нашего желания, чтоб всемерно одержать для диссидентов способность владеть городскими староствами, дабы они тем или другим образом некоторое участие в земском правлении, а чрез то самое и вящую, нежели ныне, сами по себе важность приобрести могли с совершенною свободой исправления их религии во всех пунктах, до церкви касающихся.



Если сейм не согласится ни на что, надлежит вам, имея в Варшаве диссидентов сколько возможно в большем числе, приготовить их к тому, дабы они, отъезжая тогда все вдруг от сейма с учинением по тамошним обрядам правительства протестации, могли составить между собою конфедерацию и оною формально просить помощи и защищения у нас или же и вообще у тех своих соседей, которые ныне в их пользу интересуются. Мы верно полагаемся на ваше благоразумие в таком крайнем ресурсе, что вы его, без самой неизбежной нужды и с нами не описавшись, в действо не произведете, однако ж тем не меньше вы можете оным яко последнею нашею твердою резолюцией воспользоваться и при негоциях ваших тут, где надобно будет, в конфиденцию об ней сообщать, с тем чтоб поляки знали и удостоверены были, что мы не допустим успокоить сие дело по их единовидным желаниям, а поведем оное лучше до самой крайности".

Напрасно в Петербурге, желая действовать с благоразумною умеренностью, урезывали требования диссидентов: в Польше не хотели уступить ничего. Мы видели, что еще в 1763 году православный епископ Могилевский, Георгий Конисский, подал императрице жалобу на жестокие притеснения. "Гонители благочестия святого, — писал Конисский, — не видя себе в том гонительстве ни от кого воспаяния, тем паче свирепеют и на все церкви благочестивые, особливо в городе Могилеве состоящие, напасть вскоре при случае нынешнего между королевства намерены, и некоторые священники, страха ради, на унию уже предаются; особенно же живший в монастыре моем иеромонах Никанор Митаревский, кой родимец малороссийский, быв прежде в семинарии Переяславской префектом и тамо в важные преступления впав, от священнодействия отлучен, избег из России и у униатов был, после пришел ко мне в Могилев для единого только исправления его при мне без священнодействия держан, ныне в отсутствии моем предан к униатам в Онуфриевский, прежде благочестивый бывший, а ныне униятский монастырь, к живущему в том монастыре архиепископу униятскому, родимцу же малороссийскому, Лисянскому, и оной Митаревский, согласясь с плебаном Кричевским Рейнолдом Изличом, превеликое священству благочестивому, а особливо строителю монастыря Охорского Кричевского, делают угнетение, так что тот строитель с братиею по лесам принужден от них крытись". От Киевского митрополита пришло

известие, что Трембовльский староста Иоаким Потоцкий насильно четыре православных церкви отнял на унию; Пинский епископ Георгий Булгак отнял на унию четырнадцать церквей, изувечил игумена Феофана Яворского.

Когда русская партия восторжествовала, когда кандидат русской императрицы избран был в короли, Конисский получил надежду, что его жалобы будут выслушаны в Варшаве, и в 1765 году решился сам туда отправиться; но вот что он доносил синоду об успехе своего путешествия: "Когда я прошлого июня 15 дня, получивши от команды смоленской трех драгун в конвой, выехал из Могилева, а июля 11 прибыл в Варшаву, то по отдачи прежде поклону фамилии его королевского величества и министрам коронным и литовским представлен был его королевскому величеству. Его величество, выслушав мою речь<sup>12</sup> и приняв челобитную, сам оную, хотя и большая была, изволил вычитать и обнадеживал во всем том удовольствие учинить, на что имеем права и привилегии, только велел обождать приезду в Варшаву вице-канцлера литовского, г. Предзецкого. По прибытии своем он, вице-канцлер литовский, в Варшаву велел мне челобитную мою переделать на две челобитные, из коих одну заключил — обиды, внутри экономии Могилевской починенные, подать в камеру королевскую, другую — с обидами, вне экономии поделанными, расписав на три экземпляра, подать им, министрам, коронным канцлеру и вице-канцлеру, и ему, вице-канцлеру литовскому, что я и учинил. С того же времени как начали водить, то и поныне водят без всякого и малейшего успеха. Расписали до некоторых в челобитной моей показанных обидчиков, чтоб в ответы на мои жалобы присылали; я о том, от них же, господ министров, известясь, представлял им, что мне чрез такое собрание ответов новая причиняется обида, понеже и не ко всем обидчикам за таковыми ответами послано, и посылать ко всем невозможное дело, яко большая их часть на суд Божий позвана, и я с таковых никакой сатисфакции не прошу, только возвращения отнятого или только чтобы впредь подобных обид делать запрещено, да и которые обидчики в живых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется никакой чинить резолюции, понеже сами себя виновными не признают, и в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда опровергать, и таким способом собрания ответов да доказательств конца не будет, и как им,

обидчикам, таковых ответов и доказательств с домов своих без малейших убытков присылка очень поноровочна, так мне ожидать оных ответов здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и несносно, и что на остаток с моих жалоб некоторые суть таковые, которые, по рассмотрении документов письменных, никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое представление место у них, господ министров, не получило, еще учинили меня богатым: ты-де богат, можешь здесь проживать, а ответную сторону волочить сюда по скудости их не доведется".

Удивительное зрелище представляла в это время Польша: народные силы, казалось, пробуждались после долгого усыпления, обнаруживалось необыкновенное единодушие, но для чего? Для того ли, чтобы установить лучший порядок, освободиться от иностранного влияния? Нет, для того, чтобы не сделать ни малейшей уступки требованиям диссидентов, чтобы не признать никаких прав за христианами других вероисповеданий, кроме католического. И в то же время все ограничивалось страдательным упорством, ограничивалось одними криками; никто не думал о средствах деятельного, серьезного сопротивления соседним державам, России и Пруссии, которые не могли бросить диссидентского дела; фанатизм только гальванизировал мертвое тело, но к жизни его не возбуждал. Репнин был в изумлении. "Что это такое? — писал он в Петербург. — Нашим требованиям уступить не хотят; но на что же они надеются? Своих сил нет, иностранцы не помогут".

Положение Репнина в Варшаве было незавидное. Из Петербурга присылают к нему умеренные, но твердые требования относительно диссидентов, тогда как на месте он видит ясно, что требованиям этим ни малейшей уступки быть не может. Всякому дипломату бывает очень неприятно, когда на него возлагают поручение, которое исполнить он не видит возможности; он не может освободиться от тяжелой для его самолюбия мысли, что правительство его может усумниться, действительно ли дело невозможно, не виновато ли в этой невозможности, хотя отчасти, неумение уполномоченного. Поэтому неудивительно, что Репнин сначала сделал было отчаянную попытку убедить свой двор отказаться от диссидентского дела, решился представить, что стоит ли заступаться за диссидентов — между ними нет знатных людей! Понятно, что попытка не удалась: "польза, честь

отечества и персональная ее величества слава" требовали, чтобы Репнин проводил диссидентское дело. Таким образом, посол был поставлен, с одной стороны, между неуклонными требованиями своего двора и, с другой — упорством поляков, отвергавших всякую мысль к уступчивости и сделке. Но неужели Репнин не мог ни в ком найти себе помощи? Неужели фанатизм одинаково обуял всех? Что король? Что Чарторыйские?

Репнин был отправлен в Польшу, чтобы поддержать там русскую партию, партию Чарторыйских, и содействовать возведению на престол племянника их, Станислава Понятовского. До достижения этой цели Чарторыйские и Понятовский составляли одно, что, разумеется, облегчало положение Репнина, упрощая его отношения к этим лицам. Но с достижением цели, с восшествием на престол Понятовского, положение посла затруднилось. Королю хотелось освободиться из-под опеки дядей, действовать самостоятельно; но, как человек слабохарактерный, он не мог этого сделать вдруг, решительно, да и человеку с более твердым характером нелегко было бы это сделать в положении Станислава-Августа. В отсутствие дядей король был храбр и самостоятелен; но только кто-нибудь из стариков являлся — король не имел духа в чем-либо попротиворечить, в чем-либо отказать ему. Умные старики, разумеется, сейчас же поняли, что эта уступчивость невольная, что тут нет искренности, что они своими личными достоинствами и своим значением в стране делают только насилие королю. Понятно, что вследствие этого возникла холодность между дядьми и племянником, а это затруднило положение Репнина. Держаться теперь на одной ноге и с королем, и с Чарторыйскими стало тяжело: естественно, что Репнину хотелось упростить свои отношения, то есть — иметь дело с одним королем и для этого желать полной независимости последнего от дядей. При этом естественном стремлении Репнин легко перешел границу: Чарторыйские заметили, что посол ближе с королем, чем с ними, и отплатили ему тем же удалением и холодностью. Репнин стал жаловаться на них в Петербург: "Что касается до моего обращения с князьями Чарторыйскими, то после сейма коронации, усумнясь о их прямотушии, а особливо после, как я отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор

холоден. Учивость основание делает нашего обхождения, о делах же я более с самим королем говорю".

В Петербурге были уверены, что по милости Чарторыйских не удалось диссидентское дело на первом сейме; мы видели, в каких выражениях писал об этом король императрице: "Вопреки мнению всех моих советников (Чарторыйские были самые близкие советники) я поднял вопрос о диссидентах, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса в моем присутствии"<sup>13</sup>. В Петербурге хотели, чтобы Чарторыйские всем своим могущественным влиянием проводили диссидентское дело на сейме — и вместо того узнают, что они даже отговаривали короля начинать его! Еще 12 февраля 1765 года Панин писал Репнину: "Мы не можем и не хотим поставлять польские дела совсем оконченными, пока не сделано будет справедливое поправление состоянию тамошних диссидентов, хотя б то и самой вооруженной негоциации требовало. Здесь удостоверены, что Чарторыйская фамилия есть та, которая в сем пункте больше других недоброжелательна, и она существенною причиною в вашей неудаче на последнем сейме. Вам надлежит ту фамилию убеждать и склонять, в случае же в том безнадёжности, воспользоваться настоящею расстроицею между ею и королем, и его величество ободрять противу ее. Кроме зачинающихся в вашем месте женских сплетен и интриг между фамилией и кроме духа господствования двух братьев Чарторыйских, новый государь больше горячо, нежели прозорливо, за свои дела принимается; надобно опасаться, чтобы таким образом, примеривая все ко внутреннему польскому аршину, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстроицу весь северный *акорт* и его посадить между двух стульев. Благоразумие, конечно, требует от его польского величества, чтоб он для будущих своих выгод изволил с достаточною весьма политическою экономиею и уважением касаться до своих внутренних дел, и сколько возможно, воздерживался от всего того, что истолкование и вид новости получить может, а вместо того гораздо вернее и надежнее быть кажется, если б усугубил свое старание акредитовать и укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые возобновление природных королей в Польше постановляют частию их политической системы".

В этом письме Панин излагает свой взгляд на польские отношения и дает видеть связь этого взгляда с своим главным стремлением. Последнее состояло в том, чтобы северные европейские государства — Россия, Пруссия, Англия, Дания, Швеция и Польша — составляли постоянный союз, противоположный австро-французскому союзу Южной Европы. Польский король своею поспешностью в нововведениях мог возбудить против себя неприязнь короля Прусского и этим нарушить северный акорт, поставить Россию в затруднительное положение между Польским и Пруссским королями, одинаково ей союзными, и, что всего хуже, если вражда между Пруссией и Польшею разгорится, то последняя может перейти к австро-французскому союзу. Соответственно этому основному своему взгляду Панин писал Репнину, чтобы тот всеми силами содействовал браку польского короля на дочери короля португальского, ибо *это выгодно для северной системы*: португальский двор связан с Англией, и его влияние никогда не будет вредить союзу Польши с Россией и со всем севером.

Но если в Петербурге сердились на Чарторыйских за охлаждение к русским интересам, тем не менее не хотели разрыва с могущественною фамилией и предписывали Репнину сначала убеждать и склонять ее. Сам Репнин, жалуясь на Чарторыйских, в то же время писал о их могуществе и слабости короля и тем самым, разумеется, обвинял себя в слишком поспешном предпочтении племянника дядьям. "Я уже пред сим доносил, — писал он к Панину<sup>14</sup>, — сколь двое братьев Чарторыйских духом владычества исполнены, а притом что и кредит их весьма в нации велик, который более еще возрос тем, что они в последнее междоцарствие были шефами нашей партии и что через их руки все деньги шли для приумножения партизанов, которые им преданы и остались; к тому же тот кредит содержится в своей силе слабостию короля, который еще не может осилиться и из привычки выйти им что-либо отказать, хотя часто и с неудовольствием на их требования соглашается". Чем более Репнин сближался с королем, тем более удостоверился в его слабости. "Во время бытности на охоте, — писал<sup>15</sup> он Панину, — имел я случай говорить с его величеством о духе владычества князей Чарторыйских и о необходимой нужде, чтоб он наконец старался сам господином быть, а не вечно бы в зависимости их остался. По несчастию, он себе в

голову ту надежду забрал, что он своих дядьев резонами и ласкою убедит и приведет в те границы, в коих подданным быть надлежит. Слабость его столь удивительна, что не узнают его перед тем, как он партикулярным был человеком".

Но слабость короля естественно заставляла возвратиться к Чарторыйским, особенно ввиду сейма 1766 года, когда снова должно было подняться диссидентское дело. Заблагорассудили войти в непосредственную переписку с Чарторыйскими: старики уверяли, что преданность их к России не изменилась, жаловались на короля, на то, что он их не слушается, жаловались и на Репнина, приписывая его холодность к себе веселостям, которым предавался посол. Репнин по этому случаю писал Панину<sup>16</sup>: "Князей Чарторыйских содействие на будущем сейме, конечно, необходимо нужно, не потому чтобы на их прямодушное усердие считать точно было можно, но потому что кредит их весьма велик, и что хотя при двоякости их сердец, но головы, признаться должно, имеют здравее, нежели все другие в сей земле. Изъяснения их к вашему высокопревосходительству не все справедливы, как, например, говоря о королевском поведении. Согласен я весьма, что слабости и скоропостижности в том чрезвычайно много; но не могу я на то согласиться, чтобы какое-нибудь, однако ж, дело хотя маловажное было сделано без их сведения и согласия. Что же касается до моего против них положения, то не веселья, конечно, мое отдаление воспричинствовали, но двоякость их и неблагодарность к нашему двору".

Как бы то ни было, Репнин должен был сделать первый шаг к сближению с Чарторыйскими. Один брат, Михаил, канцлер Литовский, проводил лето 1766 года в своих деревнях, и потому Репнин обратился к князю Августу, воеводе Русскому, прося его назначить свободный час для переговоров о некоторых интересных делах; воевода отвечал, что завтра сам приедет к послу. Репнин начал разговор уверением "о возвращении к нему, Чарторыйскому, высочайшей доверенности и благоволения ее императорского величества, в том точно уповании, что его усердие и преданность совершенно соответствуют сей высочайшей милости". "Мне повелено, — продолжал Репнин, — с истинною откровенностию во всех наших делах с ними и с канцлером литовским соглашаться и обще с ними к успеху оных доходить. Всемиловитейшей государыне желательно и приятно будет, чтоб его

польское величество также против них в совершенной откровенности и доверенности был и советы б их предпочитал прочим". Репнин заключил приветствием, что он с удовольствием получил сии высочайшие повеления и что приятно ему будет их в самой точности исполнять. Чарторыйский отвечал уверениями в своем усердии, преданности и благодарности. После этих взаимных учтивостей Репнин приступил к делу, обратился к Чарторыйскому с просьбою открыть с доверенностию все те способы, которые могут привести диссидентское дело к желанному успеху. Воевода опять начал речь уверениями в своем усердии, но кончил объявлением, что не хочет отвечать за успех дела.

"Кто первый станет говорить об этом деле на сейме? Я, признаюсь, сделать этого не осмелюсь", — сказал Чарторыйский. Репнин стал говорить, что волнения между католиками по поводу диссидентского дела раздувают епископы своими возмутительными разглашениями: Виленский — Масальский, Краковский — Солтык и Каменецкий — Красинский. "Не пристойно ли бы было, для их усмирения и для обуздания впредь прочих, расположить по их деревням находящиеся теперь в Польше российские войска?" — спросил Репнин. Чарторыйский против этого "крепко уперся", говоря, что такой поступок встревожит, оскорбит и отвратит "все духи" от русской стороны. Репнин согласился, особенно когда услышал и от короля такое же мнение. "Рассудил я лучше от сего поступка удержаться, — писал он Панину, — дабы не дать им претекста сказать, что я горячностью своею испортил то, чтоб они усердною лаской и приветствием исполнить могли. Признаюсь, что мнение мое с ними не согласно, считая, что в таких возмутительных покушениях твердостью одною дела в порядок можно привести; но чувствую, однако ж, что, сделав то против их согласия, чрез оное дам только им претекст к извинению в случае неудачи". Чарторыйский, мало того что не согласился на занятие русскими войсками епископских деревень, но и выразил мнение, что считает полезным вывести совсем русские войска из Литвы во время сейма: этим, говорил он, нация будет обрадована, и докажется желание России не силою, но ласкою приводить дела к концу: "тем более, — прибавил воевода, — что русские войска всегда могут опять сюда вступить по обстоятельствам".



На это Репнин заметил с учтивостию, что *конфедерация* еще не разрушена, и потому причина, приведшая русские войска в Польшу, остается по-прежнему. (Конфедерацию устроили и русские войска призвали Чарторыйские!)

Разговор с воеводою Русским привел, однако, Репнина в отчаяние, что видно по тону письма его к Панину<sup>17</sup>: "Повеления, данные (из Петербурга) по диссидентскому делу, ужасны, и истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти ни малой надежды, кроме единственной силы исполнить волю всемилостивейшей государыни касательно до гражданских диссидентских преимуществ". Репнин поехал к королю и объявил ему подробно, чего требует Россия для диссидентов, прибавя, что это последнее слово, и если на нынешнем сейме всего этого не исполнят, то уже 40 000 войска готовы на границах для подкрепления требований. "Король, — по словам Репнина, — представлял трудности или, паче сказать, невозможности к сему нацию согласить; всячески он меня оборачивал и выпрашивал, подлинно ли сие наше последнее слово и подлинно ли наши вступят, коли всего на сейме не исполнят, в чем я его твердо уверял. Разговор кончился вопросом от короля: могу ли я точным образом ему отвечать, что ее императорское величество, коли все требуемое мною исполнится, совершенно оным довольна будет и далее сего дела и вперед не поведет, на которое я ему донес, что я считаю, что сие обещание совершенно сделать могу".

После этого разговора с Репниным король написал к своему министру при Петербургском дворе, графу Ржевускому, чтобы он представил императрице всю невозможность исполнить ее требования относительно диссидентов. "Последние приказания, данные Репнину, — писал Понятовский, — приказания ввести диссидентов даже в законодательство — громовой удар для страны и для меня лично. Если еще человечески возможно, то представьте императрице, что корона, которую она мне доставила, сделается для меня одеждою Нессоса: она меня сожжет, и смерть моя будет ужасна. Мне предстоит или отказаться от дружбы императрицы, или явиться изменником отечеству. Если Россия непременно хочет ввести диссидентов в законодательство, то это будут (если бы даже их было не более 10 или 12) законно существующие главы партии, которая будет видеть в

государстве и правительстве Польском врагов и которая будет необходимо и постоянно искать против них помощи извне".

Между тем Репнин сделал новую попытку у Чарторыйских: он обратился к ним с просьбою, чтобы дали честное слово, не отвечая за успех, приложить все свои старания к доведению диссидентского дела до желаемого конца, то есть чтобы открыты были диссидентам все гражданские чины в судебных местах и дано было участие в правлении, допустив их хотя в ограниченном числе в земские послы (депутаты) на сеймы. Чарторыйские отвечали, что не могут дать слова и не в состоянии употреблять свои труды во вредном для отечества деле. Репнин обратился к королю за решительным ответом, и тот объявил, что не может стараться о диссидентском деле. Репнин напомнил и королю, и Чарторыйским о прежнем обещании их содействовать диссидентскому делу: ответ был один, что тогда разумелась одна терпимость.

Уведомивши об этом свой двор, Репнин писал от 24 сентября 1766: "Для того я решился к генерал-майору Салтыкову от сего ж числа чрез курьера повеление послать вступить с своим корпусом в деревни епископов Краковского и Виленского, питаюсь на их коште, ибо ничего уже хуже по диссидентскому делу быть не может, как то, что есть, а может быть, сей поступок импрессию сделает и что-либо поправит. Никакой надежды нет без употребления силы в сем деле предупеть: и так на нее одну остается уповать, ибо не только часть сейма сему делу противна будет, но и все головой, когда сверх всего духовенства и его инфлюенций присовокупляются к противникам король, князья Чарторыйские и их партизаны, что уж в себе все и заключает. Должен я донести, чтово время сеймиков и для будущих расходов на сейме по требованиям королевским мной ему выдано 11 000 червонных, из которых 6000 уже выданы после объявления королю во всем пространстве наших требований по диссидентскому делу: почему, следовательно, я и надеялся, что сие его заведет согласно с нами о полном успехе оного работать, а теперь я в беспокойстве нахожусь по сим издержкам".

На это донесение императрица отвечала Репнину рескриптом<sup>18</sup>, что, *если* на сейме диссидентское дело не будет доведено до формальной с ним, послом, и с диссидентами негоциации, из которой бы резонабельных плодов ожидать было можно, и если опять потерю

всякой надежды должно будет приписать одному коварству стариков Чарторыйских, в таком случае, определи с разборчивостию положение дел, употребить все старание к разрыву генеральной конфедерации и сейма, потому что Чарторыйские посредством конфедерации хотели провести преобразования, и Август Чарторыйский был маршалом конфедерации. "В самом начале должно прямо адресоваться к тем из соперников фамилии Чарторыйских, которые приобретенному ее во делах перевесу наиболее завидуют. Нельзя сомневаться, чтоб такой во мнениях наших оборот не произвел важной в духах перемены и чтоб многие из соперников князей Чарторыйских, кои теперь диссидентскому делу противны, не обратились на лучшие по оному мысли".

Дело усложнилось тем, что король под шумок хотел провести на сейме важные преобразования, именно, чтобы вопросы об умножении податей и войска решались большинством голосов. Но противники нововведений дали знать Репнину о замыслах, от которых он имел наказ удерживать короля. Вместе с прусским послом Бенуа Репнин сильно воспротивился проведению большинства голосов; Чарторыйские из нерасположения к королю, с одной стороны, а с другой — видя невозможность успеха и желая показать русской императрице свою преданность, желая показать, что они готовы служить ей во всем, что возможно, — Чарторыйские помогли Репнину в этом деле, помогли и в деле распускания конфедерации. Король с страшною тоской в сердце должен был отказаться от своих намерений и публично заявить об этом. Репнин был действительно подкуплен поступками *фамилии*<sup>19</sup>, писал с похвалой в Петербург о ее поведении и холодность ее к диссидентскому делу приписывал единственно его непреодолимой трудности.

"Прошу покорнейше ваше высокопревосходительство, — писал он Панину<sup>20</sup>, — не только графу Ржевускому, но если можно к самим Чарторыйским, включая великого маршала коронного, князя Любомирского, ласково отозваться за содействие их по делам истребления множества (большинства) голосов и разрыва конфедерации, а особливо князю Адаму Чарторыйскому, хотя чрез письмо ко мне, кое бы я мог показать: ибо он (князь Адам) был мне первым инструментом к приведению стариков на мою сторону". В следующем донесении писал<sup>21</sup>: "Я в сем деле (уничтожения

большинства голосов) как точным содействием короля, так и Чарторыйских совершенно доволен. Я должен по справедливости донести, что успех диссидентского дела не в силах короля, ни Чарторыйских. Лучшее доказательство сему сие самое истребление множества голосов, которое они вчера сделали. Неоспоримо, оное дело им гораздо дороже было и нужнее, но, видя пропасть разверстую, сами разделали то, что им драгоценнее всего было, и тако и диссидентское б дело сделали, коль бы могли, ибо тех же точно крайностей и по оному ожидают, не имея, однако ж, таковой же противности к нему, как к первому. Одним словом, антузиазм и сумасбродство, заразившиеся от внушений духовенства и от скупости, чтоб аванжажи коронные не разделять с диссидентами, столь чрезвычайны, что совершенно выше всех здешних сил. Король же, коего я нынче видел во дворце при обыкновенном по воскресеньям съезде, в таком унынии духа, что я оного изобразить довольно не могу. Я лишь подошел к нему и помянул об разрушенном деле множества голосов с благодарением, что он сам о том публично говорил, то он вдруг при всей публике громко заплакал и ничего не был мне в состоянии отвечать. Сия самая горесть доказывает, сколь он к сему делу привязан был".

Чарторыйские не переставали увиваться около Репнина, выставлять свою преданность России, просить о возвращении прежней милости и наговаривать на короля. Репнин писал Панину<sup>22</sup>: "Канцлер Литовский сим утром у меня был, чтоб мне сообщить дружески об учиненном разрыве конфедерации, при чем я его благодарил за содействие их в оном и в истреблении множества голосов по материям умножения податей и войска. Он много уверений делал о преданности к нашему двору, и что, быв в последних временах в некоторой у нас недоверке, лестно бы ему было и с братом иметь уверение от вашего высокопревосходительства о возвращении к ним покровительства и милости ее императорского величества, для достижения которой они все сделали, что им возможно было. Канцлер Литовский со мною изъяснился, что король час от часу более к ним недоверия имеет, несогласие их умножася в сем последнем сейме, чрез противность, которую они ему, в угодность к нам, показали, и в чем король не иначе согласился, как по необходимости. Канцлер прибавил, что, уверясь в согласии хотя принужденном королевском, нужно будет учредить все

пункты нового союза (с Россией), которым они весьма желают убавить требования королевские, коим он во многом лишности дает".

Но все эти уверения в преданности и выказывание услуг не могли повести ни к чему, благодаря роковому делу о диссидентах. В другой раз на сейме всякое соглашение по этому делу было отвергнуто с прежним ожесточением: грозились изрубить в куски депутата Гуровского, начавшего речь в пользу диссидентов. Репнин имел право доносить в Петербург, что не в силах Чарторыйских преодолеть фанатизм своих сограждан; в Петербурге могли этому верить; но из этого не следовало еще, что должно было принять позор неудачи и отказаться от дела, когда еще оставалось средство возможное и законное в Польше. Репнину уже было указано это средство: конфедерация между диссидентами, которые должны были обратиться к России с просьбою о помощи и, если Чарторыйские откажутся содействовать делу, поднять противную им партию. Панин непосредственно обратился к *фамилии* с вопросом, будет ли она помогать диссидентскому делу. Чарторыйские отвечали уклончиво. Репнин заметил им это, заметил, что мало толковать о своем добром желании, надобно его доказать на деле: "Вы говорите об опасностях от диссидентской конфедерации для самих диссидентов, а не указываете других средств, которые можно было бы употребить вместо конфедерации; опасность будет грозить не диссидентам, а тем, которые позволят себе причинить какое-нибудь насилие диссидентам, потому что Россия отомстит страшно обидчикам". Репнин показал ответ Чарторыйских главным из диссидентов и спросил: когда они будут готовы к своей конфедерации. Те назначили 9 марта 1767 года. С другой стороны, вполне предавшийся Репнину референдарий коронный Подоский отправился в объезд по главным членам противной фамилии партии, к Потоцкому, Оссолинскому, Мнишку, епископам — Солтыку и Красинскому, испытать их расположение, обещая покровительство России, посредством которого они могут взять верх над Чарторыйскими, если только с своей стороны согласятся содействовать диссидентскому делу.

## ГЛАВА III

Вожди диссидентов сдержали слово, данное Репнину. К назначенному сроку в марте 1767 года образовалась конфедерация из протестантов в Торне, маршалом которой был граф фон Гольц; в то же время образовалась другая конфедерация в Слуцке под маршалством генерала Грабовского: к ней принадлежали православные Новогрудска и других соседних областей. Чтобы поднять католическую конфедерацию из врагов *фамилии* и дать этой конфедерации сильного вождя, еще в январе начаты были сношения с изгнанником, князем Радзивиллом, первым богачом Литвы: ему обещано было позволение возвратиться в отечество с восстановлением во всех правах и в прежнем значении, но под условиями: действовать в интересах императрицы Всероссийской, особенно поддерживать ее намерения относительно диссидентов, не притеснять их в своих имениях, возвратить им их церкви, выдавать русских перебежчиков, вести себя благоразумно. Последнее условие было необходимо, потому что знаменитый вельможа особенно Люд веселый час (а эти часы случались нередко) позволял себе дикие выходки. Радзивилл был в восторге и отвечал Репнину<sup>23</sup>, что, проникнутый чувством самой живой признательности к императрице за предлагаемое покровительство, покорный ее великодушной воле для блага республики и всех добрых патриотов, провозглашает и обещает, что будет всегда держаться русской партии; что приказания, которые угодно будет Русскому двору дать ему, будут приняты всегда с уважением и покорностью и что он будет исполнять их без малейшего сопротивления, прямого или косвенного (*declare et promet qu'il sera toujours du parti russe, qu'il fera d'pendre toutes ses demarches de la cour de Russie, et que les ordres qu'il plaire a cette cour de lui faire donner, seront toujours recu avec respect et soumission, et qu'il les suivra sans la moindre opposition directe ou indirecte*).

Чтобы не оставить и тени сомнения насчет его поступков, чтобы не дать врагам ни малейшей возможности чернить его и в знак покровительства императрицы Радзивилл просил, чтобы при нем постоянно находился русский чиновник, который бы давал ему



непосредственно знать о намерениях императрицы. В заключение Радзивилл обещал содействовать успеху диссидентского дела всеми силами и в тех размерах, какие русский двор заблагорассудит дать этому делу.

С Радзивиллом дело было улажено; и относительно других вельмож, врагов *фамилии*, пришли благоприятные вести. Мы видели уже, что о составлении католической конфедерации хлопотал коронный референдарий Гавриил Подоский; в начале марта он возвратился из своего объезда и донес Репнину, что виделся с епископом Краковским Солтыком, с воеводою Волынским, Оссолинским, с надворным маршалком коронным, с великим подскарбием (казначеем) коронным, с кухмистром Литовским — Виельгурским, с воеводою Киевским и другими Потоцкими, которые все согласны общим письмом просить покровительства императрицы, а потом образовать конфедерацию под ее протекцией и провести диссидентское дело по ее желанию, но хотят прежде всего видаться с русским послом. Репнин дал им знать, чтобы приезжали в Варшаву не позднее 10 апреля нового стиля. "Кажется, сие начало столь хорошо, сколь желать было можно, — писал Репнин Панину<sup>24</sup>, — однако я, быв уже здесь столько раз каждым особо обманут, за успех отвечать совсем не смею, а стараться не упущу оный верным сделать". Кроме Подоского Репнин нашел себе еще союзника и не между поляками: разрыв с Чарторыйскими, неподатливость короля в диссидентском деле, движение русских войск в польские владения возбудили в принце Карле Саксонском надежду на важные перемены в Польше, которыми он мог воспользоваться. Агент Карла Алое получил от него приказание сблизиться с Репниным и во всем сообразоваться с его желаниями. Это было очень выгодно для русского уполномоченного, потому что Алое был в сношениях со всею старою саксонскою партией, с которою теперь хотел действовать заодно против Чарторыйских. При помощи Алое и Подоского Репнин составил проект литовской католической конфедерации.

Что же король? В январе месяце, когда делались приготовления к конфедерации, Станислав-Август удивил Репнина вопросом: как он думает — французская актриса Клерон предлагает ему, королю, свои услуги, и он хочет ими воспользоваться, но беспокойства нынешнего года не помешают ли удовольствиям. Репнин отвечал, что удивляется,

как его величество серьезные дела мешает с такими мелочами. Но король продолжал разговор об актрисе и кончил вопросом: "Не пойдете ли вы на нас войною?" Репнин отвечал, что это зависит от них, потому что война бывает там, где есть сопротивление; кто же не сопротивляется ни прямо, ни происками у других, но, видя и право и силу в соединении, старается им удовлетворить *добрым манером*, смотря с терпением на подвиги их, тот не может опасаться войны. "Мое мнение то же самое, — сказал на это король, — уверяю вас, что не хочу ни прямо, ни стороной противиться России в случае вступления ваших войск сюда; но кроме этого что вы мне присоветуете еще сделать?" "Удовлетворить нашим требованиям, — отвечал Репнин, — если это удовлетворение будет соединено с осторожным и благоразумным поведением, то ваше величество непременно достигнете прежней дружбы с Россиею"<sup>25</sup>.

Случай последовать совету Репнина скоро представился: конфедерации Торнская и Слуцкая потребовали, чтобы правительство признало их законность, чтобы король принял их послов. Чарторыйские настаивали, чтобы король не соглашался на это, а между тем в глаза уверяли Репнина, что не только ничего не предпринимают против русских мер, но готовы и пособлять им по возможности; король же давал разуметь послу, что дядья не позволяют ему принять конфедератов. Во второй половине марта созван был сенатский Совет, в котором читались русская и прусская декларации в пользу диссидентов и самый акт диссидентской конфедерации. Заседание кончилось тем, что назначили собрать генеральный сенатский Совет к 25 мая. Король дал знать Репнину, что он нарочно отложил так надолго срок генерального Совета, чтобы дать время русским войскам углубиться в польские владения. Но Репнину не этого хотелось: он хотел, чтобы король прямо и открыто действовал в пользу диссидентов<sup>26</sup>. 4 апреля он призвал к себе пана Огородского, управляющего королевским кабинетом, и потребовал немедленного и прямого решения вопроса: примет ли король диссидентских депутатов или нет? Посол кончил свой разговор с Огородским словами: "Если король и министерство не захотят депутатов с пристойностию принять, то его величество рискнет лишиться дружбы нашей всемилостивейшей государыни". Слова эти произвели немедленное действие: Огородский возвратился с объявлением, что "король, уважая дружбу ее



императорского величества и всегда желая доказывать свою к ней преданность, хотя Совет его и противился, намерен, однако же, принять депутатов диссидентских"<sup>27</sup>.

28 апреля нового стиля был этот прием. После предъявления своих желаний депутаты были допущены к королевской руке, что было знаком утверждения законности диссидентской конфедерации. Но уже не было тайною, что конфедерация не ограничивается пределами диссидентской; что готовится генеральная конфедерация, поднимаемая врагами Чарторыйских и короля; что Радзивилл будет ее маршалом. В мае месяце Станислав-Август обратился к Репнину с вопросом: "Правда ли, что князь Радзивилл будет маршалом генеральной коронной (польской) конфедерации?" "Правда!" — отвечал посол. "А для чего это делается?" — спросил опять король. "Для того, — отвечал Репнин, — что я более уверен в его зависимости от нас, чем в зависимости всякого другого; я желаю иметь людей послушных, а не ждать из чужих рук исполнения моих собственных дел, тогда как я уже столько раз был обманут фальшивыми обещаниями". Репнин, впрочем, кончил уверением, что поведение Радзивилла останется совершенно в границах умеренности. После этого откровенного объяснения с королем является к Репнину Чарторыйский, воевода Русский: "Конфедерации начинаются, обстоятельства такие деликатные: не знаю, как вести себя с фамилией и приятелями; боюсь, чтобы по незнанию не сделать чего-нибудь неприятного императорскому двору, которому мы так преданы".

"Знаю силу твоих слов, — подумал Репнин и отвечал: — Конфедерации эти делаются против вредных новостей, введенных в правление, делаются против нарушения древних законов и формы правления, согласны, следовательно, с полезными видами ее императорского величества насчет республики здешней; а сверх того, так как эти конфедерации прибегают к покровительству ее императорского величества и ручательства ее просят для непоколебимого сохранения прав республики и вольностей, то это высочайшее покровительство им и следует, с утверждением по их желанию на все века формы здешнего правления и преимуществ каждого. Но так как великодушие и человеколюбие суть основание справедливого поведения ее императорского величества, вследствие того и не должны эти конфедерации никого силою принуждать к

соединению с ними, а только тех за злодеев почитать будут, которые против них действовать дерзнут. Поэтому вы, господа, совершенно вольны пристать к конфедерациям или нет, оставаясь покойными и нейтральными зрителями". Чарторыйский рассыпался в благодарности, превозносил умеренность русского правительства, нежелание употреблять силу, в заключение предлагал свои услуги, сколько может. Но услуги Чарторыйского могли теперь только затруднить Репнина: опять сблизиться с Чарторыйскими значило удалить всех новых приверженцев, которые потому только и перешли на русскую сторону, что Репнин разладил с *фамилиею*<sup>28</sup>.

Репнин, принужденный прибегнуть к такому сильному средству, как конфедерация, хлопотал, однако, как бы предотвратить беспорядки, потрясения, бывшие обыкновенно следствием конфедерации. По старому обычаю, как скоро конфедерация образовывалась и получала признание, то вдруг все прежние власти переставали действовать; авторитет всех существующих магистратур и юрисдикции исчезал; все подчинялось верховной воле сконфедерованной шляхты; король, сенат, все высшие чиновники и суды должны были отдавать ей отчет. Репнин не хотел на это согласиться: "Понеже напрасно бы я короля тем оскорбил, ибо по нашим видам оное не нужно, а только б дало более власти конфедерации, отмщевая прежние дела по внутренним судам, несправедливости делать. Сверх того, запретив все юрисдикции, запретили б чрез то и комиссии скарбовую и военную, а их поправка хотя точно нужна, но совершенное испровержение мне кажется не авантажно; и тако держусь сколько возможно и противлюсь сему закрытию юрисдикции, а меж тем пользуюсь сим же, *угодность и приятство тем делаю королю*, которого для переду в преданности я хочу соблюсть к нашему двору, находя за полезное, *чтобы не всегда здесь с употреблением силы все делать*. Сверх же того должен я и в том по справедливости признаться, что его величество, не входя явным образом в содействие с нами, противностей, однако же, никаких не делает, и хотя с оскорблением иногда и с натуральною просьбой, чтобы друзей его сберегали, но все почти по внутренним здесь моим мерам к исполнению допускает и удерживает преданных себе от безрассудной горячности"<sup>29</sup>.

Действительно, король допускал все по внутренним мерам русского посла: смертью примаса, князя Лубенского, очистилось первое духовное место в королевстве, архиепископство Гнезенское, и король согласился на желание Репнина возвести Подоского на это место. Репнин был очень доволен. "Возвышение Подоского в примасы великое приумножение нашей инфлюенции здесь сделает, — писал он в Петербург<sup>30</sup>. — Он (Подоский) открытым образом мне предан был и как бы секретарь мой во всех настоящих обстоятельствах работал; через его же возвышение увидит нация вся, коль мы великолепно награждаем тех, которые нам прямо и усердно служат. Увидит она, что можно совершенно полную доверенность иметь к покровительству нашего высочайшего двора, когда в самое сочинение столь оскорбительной королю конфедерации не мог он отказать первый чин в государстве тому точно, который в угодность России главным и начальным работником в том был".

Между тем к началу июня 1767 года в Литве образовалось уже 24 конфедерации, маршалами которых повсюду выбраны были друзья Радзивилла, а сам он был выбран маршалом подляшской конфедерации. В Польше и Литве конфедерация считала под своими знаменами до 80 000 шляхты. 3 июня Радзивилл, окруженный толпами шляхты, имел торжественный въезд в Вильну, а через три недели после этого провозглашен был генеральным маршалом соединений польско-литовской конфедерации, собравшейся в Радоме (в 15 милях от Варшавы). Но Репнин тотчас же увидал, что этим дело не кончается, а только начинается.

Репнин поднял генеральную конфедерацию, чтобы покончить диссидентское дело: не хотели кончать его король и Чарторыйские, пусть покончат враги их. Но конфедераты откликнулись на приглашение русского неслы, имея в виду свергнуть короля и сделать с Чарторыйскими то же, что те сделали с ними во время своего торжества. Начальные люди конфедерации к диссидентскому делу были равнодушны, а толпа была одушевлена тою же нетерпимостью, как и прежде; следовательно, опять Репнин, чтобы преодолеть это тупое сопротивление, должен был прибегать к крайним средствам, к военной силе. Рядом с предложением о правах диссидентов шло предложение о том, чтобы все постановленное на будущем сейме было гарантировано Россией. В Радоме предложения прошли, и то

вследствие присутствия русских войск; но в провинциях шляхта волновалась — а что будет на сейме? Краковский епископ Солтык стал в челе религиозного движения: пятнадцать секретарей день и ночь писали его пастырские послания.

"Любезнейшие сыны, пастырству нашему порученные! — гласили послания. — Упражняйтесь во всякого рода добрых делах, взывайте с сокрушением духа к трону милосердия, чтобы ниспослал Духа Святого на сейм для утверждения веры св. католической, для мужественного отпора претензиям диссидентов, для сохранения кардинальных прав вольности. Чтобы во все продолжение сейма во всех косцелах ежедневно происходило молебствие пред св. тайнами, с пением: Святый Боже!" В этом послании Солтык является перед нами как епископ католический, но в письме к одному из приятелей своих, Виельгурскому, он является как политик. "Императрица, — пишет он, — домогается двух вещей: генерального поручительства и восстановления диссидентов. Гарантировал король Польский курляндские вольности, утвердил привилегии земель прусских, а через это обе нации привлечены были в зависимость от республики. Главное средство отбиться от гарантии — это поднять вопрос, что Турция не позволит. Что касается до диссидентов, то покой нации зависит от того, чтобы диссиденты, а именно не униаты, не были ни в сенате, ни в министерстве; довольно будет припомнить, что в России есть тридцать фамилий, которые ведут свой род из Польши, а раздача достоинств в Польше находится во власти императрицы Русской: так хорошо ли будет, когда сенат Московский перенесен будет в Польшу, а нас передвинут в Сибирь? Главная политика польских недовольных должна состоять в продлении сейма для того: 1) чтобы конфедерация пришла в совершенство; 2) чтобы иностранным дворам дать время к негоциации; 3) чтоб электор (Саксонский) пришел в совершеннолетие; 4) чтобы лучше изъясниться с двором петербургским чрез наших посланников, а не чрез того деспота (Репнина); 5) для слабости короля Прусского: если бы умер, то что бы помешало саксонскому войску войти в Польшу?"

Для большего воспламенения умов в Польше явилось циркулярное письмо к епископам папы Климента XIII против прав диссидентских; на копии письма, пересланной Репниным в Петербург, отмечено тою же рукою, которая писала Наказ: "Куда папа горазд

сказки сказывать!" Но что были сказки в Петербурге, тому с благоговением внимали в Польше. "Я не могу довольно изобразить, — писал Репнин, — сколь заражена здешняя нация суеверием и фанатизмом закона, и думаю, что не могло то в сильнейшем градусе быть и во времена самых крозадов"<sup>31</sup>. Но кроме фанатизма толпы Репнина приводило в отчаяние двоедушные люди, руководивших толпою: посол видел, что и прежний верный секретарь его, новый примас Подоский, стакнулся с Солтыком, с Красинским (епископом Каменецким), маршалом Мнишком, Потоцким (воеводою Киевским) и подскарбием Весселем; но, действуя заодно, эти люди приезжали к Репнину и Бог знает что наговаривали друг на друга. "Извольте видеть, — писал Репнин, — с сколь честными людьми я дело имею и сколько приятны должны быть мои обороты и поведение, истинно боюсь, чтобы самому, в сем ремесле с ними обращаясь, мошенником наконец не сделаться". Но главным мучителем посла был все тот же Солтык. "Истинно я ему от себя б что ни есть подарил, чтоб он отсель куда-нибудь провалился: надоел уже мне смертельно", — писал Репнин. Однажды приезжают к нему два прелата, Подоский и Солтык, и начинают жаловаться на насилие русских войск во время сеймиков, на арест шляхтича Чацкого, сделанный по приказанию Репнина. "Если мы, — говорит Солтык, — не можем сносить деспотизма собственного короля, то тем менее можем сносить деспотизм иностранной государыни, которая к тому же еще объявляет, что поддерживает нашу свободу". Репнин отвечал ему прямо: "Если вы так смотрите на дело, то объявите войну императрице и ее войскам, собирайте для этого собственные войска". "У меня никогда не было в голове столь страшных и безумных идей, — сказал на это Солтык, — я не хочу даже воевать с посланником императрицы; желаю только для себя и для нации пользоваться высоким покровительством императрицы, дружбою и благосклонностию ее посланника". Во время этого разговора Подоский сидел, не открывая рта<sup>32</sup>.

Приближалось время сейма. "Если хотим мы успеха на диссидентском деле на будущем сейме, — писал Репнин, — то необходимо надобно будет епископа краковского и подобных фанатиков забрать под караул, а иначе с ними никаким образом не совладеем". Получив на это позволение из Петербурга, посол отвечал Панину: "Имею честь отвечать с уверением накрепчайшим, что без

самой крайней необходимости, конечно, пользоваться не буду позволением употреблять меры силы против здешних противников, но признаюсь, что весьма боюсь, чтобы к тому не был принужден"<sup>33</sup>.

Страх был не напрасный. Солтык разослал по сеймикам письма, в которых объявлял, что и на будущем сейме будет поступать в диссидентском деле точно так же, как и на прошедших; то же самое говорил всем в Варшаве. Репнин поручил Подоскому поговорить дружески Солтыку: чтобы он остерегался; что терпению бывает конец; что перед российской императрицею он не важный господин; что его могут взять и не выпустить. "Не стану молчать, когда интерес религии потребует моей защиты", — отвечал Солтык. "Сокрушает он меня своим непреодолимым упорством против диссидентского дела, — писал Репнин. — Я уже ему стороной внушал, чтоб он на сейм не ездил, коль не хочет участвовать диссидентскому восстановлению и коль не может воздержаться, чтобы против них не говорить, но и на то не соглашается"<sup>34</sup>.

Наконец Солтык дал знать Репнину, что желает войти с ним в соглашение, ручаясь за всех епископов и за всю свою партию. Репнин отвечал, что в формальное трактование он может войти только с теми, кто по чину в республике имеет на то право: епископ же Краковский и все епископы вместе этого права не имеют; если же он хочет по-приятельски договориться, то пусть приезжает сам безо всяких церемоний; но прежде всего надобно согласиться в самом главном, а именно, чтобы диссиденты были уравнены в правах с католиками, без чего ни в какие договоры вступать нельзя. В ответ на это Солтык начал разглашать, что скорее тело свое на рассечение даст, скорее умрет со всеми своими приятелями, чем позволит на уравнивание диссидентов с католиками. Желая показать, что готов подвергнуться той участи, какую грозил ему Репнин, он стал готовить подарки для тех, которые придут брать его под стражу, так что, по словам Репнина, комната его стала похожа на нюрнбергскую лавку. Но мученичество, как видно, не очень нравилось Краковскому епископу, и он дал знать Репнину, что берется уговорить всех ревностных католиков дать удовлетворение диссидентам, если русский посол позволит ему продолжать прежнее поведение для сохранения кредита в своей партии. Репнин отвечал ему через Подоского, что никак не может на это согласиться: или епископ не понимает, что такое поведение может причинить только вред делу, а



не пользу, что не делает чести его голове; или он хитрит, чтобы, испортив дело, после вывернуться и всю вину сложить на других, выставляя на вид, что внутренне согласен был с ним, послом. "Я прошу епископа, — продолжал Репнин, — чтоб он и словами и поступками, прямодушно и явно действовал в пользу совершенного равенства диссидентов с католиками"<sup>35</sup>.

Между тем король понимал, что только тот может утишить бурю, кто ее поднял; понимал, что только Репнин может защитить его от врагов — и отдался в полное распоряжение русского посла. "Король, — писал Репнин, — со мной разговор имел, в котором неоднократно с клятвами обещал именно сими терминами, что хотя бы все струны лопнули, хотя бы все наши партизаны от нас отстали, хотя бы, наконец, один он остался, но непременно и непоколебимо нас держаться станет и без изъятия все то делать будет, что я потребую для успеха диссидентов и желанных нами дел, то есть и ручательства"<sup>36</sup>. Но надобно было условиться с королем: чего же именно требовать для диссидентов, как разуметь уравнивание прав.

Подчиняя все политическим расчетам, Панин прямо писал Репнину, что русское правительство, стараясь о диссидентском деле, вовсе не должно иметь в виду распространения в Польше православия и протестантизма в ущерб католицизму. Самое видное право, которое всего лучше свидетельствовало об уравнивании православных с католиками, состояло в том, чтобы православные архиереи могли присутствовать в сенате наравне с католическими, — право, которое еще в XVII веке было уступаемо православным на бумаге; но на деле католики никогда не могли решиться пустить православного архиерея в сенат. Теперь православные требовали, чтоб епископ Белорусский получил место в сенате; но король требовал, чтобы вместе с православным епископом вошли в сенат и два униатские. Россия требовала уравнивания прав не для одних православных, но для всех диссидентов, действовала тут не одна, но вместе с другими державами протестантскими, следовательно, исключительности быть не могло.

Но Панин взглянул на дело и с другой стороны. "Хотя, — писал он, — помещение в сенате двух епископов униатских и согласует отчасти в существе своем с вышеположенным главным правилом (чтобы не иметь в виду распространения других вероисповеданий в ущерб католицизму), однако же в рассуждении настоящего, совсем

разнствующего случая было бы весьма прикро для славы ее императорского величества. Не может ли такое униатских епископов помещение показаться свету как бы нарочно сделанное в досаду ее величества, когда, напротив, самое состояние дел требует, чтоб все ее желания исполнены были".

На второе и третье требование короля, чтобы королем мог быть только католик и чтобы католическая религия была признана господствующею, Панин изъявлял согласие, но не соглашался на четвертое — об определении наказания отступникам от господствующей религии. Панина затрудняло то, что издавна позволено было униатам переходить в православие, и потому надобно, писал он, "сохранить пред глазами публики непорочность наших намерений, касающихся до нашей собственной веры". На пятое королевское требование, чтобы необходимое число диссидентов в сенате и сейме было с точностию определено, Панин соглашался; требование это он даже считал для себя желательным, потому что без точного определения числа королю-католику и шляхте католической, составляющей огромное большинство, легко будет вовсе удалять диссидентов; но Панин не хотел согласиться на шестое требование — чтобы четыре епархии, отступившие в унию, оставлены были в настоящем их состоянии нетронутыми. "Требование это, — писал он, — будучи само по себе согласно с главным нашим правилом, не повстречало бы, конечно, с нашей стороны препятствия; но как всякое о сих епархиях упоминание может подлежать неудобству, выше сего описанному, то дабы в рассуждении их не навести себе и королю польскому новых и напрасных хлопот, всего лучше будет оставить их со всею униєю как на сейме, так и в будущем трактате в полном и неприкосновенном молчании, яко такую секту, которая ни с тем, ни с другим законом прямо соединенною считаться не может"<sup>37</sup>.

Эти решения Панина не остались без сильных возражений со стороны Репнина. "Если воспрепятствовать введению униатских епископов в сенат, то это будет значить, что мы требуем уже не равенства, а преимуществ; давая православным больше прав, побуждаем униатов переходить в православие: как же не будем иметь в виду распространение нашей веры? Правда, что по закону 1635 года позволено было свободно переходить из унии в православие и наоборот, но о католиках нигде не упоминается, а есть наистрожайшие



законы, которые запрещают отступать от католической религии: каким же образом будет успокоить сумасбродство и фанатизм, представляющий себе, что мы хотим совсем другое исповедание здесь ввести и их всех от католической религии отвратить, когда не позволим возобновить этих законов? Нельзя определять необходимое число диссидентских депутатов на сейме, потому что несколько сеймиков в разных местах может разорваться, но это не мешает собираться сейму, хотя в нем и не будет депутатов с разорванных сеймиков; теперь может случиться, что сеймики разорвутся именно в тех местах, которые должны будут присылать диссидентских депутатов, то неужели сейм не будет иметь права собираться вследствие отсутствия диссидентских депутатов, когда он собирается при отсутствии католических? Разве мы можем этого требовать? В сенате может быть допущено определенное число диссидентских членов, но, разумеется, отсутствие кого-нибудь из них по болезни или другой какой-нибудь причине может уничтожить сенатских советов. Чтоб оставить в молчании четыре отпавшие на унию наши епархии, стараться я стану; но если сумасбродство и фанатизм представляют себе, что мы хотим увеличить здесь число своих исповедников, чем же то успокоить?" [38](#)

Сами диссиденты усиленно просили, чтобы не вводить их в правительство определенным числом: с лишком полутора вековое гонение, испытанное ими от господствующей религии, истребило между ними знатную шляхту, и потому у них не было достаточного числа кандидатов на высшие места. Самое назначение епископа Белорусского в сенат встречало затруднение: как сенатору ему следовало быть шляхетского происхождения. Конисский думал, что в Малороссии есть монахи из польской шляхты, и Репнин просил Панина осведомиться об этом и дать знать, если найдутся люди, соединяющие с шляхетским происхождением личные качества, достойные сенаторского звания [39](#).

Но в то время как Репнин думал еще о возможности утушить фанатизм, сохраняя уважение к законам страны, не касаясь прав господствующей религии, Солтык с товарищами вели дело к другой развязке. Получив возможность сконфедероваться благодаря России, с помощью русского войска, теперь, чтобы отвергнуть русские требования, они, разумеется, прежде всего должны были требовать

удаления этого войска. "Сейма нельзя держать при иностранных войсках!" — кричали они. Чтобы заглушить эти крики, король и маршалы конфедераций согласились с Репниным, чтобы конфедерация декретом своим объявила русские войска дружескими и помогающими вольности народной; потом для избежания противоречия и шумов конфедерация должна была объявить, что все присяги, принесенные на сеймиках земскими послами в противность смысла акта конфедерации и в противность точных прав, уничтожаются. Но конфедераты отвергли оба декрета, несмотря на все старание обоих генеральных маршалов, и главным деятелем в этом случае явился незначительный шляхтич Кожуховский, креатура маршала Мнишка. Репнин велел взять Кожуховского под арест и потом скоро выпустил; но уже кратковременного ареста было достаточно, чтобы сделать Кожуховского мучеником веры: папский нунций отправился к нему с визитом, за нунцием — поляки толпами. Тогда Репнин отослал Кожуховского в его деревню под караулом<sup>40</sup>.

23 сентября должен был начаться сейм. В этот день, когда послы съехались у князя Радзивилла, чтобы оттуда вместе отправиться на первое заседание, приезжает нунций и начинает говорить, что вера погибает, что их долг — защищать ее до последней капли крови, а не допускать до уравниения с прочими религиями. Именем папским объявил он, чтобы никак не соглашались на назначение от республики делегатов с полною мочью для переговоров с русским послом, ибо следствием будет необходимо гибель веры. Собрание было сильно наэлектризовано: послышались со всех сторон рыдания, клятвы, что готовы погибнуть за веру, что мученическая смерть будет им приятна. В самый разгар этих сцен вдруг является в собрание Репнин. Несколько умеренных депутатов выбежало к нему навстречу с увещаниями, чтобы возвратился, иначе они ни за что не отвечают; но Репнин не принял их советов и вошел прямо в середину толпы, которая встретила его криком, что все готовы умереть за веру.

"Перестаньте кричать! — сказал громко Репнин. — А будете продолжать шуметь, то и я с своей стороны шум заведу, и мой шум будет сильнее вашего". Тут оправились и маршалы конфедераций, стали уговаривать депутатов перестать кричать. Когда водворилась тишина, Репнин начал: "Я приехал только с визитом к князю Радзивиллу, а не трактовать с вами, потому что никто из вас этой чести

иметь не может, не будучи уполномочен от республики; но частным образом, по-приятельски, скажу вам, что удивляюсь и сожалею, видя вас в таком возмутительном состоянии; вы позабыли, сколько имеете доказательств доброжелательства ее императорского величества; позабыли, что только под ее покровительством могли вы сконфедероваться для сохранения своей вольности и прав".

Тут речь Репнина была прервана криком: "Мы соединились также и для сохранения закона католического!" В другой раз объявил Репнин, чтобы перестали шуметь, иначе сам шуметь станет, и, когда крики утихли, продолжал: "Никто не отнимает у вас права иметь ревность к своему закону, эта ревность, конечно, похвальна; но разве кто хочет нарушать права римского вероисповедания? Если вы подлинно верны своему закону, то должны исполнять его справедливые предписания, чтобы никому в вере принуждения не делать, быть непоколебимыми в сохранении своих обязательств и в отдаении справедливости каждому. Если хотите жить в добром соседстве с Россией и пользоваться покровительством ее императорского величества, то соблюдайте договоры". Ответа на эту речь не было, но раздались крики: "Освободить Кожуховского!" "Если станете кричать, — отвечал Репнин, — ничего не сделаю; криком у меня ничего не возьмете; просите тихим, учтивым, порядочным образом, и тогда, может быть, сделаю вам удовольствие". Подошел Радзивилл и стал просить учтиво о Кожуховском; Репнин обещал и немедленно исполнил обещание.

Теперь надобно было хлопотать, чтобы на сейме тем или другим образом началось дело о диссидентах. Репнину хотелось, чтобы сейм прислал к нему делегатов спросить, чего ее императорское величество желает для диссидентов. Если бы противники воспрепятствовали этому, то не оставалось другого средства, как послать на сейм для прочтения мемориал и просить решительного ответа. Во всяком случае Репнин хотел действовать сообща со всеми иностранными министрами, поддерживавшими вместе с Россиею диссидентское дело. Главным между ними был прусский министр Бенуа; но Репнину дали знать, что Бенуа под рукою препятствует успеху диссидентского дела, уверяя, что русские только грозят, а никогда угроз своих не исполняют, да и король прусский не выдаст поляков; особенно Бенуа хлопотал, чтобы не была принята русская гарантия. Так же под рукою тихо, но усердно работали против гарантии Чарторыйские, выдаясь по ночам с

краковским епископом. Со стороны Чарторыйских особенно сильно действовал против России князь Любомирский, великий маршалок коронный, но также под рукою. Зная расположение к России князя Адама Чарторыйского, старики дядя запретили ему под проклятием и лишением наследства быть делегатом для трактования с Репниным о диссидентском деле. Репнин имел по этому случаю разговор с князем Адамом, уговаривал его быть делегатом, представляя, какие вредные следствия могут произойти от их упорства. Чарторыйский отвечал, что чувствует всю правду слов Репнина, но согласиться на его требование не может. Репнин видел, что бедный Адам говорил от искреннего сердца, потому что навзрыд плакал.

Между тем благодаря стараниям Солтыка с товарищами умы всех депутатов были так настроены, что нечего было ожидать согласия на начатие переговоров с Репниным относительно диссидентского дела и гарантии. Сеймовое заседание 1 (12) октября началось речью епископа киевского, который в своих выходках против диссидентов дошел до того, что вольность, утвержденную законом, назвал дьявольскою, а не вольностию правоверных; потом начал протестовать против ареста Кожуховского и, обратись к королю, требовал, чтобы тот не на словах только, а на деле показал свое правоверие. Король отвечал, что кроме усердия к вере католической он обязан еще иметь попечение о благополучии отечества; напомнил об обязательствах, в которые сама нация вступила чрез конфедерацию и посольство, отправленное к императрице; указал на вред, который произойдет, если этих обязательств не исполнить, и в заключение потребовал, чтоб прочтен был приговор конфедерации.

Когда приговор был прочтен, то начался страшный шум; со всех сторон крики: "Кто подписал грамоту?" На это отвечал секретарь конфедерации, что подписали маршалы по приговору соединенной генеральной конфедерации. Тут поднялся Солтык: "Вся конфедерация и сочинявшие ее советники отроду кредитных грамот не читывали и, верно, грамоте не умеют, если такую грамоту подписали". "Впрочем, — продолжал он, — я этому не удивляюсь, потому что конфедерация принуждена была к этому силою от абсолютной державы; но мы теперь можем и должны все ею сделанное ко вреду Польши ниспровергнуть, в том числе и эту грамоту, как противную религии и вольности; вольность наша нарушена совершенно взятием

Чацкого и Кожуховского; надобно послать к русскому послу делегатов от сейма с требованием письменного ответа: по чьему повелению он так поступал и имел ли на то инструкцию. Прежде получения ответа от Репнина и прежде освобождения Чацкого не позволяю ничего ни делать, ни говорить на сейме. Согласны ли все на это?" Большая часть послов закричали: "Согласны!" Опять король начал тихую речь: "Сами не знаете, чего хотите; такая делегация оскорбит достоинство самой императрицы; вместо всего этого надобно прилежно рассмотреть поданный при начале сейма князем Радзивиллом проект, сличить его с основанием, то есть с актом конфедерации, и с грамотою, отправленною к ее императорскому величеству; для этого даю я времени до 16-го числа этого месяца". Заседание кончилось.

Узнавши эти подробности, Репнин почел необходимым покончить с Солтыком. Во вторник 2 (13) числа у краковского епископа собралось провинциальное заседание Малой Польши. Тут хозяин говорил еще сильнее, чем на сейме, против диссидентов и гарантий и объявил, что сейма нельзя продолжать долее как два дня, будущую пятницу и субботу, потому что обыкновенный двухнедельный срок для чрезвычайных сеймов этими двумя днями закончится. Еще сильнее Солтыка говорил воевода краковский Венцеслав Ржевуский, за ним архиепископ львовский и епископ киевский — Залуский. Вся провинция была согласна с ними, исключая одного маркиза Велиопольского, краковского земского посла, который тщетно противился этим решениям: никто его не слушал. Князь Чарторыйский, воевода Русский, быв в заседании, прямо противился гарантии, о диссидентах же и продолжении сейма говорил меж зубов.

Когда заседание кончилось и все разъехались, Солтык поехал ужинать к маршалу Мнишку. Узнав здесь, что команда, отправленная Репниным, уже дожидается его на возвратном пути, он расположился ночевать у Мнишка; тогда полковник Игельстром вошел в дом к Мнишку и арестовал Солтыка, оттуда отправился к Залускому, захватил его, а между тем подполковник Штакельберг забрал Ржевуского и сына его Северина, старосту Долинского. Все захваченные отправлены были с достаточным конвоем в Вильну, к генерал-поручику Нумерсу, которому приказано было содержать их с довольством и не оскорблять ничем<sup>41</sup>. На третий день после арестов явились к Репнину делегаты, по одному сенатору из каждой

провинции, с просьбою, чтобы арестованным была возвращена свобода и чтобы остальные депутаты получили ручательство за свою безопасность. "Арестованных не выпущу, — отвечал Репнин, — потому что они заслужили свою участь: я не отдаю никому отчета в моих поступках, кроме одной моей государыни, и, если хотите, можете обратиться прямо к ней с своею просьбой. По всемилостивейшему обещанию ее императорского величества преимущества и безопасность каждого члена республики будут свято соблюдаемы: если вы в свою очередь будете свято сохранять свои обязательства, заключающиеся в последних актах конфедерации и в грамоте, отправленной к ее императорскому величеству с посольством всей сконфедерованной республики; если земские послы поступать будут в силу данных им от сеймиков инструкций".

Все успокоилось. Назначена была комиссия для окончательного решения диссидентского дела и 19 ноября постановила следующее: все диссиденты шляхетского происхождения уравниваются с католическою шляхтой во всех политических правах; но королем может быть только католик, и религия католическая остается господствующею. Брак между католиками и диссидентами дозволяется; из детей, рожденных от этих браков, сыновья остаются в религии отца, дочери — в религии матери, если только в брачном договоре не будет на этот счет особенных условий. Все церковные распри между католиками и диссидентами решаются смешанным судом, состоящим наполовину из католиков и наполовину из диссидентов. Диссиденты могут строить новые церкви и заводить школы; они имеют свои консистории и созывают синоды для дел церковных; всякий и не принадлежащий к католическому исповеданию может приобретать индигенат в Польше.

Между тем Репнин, которого обыкновенно представляют тираном короля Станислава, старался рассеять то впечатление, какое было произведено в Петербурге врагами Понятовского, членами посольства, отправленного к императрице конфедерациею, Виельгорским с товарищами. Он старался выставить услуги, оказанные королем России в последнее время; старался показать, что нет никакой нужды приносить Станислава-Августа в жертву врагам его, которые вовсе не сильны, и что конфедерация не имеет той важности, какую ей приписывают ее посланники в Петербурге; стоит только удовлетворить

троих или четверых вождей — и все успокоится. Репнин представлял, что интересы императрицы требуют уважать короля, доказать ему, что с ее дружбою тесно соединено его благополучие, приобрести его полную доверенность и прямую привязанность; приверженный к России, король не будет отказывать ее посланнику в просьбах о награждении людей, преданных России, и таким образом легко будет составить себе сильную партию. Но как привязать к себе короля, как составить себе партию из лучших, достойнейших людей? Король и лучшие люди желали ограничения *liberum veto*.

Репнин по этому поводу писал Панину: "Если вы намерены Польше дать какую, хоть малую консистенцию, для употребления иногда против Турок, то внутренний сей порядок позволить нужно, ибо без оного никакой, ни самой малой услуги или пользы мы от нее иметь не будем: понеже сумятица и беспорядок в гражданстве и во всех частях в таком градусе, что уже более быть не могут. Если желаете, чтобы по-прежнему все головой материи на сеймах под единогласием трактовались, чтобы чрез *liberum veto* сеймы, как и прежде, разрывались, то и оное исполню. Сила наша в настоящее время все может. Но осмелюсь то представить, что не только тем не утвердим доверенность нации к нам и нашу здесь инфлюенцию, но, напротив, совсем оные разрушим, оставя в сердцах рану всех резонабельных и достойных людей, которые разделения законов желают (на государственные, проходящие единогласием, и внутренние, принимаемые по большинству голосов), на которых одних надеяться можно и которые наконец одни же только и могут чрез свой рассудок нацией предводительствовать, следовательно, и оскорбим мы ту большую часть нации, если подвергнем ее прежнему беспорядку чрез совершенное разрывание сеймов, особливо когда желаемый ими порядок нам не вреден, чрез которое легко будет доказать всей нации, что мы иного не желаем, как ее видеть в порабощении и сумятице. Такое мнение произведет натурально крайнюю недоверку и сильно, следовательно, препятствовать будет к собранию нам в независимую ни от кого, кроме нас, партию надежных и достойных людей, на коих бы мы характер и на их в народе инфлюенцию полагаться могли. Если ж нашу партию соберем из людей, кои почтения в нации не имеют, то они нам более будут в тягость, нежели в пользу, не имея сами по себе никакого кредита: и так принуждены будем все делать единственною

силой, которая совершенно разрушает сей важный предмет, чтобы свою независимую в земле партию иметь; из сего же то произойдет, что при первом случае, при коем аттенция наша или силы отвращены будут в другую сторону, Польша, по бессилию только снося строгость нашего ига, тем воспользоваться захочет, дабы одного избавиться. Правда, нами сделаны обещания чрез декларацию о испровержении всего того, что вопреки вольности народной последними сеймами постановлено было, обещающая соблюсти нацию в ее преимуществах. Но не сдержим ли мы торжественным образом наши обещания, когда форму правления чрез кардинальные законы так утвердим, что уже не только конфедерации, но и самое единогласие того переменить не будет в силах? Не оставим ли мы нацию в преимуществах *liberum veto*, когда все штатские материи одним единогласием на вольных сеймах решены быть могут? Достойное все принадлежит до единого порядка, как-то внутренности судебного обряда, тож экономии учрежденных уже доходов и содержания имеющегося уже войска. Большая часть нации, в том числе все резонабельные люди, того желают. Не верьте, ваше сиятельство, тем, кои вам противное сему от имени сконфедерованной нации говорят. Заседания конфедерации совсем с начала сейма ни единого не было, а без собрания такового никакие повеления именем ее посылаться не могут. Сии все доношения, вам чинящиеся, суть токмо плоды интриги, желая при настоящем случае в мутной воде рыбу ловить и забирая на свои персоны репрезентации нации"<sup>42</sup>. Репнин оканчивает свои представления словами: "Какая слава составить счастье целого народа, позволив ему выйти из беспорядка и анархии! Я верю в возможность соединения политики с человеколюбием; я льстил себя быть исполнителем намерений императрицы и вместе содействовать счастью народа, у которого я имею честь быть ее представителем"<sup>43</sup>.

"Для чего бы не позволить пользоваться соседям некоторым нам индифферентным порядком, который еще и нам иногда может в пользу оборотиться?" — заметила императрица на донесение Репнина, и вследствие этого относительно сеймовой формы было постановлено, что в первые три недели будут решаться только экономические вопросы — и решаться большинством голосов; все же государственные дела будут решаться в последние три недели — единогласием.



## ГЛАВА IV

В начале 1768 года в Петербурге могли думать, что тяжелое польское дело окончено. Репнин был щедро награжден; конфедерация, как достигшая своей цели, распущена; русские войска вышли из Варшавы, готовились выйти из королевства, как в марте месяце были получены в Варшаве известия о беспокойствах в Подолии. Подкоморий Розанский Красинский, брат епископа Каменецкого, вместе с Иосифом Пулавским, известным адвокатом, захватили город Бар, принадлежавший князю Любомирскому, и подняли там знамя восстания за веру и свободу. Монах-фанатик Марк из Бердического монастыря с крестом в руках ходил по селам и местечкам, проповедуя необходимость приступить к конфедерации. В Галиции образовалась другая конфедерация, под предводительством Иоахима Потоцкого, подчасшего литовского; Рожевский провозгласил конфедерацию в Люблине. Но восстание это вовсе не было народным: громкие слова *"вера и свобода"* не производили впечатления на массу; трудно было подниматься за веру, полагаясь только на слова какого-нибудь отца Марка, не видя, кто и как утесняет веру; трудно было подниматься за свободу, которою пользовалась одна шляхта, и пользовалась ею для того, чтобы составлять конфедерации то против одного, то против другого, приглашая на помощь чужие войска, а теперь хотела поднять конфедерацию для вытеснения этих войск, провозглашая их врагами свободы; но в чем состояла эта враждебность — понять было очень трудно. Кроме недостатка сочувствия в народе успехам конфедерации вредила поспешность, с какою она была провозглашена, неприготовленность средств, недостаток военных способностей и военной школы в вождях конфедерации. Поэтому конфедераты ждали спасения только от чужеземной помощи. Каменецкий епископ Красинский обегал дворы — Дрезденский, Венский, Версальский, проповедуя всюду, что Россия хочет овладеть Польшею и какая беда будет от этого всей Европе! Но более всего защитники веры ждали помощи от турок.

Несмотря, однако, на это невыгодное положение конфедератов, они могли на первых порах затянуть борьбу с Россиею вследствие

малочисленности русских войск в Польше: страшных притеснителей веры и свободы польской было не более 16 000 во всем королевстве, причем особенно мешал успешному преследованию конфедератов недостаток в легкой кавалерии. 27 марта состоялось сенатское решение — просить императрицу Всероссийскую, как ручательницу за свободу, законы и права республики, обратить свои войска, находившиеся в Польше, на укрощение мятежников. Репнин двинул войска в разных направлениях, и конфедераты нигде не могли выдержать их напора. Города, занятые конфедератами, — Бар, Бердичев, Краков — были у них взяты; но трудно было *угоняться* за мелкими шайками конфедератов, которые рассыпались по стране, захватывали казенные деньги, грабили друга и недруга, католика и диссидента, духовного и светского человека. Награбивши денег, шайки эти убегали в Венгрию или Силезию.

Страшная смута и рознь господствовали повсюду: брат не доверял брату; у каждого были свои виды, свои интересы, свои интриги; никому не было дела до отечества, лишь бы страсть его была удовлетворена, лишь бы частные его дела обделались; один брат писал громоносные манифесты против русских и соединялся с конфедератами — другой заключал контракты с русскими, брался поставлять в их магазины хлеб и овощи<sup>44</sup>. Между конфедератами особого рода удалью отличался ротмистр Хлебовский: встретив на дороге нищего, жида или так какого-нибудь пешехода, сейчас повесит на первом дереве, так что, говорят современники-поляки<sup>45</sup>, русским не нужно было проводников: они могли настигать конфедератов по телам повешенных. Шайка Игнатия Малчевского, старосты Сплавского, полтора года водила за собою русских; где могли русские ее настигнуть, всякий раз били; но шайка не уменьшалась, потому что плата хорошая, корму много, и притом дарового, разврат, полная власть над жителями страны, унижение самых знатных панов перед конфедератами, которые не давно были их слугами, — все это тянуло под знамена конфедерации всякую голь, дворовую служню, горожан и крестьян, которые не хотели работать. За один или два часа страха, испытанного при встрече с русскими и в бегстве от них, достаточною наградой былороскошное гулянье по стране в одежде защитника веры и вольности<sup>46</sup>. К опустошению страны конфедератами присоединился еще бунт гайдамаков, который начался таким образом.

Князя Любомирские, маршалок великий коронный и брат — воевода Любельский, заставили третьего Любомирского, слабоумного пьяницу, подстолия литовского, владельца огромных имений, передать торжественным актом это имение своим детям, причем ему самому и жене его выговорена была ежегодно значительная сумма из доходов. Так как дети Любомирского были малолетние, то назначены были опекуны. Но эта сделка не нравилась Сосновскому, писарю литовскому, любовнику княгини Любомирской, обманутому в надежде составить себе состояние. Он стал наговаривать княгине, чтобы выкрала мужа из Варшавы и пусть он опять примет имение в свое заведование: тогда она будет управлять слабоумным мужем и его имением, а не фамилия Любомирского и не опекуны. Княгиня взбунтовала мужа, выкрала его из Варшавы и привезла на контракты в Львов в 1768 году. Здесь люди совестливые не входили с ним ни в какие сношения; но наехали игроки из Варшавы, обыграли Любомирского и заставили заплатить карточный долг имениями под видом покупки. Но покупщики очень хорошо знали, что дело не обойдется легко, что опекуны детей Любомирского не впустят их ни в одно имение. Надобно было найти людей, которые, получив полномочие от Любомирского, приняли бы на себя обязанность бороться с опекунами и ввести во владение покупателей. Такие люди нашлись: два шляхтича, Бобровский и Воłyнецкий.

Бобровский отправился комиссаром в имение Любомирского Побереже; но его никто там не хотел слушать, едва ушел поздорову, потому что один из опекунов, Швейковский, узнав о львовских проделках, разослал по всем имениям приказы, чтобы никто из управляющих не смел слушать Бобровского и Воłyнецкого, какие бы бумаги от князя Любомирского они ни показывали. Бобровский, выгнанный из Побережа, снесся с Воłyнецким, и оба решили ехать в другое имение Любомирского, Смилянщизну, и поднять здесь крестьян обещанием уничтожения унии. Чтобы иметь помощь и с другой стороны, они отправились в Бар к Пулавскому, маршалку конфедерации, с просьбою, чтобы признал их советниками конфедерации и дал свои бланкеты для написания разных приказов его именем, за что обещали ему доставить для конфедерации тысячу вооруженных казаков. Пулавский легко согласился на их желание. Получивши бланкеты, Бобровский и Воłyнецкий с торжеством

поехали в Смилу, укрепленный замок Любомирского. Но ворота заперты, пускать не велено; управляющего Вонжа нет дома, но отлично распоряжается всем его жена; в замке 50 казаков гарнизона, пороху и всяких запасов много. "Муж мой не знает никаких комиссаров князя Любомирского, кроме опекунов молодых князей", — велит жена управляющего отвечать Бобровскому и Волынецкому на их требования отворить замок и на их угрозы. Тогда комиссары обращаются к казакам, живущим на землях в имении, и уговаривают их атаковать замок, но гарнизонные казаки отбивают нападение. Бобровский и Волынецкий придумывают средство: велят схватить жен и детей гарнизонных казаков и ставят их в первую линию казаков, идущих на вторичный штурм. Но и это средство не помогло: гарнизонные казаки стреляют, несмотря на то что от их пуль падают их жены и дети. Видя такой страшный грех, казаки не пошли на штурм и отказались повиноваться комиссарам. Бобровский и Волынецкий, которые за несколько дней перед тем обещали им ратовать за православие, теперь начали им грозить, что придет Барская конфедерация и истребит их всех до одного человека и псы будут лизать их кровь за их непослушание. Угроза не подействовала: казаки не шли штурмовать замок. Тогда Бобровский и Волынецкий решились ехать в Бар и, чтобы исполнить обещание, данное Пулавскому, велели начальнику казаков Тымберскому ехать за ними туда же со всеми казаками. Тымберский не смел ослушаться приказа, написанного от имени маршалка конфедерации (на бланкете Пулавского), и повел казаков вслед за комиссарами.

Тымберский был человек огромного роста и толщины, тяжело ему было ехать верхом, и коню было тяжело везти его — стал просить Бобровского и Волынецкого, чтобы позволили ему сойти с лошади и пересестись на телегу. Те позволили. Но как скоро Тымберский переселился на телегу, казацкие старшины, сотники, атаманы, есаулы, остановили его и обступили Тымберского с вопросом: "Куда нас ведешь, пан полковник?" "Приказ имею от маршалка конфедерации Барской явиться с вами в Бар", — отвечал тот. "Если хочешь, пан полковник, — сказала старшина, — то ступай себе в Бар один, — и, обратившись к казакам, крикнули: — Молодцы! За нами, домой, в Смилянщизну!" И след простыл. Бобровский, Волынецкий и Тымберский поскакали одни в Бар, боясь за собою погони казацкой.

Вспомним, что Волынецкий грозил казакам и крестьянам приходом войск конфедерации, которые истребят их всех. Как нарочно, через несколько дней разнесся слух, что идут две польские хоругви, ведут пойманных на разбое гайдамаков, чтобы сажать их на кол на месте преступления в Смилянщизне. Казаки, боясь, что это войско прислано для их наказания за покинутие Бобровского и Волынецкого, стали перебегать за русскую границу, за Днепр, под Переяславлем, где их пускали и с лошадьми, оставляя только оружие их при рогатках.

Между посаженными на кол гайдамаками находился родной племянник игумена, эконома переяславского архиерея. Этот игумен, раздраженный позорною смертью племянника, стал уговаривать бывших в то время в Переяславле на богомолье запорожцев и главного между ними — Железняка, чтобы они подняли с поляками войну за веру, потому что поляки устроили Барскую конфедерацию против православной веры. Для сильнейшего убеждения игумен показал Железняку на пергаменте указ императрицы подниматься против поляков за веру; титул был написан золотыми буквами, подпись и печать подделаны. Железняк отвечал игумену, что с несколькими сотнями запорожцев он не может начать этого дела; тогда игумен сказал ему: "А вот недалеко, при рогатках, много беглых казаков, которые убежали от войск конфедерации, потому что поляки хотели их всех истребить; уговорись с этими казаками, и ступайте в Польшу, режьте ляхов и жидов; все крестьяне и казаки будут за вас".

Железняк пошел к казакам, показал им поддельный указ императрицы — и все вместе вторгнулись за Днепр, поднимая крестьян и казаков, истребляя ляхов и жидов. На деревьях висели вместе: поляк, жид и собака с надписью: "Лях, жид, собака — вера однака".

Так рассказывает о происхождении гайдамацкого бунта поляк-современник, слышавший подробности от людей, самых близких к событию. При начале своего рассказа он говорит: "Это дело имело вид, как будто бы произошло по наущению русского правительства, но в самом деле поводы были другие"<sup>47</sup>.

Репнина сильно раздосадовал гайдамацкий бунт. Он указывал на переяславского архиерея Гervasия и матренинского игумена Мелхиседека как на "некоторую причину" волнения, особенно вооружался против Мелхиседека, известного ему своим беспокойным

характером; требовал, чтобы все православные польских областей были отданы в ведомство епископа Белорусского, которого через это можно вывести из нищеты, предосудительной для достоинства православного закона<sup>48</sup>.

Бунт ширился, обхватил Смилянщизну, грозил Умани, принадлежавшей киевскому воеводе Потоцкому. У Потоцкого главным управителем здесь был Младанович, а кассиром Рогашевский. Управляющий и кассир посылали тайком жидов к воеводе наговаривать друг на друга. Для разбора, кто из них прав, кто виноват, Потоцкий отправил в Умань пана Цесельского, который рассказал Младановичу и Рогашевскому, какие доносы на них были сделаны воеводе. Те, вместо того чтобы заподозрить друг друга, заподозрили сотника Гонту, которого любил Потоцкий и поручил ему заселение слобод, почему Гонта и ездил часто к воеводе. Управляющий и кассир стали мстить Гонте, потребовали 100 злотых за сотничество, и это в то время, когда казацкий бунт кипел по соседству.

Пришло требование от Барской конфедерации, чтобы выслали в Бар всю милицию и казаков воеводы киевского. Но воевода распорядился иначе: он велел Цесельскому забрать всех казаков и поставить их на степи, над рекою Синюхою, составлявшею границу с Россиею, а к Пулавскому написать, что вместо казаков, которые не будут охотно биться с русскими, он приказал сформировать из шляхты конную и пешую милицию и отослать с трехмесячным жалованьем и провиантом в Бар. Цесельский, Младанович и Рогашевский, чтобы не истощать казны воеводской сформированием милиции, назначили на этот предмет чрезвычайный подбор с казаков — и все это когда казацкий бунт кипел по соседству и уманьские казаки стояли в степи, на Синюхе, под начальством сотников — Дуски, Гонты и Яремы, готовые союзники для Железняка.

Одни жида чуяли беду и явились к Цесельскому с представлениями, что надобно остерегаться Гонты, тем более что он теперь главный: Дуска умер в степи. Жида говорили, что Гонта наверное сноится с Железняком; что есть слух, будто Гонта предлагал Дуске соединиться с Железняком, но будто тот отвечал: "Семь недель будете пановать, а семь лет будут вас вешать и четвертовать".

Напуганный жидами, Цесельский послал приказ Гонте немедленно явиться в Умань. Тот прискакал и был сейчас же закован в

кандалы, а на другой день уже вели его на площадь, под виселицу. Но с счастливой руки Хмельницкого казацких богатырей все спасали женщины. И тут взмолилась за Гонту жена полковника Обуха: "Оставьте в живых, я за него ручаюсь". Тронутся Цесельский просьбами пани Обуховой и отпустил Гонту — опять в стан на Синюху начальствовать казаками! Жиды увидели, что судьба их в руках того, кого они подвели было под виселицу: они наклали брыки сукнами и разными материями, собрали денег и отвезли Гонте с поклоном: "Батюшка! Защити нас!" Гонта сказал жидам: "Выхлопочите у пана Цесельского мне приказание выступить против Железняка". Жиды выхлопотали приказ; но Цесельский велел троем полковникам принять начальство над казаками. Эта мера не помогла; на дороге Гонта объявил полковникам: "Можете, ваша милость, ехать теперь себе прочь, мы в вас уже не нуждаемся". Полковники убрались поскорее в Умань, а Гонта соединился с Железняком. Скоро вся толпа явилась под Уманью; в ближнем лесу разостлали ковер, на котором уселись Железняк с Гонтой, казаки составили круг, и какой-то подьячий читал фальшивый манифест русской императрицы. Потом началась попойка и шла всю ночь.

В замке Уманьском уже не было больше Цесельского: он исчез; главное начальство перешло к Младановичу. К нему явился комендант Ленарт и объявил, что пьяные казаки ночуют на фольварке и что их ничего не стоит вырезать, сделавши вылазку из замка. Но Младанович никак на это не решился; он созвал жидов, велел им нагрузить брыки дорогими материями и везти к Железняку и Гонте в подарок с просьбою о капитуляции. Гонта и Железняк, пьяные, приняли подарки с удовольствием, но переговоры отложили до утра.

Действительно, утром на другой день оба предводителя со всею старшиной подъехали верхом к городским воротам, перед которыми был мост, переброшенный через глубокий ров. Комендант Ленарт велел зарядить картечью четыре пушки; но Младанович и Рогашевский, увидавши это, закричали: "Что вы делаете? Вы нас всех погубите!" Шляхта полегла на пушках и отогнала артиллеристов, а между тем Младанович спешил окончить переговоры с Железняком; положили: 1) казаки не будут резать католиков, шляхту и поляков вообще, имения их не тронут; 2) в жидах и их имении казаки вольны. По заключении капитуляции все поляки пошли в костел, а казаки

ворвались в город и начали резать жидов. Потом, когда все жида были перерезаны, добрались до милиции, назначенной в Бар; покончив с нею, пошли к костелу и начали вытаскивать оттуда мужчин, женщин, детей и бить; некоторых женщин, которые понравились, взяли за себя замуж, а детей усыновляли. Младанович и Рогашевский погибли от Гонты; весь город был устлан трупами, глубокий колодезь на рынке наполнился убитыми детьми. Крестьяне по селам в это время били жидов, вязали посессоров и шляхту и привозили в Умань, где пьяные казаки убивали их.

После этих подвигов Гонта провозгласил себя воеводою брацлавским, а Железняк — киевским, и разослали в разные стороны отряды резать шляхту и жидов. Но Железняк и Гонта недолго навоеводствовали: они были схвачены по распоряжению генерала Кречетникова; гайдамацкий бунт потух; но следствия его обнаруживались неожиданным образом. Один из разосланных Железняком и Гонтою гайдамацких отрядов под начальством сотника Шилы направился к Балте, пограничному местечку, которое речка Кодыма отделяла от татарского местечка Галты. Балта славилась своими ярмарками, на которые приводили лошадей, рогатый скот, овец; для закупки лошадей приезжали ремонты из Пруссии и Саксонии. Местечко богатело от этих ярмарок; в нем жило много жидов, греков, армян, турок и татар: было кого порезать гайдамакам, было что пограбить. Шила со своим отрядом явился в Балту и начал тем, что поколол всех жидов; потом, прожив дня четыре спокойно, собрал свое войско и вышел из Балты. Увидав, что этим все кончилось, турки в Галте подняли крик и вместе с жидами перешли с татарской стороны на польскую; одни пошли на гору в погоню за гайдамаками, другие начали бить православных — сербов и русских, — грабить товары и зажгли предместье. Шила, услышав, что турки и жида напали на православных, возвратился, прогнал неприятелей на татарскую сторону, перешел вслед за ними в Галту и все здесь разорил и пограбил. На другой день битва возобновилась нападением турок, которые опять были прогнаны в Галту. После этого гайдамаки помирились с турками и много отдали им назад из пограбленного. Но как скоро Шила выступил в другой раз из Балты, турки и жида явились опять в местечке, начали ругать христиан, многих постреляли и порубили, церкви ограбили. Вслед за басурманами явились



конфедераты — и православным стало не легче: каждый день поляки ревизовали христиан, били и убивали до смерти. Православные обратились с просьбою о защите к русскому полковнику Гурьеву и в просьбе рассказали, как было дело. Просьба оканчивалась так: "Конфедераты очень хотят, чтобы нас теперь переловить и погубить; того ради просим не оставить нас и показать над нами жалость, просим нам, бедным, дать конвой, чтобы мы могли свое забрать. К сему отношению подписалось целое братство наше купеческое, греческое"<sup>49</sup>. Уже давно Франция хлопотала в Константинополе, чтобы заставить турок вмешаться в дела польские и объявить войну России. Турецкое правительство придралось к событиям в Балте, обвинило Россию в нарушении границ и объявило ей войну. Восточный вопрос соединился с Польским. Турецкая война разделила русские силы, дала возможность конфедератам держаться, затруднила положение русского посла в Варшаве.

"Стараться я, конечно, всячески буду о восстановлении спокойствия; но, к несчастью, не все так идет, как желается"<sup>50</sup>, - писал Репнин в Петербург. Чарторыйские увидели затруднительное положение России, принужденной теперь вести томительную и бесплодную войну, и заговорили иначе; особенно переменили они тон, когда началась Турецкая война, вначале неудачная для России. Чарторыйские начали заговаривать с Репниным о необходимости изменить постановление о диссидентах и гарантии. Королю, который до сих пор преклонялся перед силою России, — королю показалось, что в Барской конфедерации высказалась другая сила — сила польской национальности. Как обыкновенно поступают люди с его характером, он испугался этой новой силы, стал кланяться перед нею и также заговорил с Репниным о необходимости для прекращения волнений отступить от диссидентского дела и гарантии. "Я сам знаю, — писал Репнин, — что волнения прекратятся, если мы отступимся от этих двух пунктов, но дороже бы сия тишина была куплена, нежели она стоит", и потому он "сделал королю самый короткий и ясный отказ". Прусский посланник Бенуа также обратился к Чарторыйским с просьбою, чтобы они откровенно объявили его государю о способах примирения; но Чарторыйские отвечали, что ни во что мешаться не могут и что судьба республики зависит единственно от хода событий, от того, как пойдет Турецкая война<sup>51</sup>.

Для успешного хода этой войны русским войскам необходимо было занять две крепости в польских владениях, Замосц и Каменец-Подольский, особенно последний, ибо, воюя с конфедератами и не зная, какой оборот может еще принять эта война, опасно было оставлять в тылу у себя такую важную крепость, которая могла быть сдана туркам. Замосц находился в частном владении у Замойского, который был женат на сестре королевской; поэтому Репнин частным образом обратился к брату короля, обер-камергеру Понятовскому, не может ли король написать партикулярно своему родственнику, чтобы тот не препятствовал русским войскам в занятии Замосця. Но король, вместо того чтобы отвечать частным же образом, собрал министров и объявил им, что русские хотят занять Замосц. Вследствие этого Репнину была прислана нота, что министерство его величества и республики за долг поставляет просить не занимать Замосця.

Репнин не принял ноты, ответив, что он не требовал ничего относительно этой крепости, а великому канцлеру коронному Млодзеевскому заметил, что русские войска призваны польским правительством для успокоения страны: на каком же основании не давать им выгод, одинаких с выгодами польских войск? Когда же Репнин стал пенять королю, зачем он не сделал различия между поступком конфидентной откровенности и министриальным, то Станислав-Август прямо сказал: "Не сделай я так, ведь вы бы заняли Замосц". Репнин отвечал также прямо, что занятие Замосця необходимо для безопасности Варшавы в случае татарского набега и что таким поступком король не удержит его от занятия крепости: "Я ее займу, хотя бы и с огнем". "Это занятие очень важно, — продолжал король, — стоит только начать". "Не разумеете ли вы Каменца?" — спросил Репнин. "Именно", — отвечал король. Тут Репнин сказал ему: "Мы из Польши в турецкие границы не выйдем, прежде нежели не будем иметь Каменец для учреждения там нашего магазина и пласдарма; итак, если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а в турецких границах, то отдайте нам Каменец". Зная, что король уже повидался с дядюшками, Репнин спросил его: "Как ваше величество теперь с ними? Рассуждали ли о настоящих обстоятельствах?" Король несколько смутился и отвечал: "Они со мною по-прежнему холодны; что же касается настоящих обстоятельств, то они говорят то же, что и вам говорили, то есть что нужно посредничество чужестранных

держав и что иначе нацию успокоить нельзя как отступить от гарантии и диссидентского дела, позволить диссидентам только свободу вероисповедания, отнявши доступ в судебные места и в законодательство". "Это лекарство хуже болезни, и, конечно, мы его не употребим, — отвечал Репнин, — вам, другу России, обязанному ей престолом, не годится уничтожать общего дела: вы должны продолжать свою преданность к России, особенно когда видите, что все стараются свергнуть вас с престола, что и на Россию-то все сердятся за то, что мы поддерживаем вас на престоле". "Я бы охотно свое место оставил, — отвечал король, — если бы мог скоро успокоить свое отечество и доставить нации то, чего она так желает, то есть уничтожение гарантии и диссидентского дела".

В Совете королевском враждебные России голоса явно взяли верх: маршал коронный князь Любомирский и граф Замойский от своего имени и от имени Чарторыйских предложили, что войско правительства польского, назначенное под начальством Браницкого действовать против конфедератов, должно немедленно распустить по непременно квартирам, иначе русские подговорят его на свою сторону и употребят против турок, из чего султан может заключить, что Польша заодно с Россиею против Турции. Любомирский с товарищами сильно восстали против последнего сенатского Совета, который решил просить у России помощи против конфедератов. Браницкий противился распусшению войска, говорил, что это произведет неудовольствие в народе и возбудит подозрение в русском правительстве; но Замойский продолжал настаивать на распусшении войска и требовал, чтобы отныне принята была следующая система: не давать России явных отказов, но постоянно находить невозможности в исполнении ее требований, льстить, но ничего не делать; королю нисколько не вмешиваться в настоящие волнения, нейти против нации, не вооружаться и против турок, но выжидать, какой оборот примут дела. Король во время этих споров не отворял рта и наконец пристал к мнению Браницкого. Положено не распускать войска, но запрещено ему приближаться к турецким границам; позволено требовать русской помощи и соглашать с русскими войсками свои движения только против бунтующих крестьян; но вместе с русскими нигде не быть, не показывать, что польское правительство заодно с русскими<sup>52</sup>.

Вопрос о Каменце не переставал занимать Репнина, потому что императрица предписала стараться о занятии Каменца всеми способами — кроме насилия. Зная, что король снова подпал влиянию Чарторыйских, Репнин обратился к ним, выставляя необходимость занятия Каменца. Чарторыйские отвечали: "Лучше подвергнуть весь тот край совершенному опустошению, чем подать туркам причину к объявлению войны, тем более что еще неверно, обратятся ли турки к польским границам; да хотя бы и этих причин не было, то отдать Каменец недостойно патриотов". Репнин обратился к ним с вопросом: "Что, по вашему мнению, для вас выгоднее — чтобы Россия или Порты взяла верх в настоящей войне? Ибо от решения этого вопроса должно зависеть все ваше поведение". "Ни то, ни другое, — отвечали Чарторыйские. — Выгода наша состоит в том, чтобы не путаться нисколько в это дело". "Достоинство вашей короны страдает от презрительных отзывов Порты на ваш счет", — сказал Репнин. "Где нет бытия, там нет и достоинства, мы все потеряли", — отвечали Чарторыйские, и Литовский канцлер примолвил: "Il vaut mieux ne rien faire, que de faire de rien"<sup>53</sup>.

Репнин обратился к королю. Те же ответы, какие слышал и от Чарторыйских. Репнин представил ему, что он глядит не своими глазами и что никогда не предстояло ему такой нужды быть в самом полном согласии с Россией, потому что она одна может спасти его от падения, которое ему готовят Порты и Франция и большая часть поляков. "Все это я очень хорошо вижу, — отвечал король, — но есть такой период бедствий, в который уже никакая опасность нечувствительна; я теперь именно в этом периоде и потому отдаю свой жребий во власть событий". "Умоляю ваше величество подумать, — сказал на это Репнин, — теперь у вас еще есть хотя малая армия, а в марте месяце и той заплатить будет нечем; тогда если бы вы и захотели на что-нибудь решиться и к нам приступить, то уже будет не с кем".

Король отвечал на это уверениями, что он с своим войском не сделает ни шагу против русских. Репнин этому вполне верил, но знал, что как скоро жалованье прекратится, то весь этот сброд составит новые разбойничьи шайки. Репнин опять спросил короля: "Можем ли мы на вас надеяться?" "Я, кажется, доказал свое усердие, потеряв через него весь кредит в своей нации и дошедши до бессилия, которое мне в вину поставить нельзя", — отвечал король. "Конечно, — продолжал

Репнин, — прошедшая ваша дружба забыта не будет; но надобно ее продолжать; а как скоро вы ее прекратите, то и все кончится". "Если ее императорское величество, — отвечал король, — даст мне возможность быть ей полезным, согласясь отступить совершенно от гарантии и частью от диссидентского дела, — даст мне через это способы возвратить к себе любовь и доверенность моих подданных, то я докажу действительным образом, что нет человека преданнее меня ее императорскому величеству; но если она этого не сделает, то я хотя и останусь другом, но в совершенном бездействии и небытии".

Репнин отвечал, что императрица не может отступить от своих прав и компрометировать свое достоинство. Король повторил также решительный отказ относительно сдачи Каменца, и Репнин кончил разговор словами, чтобы король пенял во всем на себя, а русские будут уметь взять предосторожности, какие им нужны<sup>54</sup>. В другом разговоре с Репниным король повел речь о возможности своего близкого падения. Репнин заметил ему, что всегда неприятно с престола сходить, а согнату быть и стыдно. "Меня, конечно, не сгонят, — отвечал король, — я умру, давши себя застрелить в своем дворце, а места своего не покину, буду здесь защищаться". "Лучше бы не дожидаться такой крайности, — возразил Репнин, — славнее было бы умереть в поле, а не в своей комнате; я сам пойду к вам в адъютанты, если только вы примете это мужественное намерение и соедините свои силы с нашими; слава и счастье сами не приходят, а надобно идти к ним навстречу и их искать". "В моем положении нельзя думать о славе, — отвечал король, — выше славы поставляю свой долг, а долг запрещает мне переменить свое поведение"<sup>55</sup>.

Итак, решение, принятое королем и Чарторыйскими, обозначилось ясно: или заставить Россию переделать свое дело, или оставаться в совершенном бездействии, дожидаясь, чем кончится борьба России с Турцией и конфедератами и как будут смотреть на эту борьбу другие державы; поставить через это Россию в самое затруднительное положение, ибо до сих пор ее уполномоченный в своих действиях опирался на польское правительство, а теперь это правительство складывало руки; но, объявляя себя не за Россию, оно тем самым объявляло себя против нее. В Петербурге хорошо понимали затруднительность этого положения, и, как обыкновенно бывает, нашлись люди, которые поспешили обвинить во всем Репнина: не так

принялся за дело, слишком натянул, тем более что в жалобах из Польши на деспотизм посла не было недостатка. И людям, более сдержанным, не спешащим отсылать в пустыню козла очищения, могло казаться, что по новым обстоятельствам роль Репнина в Польше должна кончиться; что надобно попробовать, нельзя ли выйти из затруднительного положения путем некоторых уступок и соглашений, а для этого нужен был другой человек, которому легче было начать другой образ действий, чем Репнину.

Репнин был отозван в июне 1769 года; на его место назначен князь Михаил Никитич Волконский. Эта перемена, каким бы путем ни дошли до убеждения в ее надобности, была ошибкою. Князь Репнин был именно человек необходимый в Польше в описываемое время. Он отлично знал страну, знал людей и умел обходиться с ними. Пред началом каждого дела он соображал его трудности, могущие произойти неблагоприятные последствия и не таил их от своего правительства; но как скоро убеждался в необходимости действовать или получал решительное приказание из Петербурга, то принимался за дело — и уже ни шага назад, ни малейшего колебания. Репнина могли ненавидеть, но его не могли не уважать; при том несчастном характере, которым отличалось большинство польских деятелей, именно был нужен человек, которого бы уважали, которого бы боялись, как Репнина. Это было нужно не для одних поляков: началась война такого рода, которая наиболее могла способствовать ослаблению дисциплины в русском войске. Толпы конфедератов пробегали страну разбойничьими шайками, преследователи их могли легко увлечься примером: если свои поступали так, то чужие и подавно, особенно в стране, где враждебность к русским в известной части народонаселения, давившей остальные, высказывалась беспрестанно самым мелочным образом, наиболее вызывающим к насилию. Репнин не позволил бы ни одному русскому отряду подражать конфедератским шайкам: ручательством служило его поведение относительно генерала Кречетникова, запятнавшего себя корыстолюбием. Наконец, Репнин обладал военным талантом, что при тогдашних обстоятельствах было делом первой важности.

Прежде нежели приступим к обзору деятельности князя Волконского в Варшаве, взглянем, что делали конфедераты. Находившиеся в Валахии Иоахим Потоцкий и старик Пулавский

перессорились насмерть. Потоцкий обнес своего врага перед турецким правительством — и Пулавский умер в константинопольской тюрьме. Двое сыновей Пулавского, Казимир и Франц, ворвались с своими бандами в Литву, но были окружены русскими и поражены при Ломазах: Франц был убит, Казимир бежал за австрийскую границу. Австрия давала убежище конфедератам в своих владениях, и главная квартира их была сначала в Тешене — в Силезии, потом в Епериесе — в Венгрии. Генеральным маршалом конфедерации провозглашен был Михаил Пац, староста Зёловский. С большими деньгами явился к конфедератам Радзивилл, снова отставший от русских и принужденный бежать от них из Литвы.

Австрия довольствовалась тем, что давала убежище конфедератам; Франция хотела оказать им более деятельную помощь. В 1768 году первый министр Людовика XV герцог Шуазэль отправил к конфедератам на границы Молдавии драгунского капитана Толеса. Толес приехал с значительною суммою денег; но, познакомившись с конфедератами поближе, нашел, что не стоит тратить на них французских денег; что ничего нельзя сделать для Польши, и решился возвратиться во Францию. Желая уведомить об этом решении своем герцога Шуазёля и боясь, чтобы письмо его не попало в руки к полякам, Толес написал: "Так как я не нашел в этой стране ни одной лошади, достойной занять место в конюшнях королевских, то возвращаюсь во Францию с деньгами, которых я не хотел употребить на покупку кляч"<sup>56</sup>.

В 1770 году Шуазэль отправил в Епериес знаменитого впоследствии Дюмурье, чтобы помочь конфедератам установить порядок в их движениях против русских. Но и на Дюмурье конфедераты произвели такое же впечатление, как на Толеса. Вот что он рассказывает о них в своих записках<sup>57</sup>. Нравы вождей конфедерации азиатские. Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска — вот их занятия! Они думали, что Дюмурье привез им сокровища, и пришли в отчаяние, когда он им объявил, что приехал без денег и что, судя по их образу жизни, они ни в чем не нуждаются. Он дал знать герцогу Шуазёлю, чтобы тот прекратил пенсии вождям конфедерации, и герцог исполнил это немедленно. Войско конфедератов простиралось от 16 до 17 000 человек; но войско это было под начальством осьми или десяти



независимых вождей, несогласных между собою, подозревающих друг друга, иногда дерущихся друг с другом и переманивающих друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей, равных между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях. Шляхта эта не могла сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и казакам. Ни одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, били крестьян, завербованных в войско. Вожди ссорились друг с другом. Вместо того чтобы поручить управление соляными копиями двоим членам Совета финансов, вожди разделили по себе соль и продали ее дешевою ценою силезским жидам, чтобы поскорее взять себе деньги. Товарищи (шляхта) не соглашались стоять на часах — они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах; офицеры в это время играли и плясали в соседних замках.

Что касается до характера отдельных вождей, то генеральный маршал Пац, по отзыву Дюмурье, был человек, преданный удовольствиям, очень любезный и очень ветреный; у него было больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем мужества. Он был красноречив — качество, распространенное между поляками благодаря сеймам. Единственный человек с головою был литвин Богуш, генеральный секретарь конфедерации, деспотически управлявший делами ее. Князь Радзивилл — совершенное животное, но это самый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр, очень предприимчив, но любит независимость, ветрен, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый своими небольшими успехами, которые поляки по своей склонности к преувеличениям ставят выше подвигов Собеского.

Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу; они охотно жертвуют этой страсти имуществом и жизнью; но их социальная система, их конституция противятся их усилиям. Польская конституция есть чистая аристократия, но в которой у благородных нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. Польское социальное тело — это чудовище, составленное из голов и желудков,



без рук и ног. Польское управление похоже на управление сахарных плантаций, которые не могут быть независимы.

Умственные способности, таланты, энергия в Польше от мужчин перешли к женщинам. Женщины ведут дела, а мужчины ведут чувственную жизнь.

Дюмурье верно взглянул и на русских, на их положение в Польше. "Это превосходные солдаты, — говорит он, — но у них мало хороших офицеров, исключая вождей. Лучших не послали против поляков, которых презирают". Действительно, Турецкая война отвлекла русские силы — и силы лучшие. Это печальное обстоятельство должно было отражаться и на русской дипломатии в Варшаве.

Преемник Репнина был человек достойный, но не Репнин; да и задача, возложенная на князя Волконского, была так трудна, что мы никак не решимся сложить на него всю вину ее исполнения. Он должен был действовать и твердо, и вместе мягко; он не должен был позволять никаких важных, существенных изменений в том, что было сделано Репниным, — мог сделать только некоторые незначительные уступки. Но как скоро показана была готовность к уступкам, то вместе показана была слабость, сознание затруднительности своего положения, и это показано было людям, которые привыкли преклоняться только пред силою, которые привыкли поднимать голову выше, чем следовало, при первой уступке. Уже на смену Репнина смотрели как на победу: видели в этом сознание слабости со стороны России и тем более начали заискивать перед другою воображаемою силою, которую называли нацией; преклоняясь пред Россией, оскорбили нацию. Теперь со стороны России уступчивость — признак слабости, а нация высказала свое неудовольствие и обнаружила некоторые признаки силы в Барской конфедерации, и потому начали прислуживаться к нации, думая, что лучшим средством прислужиться к нации было заставить Россию отказаться от всего вытребованного ею в последнее время или по крайней мере не уступать ей ни в чем.

Действуя так, Понятовский, с одной стороны, надеялся приобрести расположение нации; с другой — был уверен, что лично ему нечего опасаться от России, которая не могла решиться на свержение короля, ею возведенного на престол. Таким образом, перемена лица, перемена тона, большая мягкость и уступчивость не вели ни к чему; надобно было или уступить все, чего хотели, то есть

отказаться от гарантии и диссидентского дела, или не уступать ничего. Положение Волконского вследствие этого было затруднительное и неприятное: во дворце на все его увещания и требования ответили холодным "нет". Он хлопотал об образовании новой русской партии, об образовании реконфедерации; но люди, которые ему казались приверженцами России, были привержены только к русским деньгам; видя, что преемник Репнина действует не по-репински, они видели в этом сознание в слабости России и потому служили двум господам. Притом Волконский был человек хворый, подагрик; наконец, относительно военных действий он во всем положился на генерала Веймарна, а у Веймарна не доставало ни распорядительности, ни твердости для поддержания дисциплины: он знал, как дурно ведут себя некоторые начальники русских отрядов, но ограничивался бесплодными сожалениями.

Волконский привез с собою в Варшаву инструкцию относительно требований короля и Чарторыйских. Во-первых, относительно гарантии он мог обнародовать декларацию, в которой заключалось точное и полное изъяснение гарантии, как вовсе не представляющей опасности для польской самостоятельности. Во-вторых, относительно диссидентского дела послу было наказано: "Не входя и не участвуя никак в модификации постановленных диссидентам преимуществ, умалчивать о тех уступках, которые иногда они сами между собою сделать согласятся для скорейшего успокоения и примирения со своими соотчичами". Впоследствии Панин уяснил Волконскому этот пункт наказа таким образом: "Надобно, чтобы сами диссиденты добровольно вошли в точное рассмотрение, стоит ли для них, собственно, сохранение на последнем сейме приобретенных прав и преимуществ того, чтобы покупать оное гражданскою в отечестве войной, или же не лучше ли жертвовать добровольно частию выгод для восстановления общей тишины и для обеспечения другой части тех самых выгод. Со всем этим слава и достоинство ее императорского величества не позволяют, чтобы покушение о нужде и пользе такого поступка было от нас, а надобно, чтобы диссиденты сами на то попали или же по крайней мере вашим сиятельством чрез третьего весьма нечувствительным и искусным образом доведены были, чтобы диссиденты отозвались добровольно к ее императорскому величеству, королю и правительству с представлением своего собственного

желания принести некоторую часть своих преимуществ в жертву восстановлению внутреннего покоя".

Первым делом Волконского по приезде в Варшаву было опять поднять вопрос о Каменце. Панин дал знать еще Репнину о домогательствах французского посла в Цареграде, чтобы турки как можно скорее овладели Каменцом для утверждения себя в Польше; Панин поручил Репнину представить королю, что если польское правительство не могло согласиться отдать эту крепость под защиту русского войска, то правило нейтралитета требует необходимо, чтобы русские получили формальное и точное обнадежение, что Каменец не будет отдан в руки их неприятелю, а будет защищаем всеми силами заодно с русскими войсками. Обнадежение это получил уже Волконский. Новый посол нашел короля в совершенной зависимости от Чарторыйских, без которых он ничего не смел предпринять. Два раза по своем приезде Волконский виделся с королем и оба раза выслушал от него одне речи, что прекратить волнения в Польше нельзя без уступки в гарантии и диссидентском деле; что он, король, должен *менажировать нацию*, для чего необходима означенная уступка. Волконский отвечал, как и Репнин, что уступки в этих двух пунктах не будет. Несмотря, однако, на эти старые ответы, сейчас же стало заметно, что дела идут не по-старому; примас Подоский прямо объявил Волконскому, что Польша не может быть счастлива, имея национального короля; что Понятовский ненавидим нацией и нет средства успокоить ее без его свержения. Волконский отвечал ему, что русское правительство не допустит никогда уничтожить собственное свое дело; но примас остался при своем мнении. Из разговоров своих с польскими магнатами Волконский приметил, что они не хотят ни за что приниматься в ожидании, как пойдут дела у русских с турками; Волконский дал также знать в Петербург, что двор и министры польские чуждаются его, ничего не сообщают, не входят ни в какие соглашения, желая показать пред нацией, что не имеют ничего общего с Россией<sup>58</sup>.

Но, менажируя нацию и показывая для этого холодность к России, Понятовский вовсе не обнаруживал холодности к русским деньгам. Мы видели, что, несмотря на мнение Любомирского и Замойского, в королевском Совете было решено не распускать войска, находившегося под начальством Браницкого. Теперь это войско

выступало в поход против конфедератов, и король, не дававший знать Волконскому ни о чем, в этом случае дал знать, но вместе попросил на экспедицию 3000 червонных. Волконский дал деньги; но едва Браницкий дошел до Брест-Литовского, как получил повеление не вступать в дело с конфедератами и возвратиться назад со всем корпусом: Чарторыйские и Любомирский успели внушить королю, что движение Браницкого против конфедератов огорчит нацию. Станислав-Август послал за Волконским, объявил ему об отзывании Браницкого, извинялся, но сказал, что не может открыть причины такого поступка<sup>59</sup>. Браницкий отдал назад Волконскому 2400 червонных, а 600 уже были издержаны понапрасну.

Чарторыйский, великий канцлер Литовский, в разговорах с Волконским упорнее прежнего держался того, что без уступки в диссидентском деле и в гарантии никогда ничего сделать нельзя. Волконский отвечал, что это надобно выбить из головы, причем заметил, что возмутители собираются в Ловиче и около Варшавы. Чарторыйский сказал на это, что, может быть, они составят генеральную конфедерацию. "Генеральная конфедерация, — возразил Волконский, — будет против короля, следовательно, против вас самих". "Я не знаю, — отвечал Чарторыйский, — что с нами будет, но Польша останется всегда Польшею". Король опять обратился к Волконскому с предложением, не лучше ли будет, если трактат и вся последняя конституция будут уничтожены и составитя новая конституция? Волконский прервал его: "Надобно это из головы выложить, потому что республика требовала у ее величества гарантии чрез торжественное посольство". "Все это было сделано силою", — заметил король. "Неправда, — отвечал Волконский, — нельзя было силою заставить высылать торжественное посольство"<sup>60</sup>. И вскоре после этого разговора король обратился к Волконскому с просьбою, нельзя ли дать денег, потому что доходы его забраны конфедератами и ему почти есть нечего. Волконский дал 5000 червонных и написал Панину: "Он поистине рад бы для нас что-нибудь сделать, но не смеет и не умеет; я никогда не думал найти его в такой слабости, он совсем предался Чарторыйским". Из Петербурга пришло приказание выдать королю еще 5000 червонных: иначе войско его, не получая жалованья, разбежится и увеличит собою толпы мятежников<sup>61</sup>.

Волконский хлопотал, во-первых, о том, чтобы не допустить конфедератов до образования генеральной конфедерации; во-вторых, о том, чтобы составить генеральную конфедерацию, которая бы действовала заодно с Россией. От времени до времени являлись к Волконскому люди с проектами подобной конфедерации; но дело не шло далее проектов. Так, известный нам граф Браницкий и коронный кухмистр Понинский предложили план генеральной конфедерации для успокоения Польши при содействии России и, чтобы менажировать нацию, потребовали не изменений в Репнинском трактате, а уступки Польше Молдавии и Бессарабии, когда они будут завоеваны русскими у турок. Панин, уведомленный об этом, писал Волконскому, чтобы обещал присоединение к Польше Молдавии и Бессарабии для ободрения благонамеренных поляков к генеральной конфедерации и для побуждения их вступить с Россиею в явные обязательства против турок; "теперь, — заключает Панин, — нужны России не военные силы республики, но естественные и беспрепятственные выгоды от земли, из которых главными должно считать получение в наши руки Каменца и распоряжение им во все время войны. Что же касается до Молдавии, то присоединение ее к России не может быть полезно для последней; Молдавия сама собою не в состоянии защищаться ни против кого, и отдаление ее от наших границ всегда затруднит нашу собственную защиту, тогда как очень важно для России, если православное молдавское дворянство, присоединясь к Польше, выговорит себе под нашим покровительством все права польского дворянства"<sup>62</sup>.

Несмотря на эти обещания, генеральная конфедерация не образовывалась; король брал русские деньги и ничего не делал для России, менажируя нацию. Первое после короля лицо в республике, примас Подоский также брал русские деньги и, мало того что ничего не делал для России, интриговал еще в пользу Саксонского дома, что было противно видам России. Россия должна была поддерживать свое влияние в Польше, потому что в подобной стране отказаться от влияния значило уступить его другому государству, которое стало бы пользоваться им для своих целей. Сохранение русского влияния в Польше, по мысли Панина<sup>63</sup>, было необходимо для поддержания северной системы, без которой Россия никогда не могла достигнуть роли державы первого класса. Для России было нужно, чтобы королем

в Польше был Пяст; курфюрст Саксонский не мог быть королем по разнообразным и часто изменяющимся интересам наследственных его земель, которые по своему положению между Австрией и Пруссией и по разным отношениям этих государств к Франции могли очень часто переходить от одного союза к другому, увлекая за собою Польшу в ту или другую сторону. По этим соображениям Панин писал Волконскому, что примасу надобно производить ежемесячно некоторую определенную и умеренную дачу (потому что расходы в настоящее время очень велики становятся), но надобно держать его в железных рукавицах, потому что он саксонец душою и сердцем.

Чарторыйские уже давно объявили, что ничего не предпримут; что будут ждать, как пойдет война между Россией и Турцией. В августе пришло известие, что русские дела идут плохо; что главнокомандующий князь Голицын принужден был перейти Днестр — и Чарторыйский, воевода Русский, объявил Волконскому: "Не как послу, но как моему старому другу откроюсь чистосердечно, что кто здесь будет сильнее, того сторону мы и примем; я отсюда, из Варшавы, не поеду, а королю себя спасать надобно, вы здесь не так сильны, чтобы могли нас защитить"<sup>64</sup>. Чарторыйские поспешили сделать первый шаг вперед против России, оказавшейся в их глазах слабою; они уговорили короля созвать сенат, где было решено отправить послов к Русскому и другим дворам с объявлением, что последний трактат с Россией, как вынужденный князем Репниным, должен быть уничтожен. Это было 30 сентября. Волконский отправился к королю: "Не стыдно ли вашему величеству приписывать насилию князя Репнина все сделанное на последнем сейме, когда вы знаете, что все это одобрено ее императорским величеством; да и зачем же вы сами с сеймом ратифицировали это дело? Пусть частные люди опасались насилий от князя Репнина, который, впрочем, не мог бы ни на что решиться без повеления своего двора, но ваше величество чего боялись? Ведь вас князь Репнин не взял бы! Сверх того, для чего вы молчали по его поручению; а теперь, когда больше всего надобно бы вам быть благодарным России за избавление от турок и от своих злодеев, вы с нею вздумали разрывать!" Король сначала ничего не отвечал, стоял как ошоломленный; но потом, оправившись, начал уверять в своей преданности к императрице, что и не думал сделать ей что-либо

неприятное, но, будучи поляком, должен был доказать нации свое попечение о ее благоденствии<sup>65</sup>.

Понятовский только сначала испугался сильной речи Волконского: он не привык слышать от него таких речей; ему, вероятно, показалось, что перед ним опять Репнин. Но потом он успокоился; его уверили, что 30 сентября он совершил геройский поступок; он стал бодр и весел, и когда Волконский чрез несколько времени в другой раз подошел к нему с представлением, что Чарторыйские ведут его к гибели, то король ничего не отвечал, улыбнулся и отошел прочь. Чарторыйские стали громко говорить, что они никогда еще не были на такой твердой ноге, как теперь, и когда кто-то заметил, что Россия не может быть довольна их поведением, то воевода Русский отвечал: "Правда, что первый удар может быть для нас чувствителен, но время все успокоит"<sup>66</sup>. Волконский в раздражении имел неосторожность истратить последний заряд, он спросил у короля, надеется ли он остаться на троне хоть неделю, если ее императорское величество лишит его своей защиты? Понятовский ничего не сказал на это, "только пожался"<sup>67</sup>. Посол позабыл правило: не грозить, когда нет силы или желания привести угрозу в исполнение.

На основании сенатского решения 30 сентября хотели отправить князя Огинского в Петербург с протестом против Репнинского трактата; но из Петербурга дали знать, что Огинского не примут. Между тем король совершенно успокоился после угрозы Волконского, потому что не было ничего похожего на приведение ее в исполнение; он имел ежедневные конференции с приближенными к нему людьми, а они, особенно трое: Чарторыйский (канцлер Литовский), маршал Любомирский и вице-канцлер Борх, публично кричали, что никогда еще Польша и они сами не находились в лучшем состоянии, несмотря на то что Россия начала успешно действовать против турок; из разных углов им давали знать, что эти самые успехи побудят другие европейские государства вооружиться против России. Однажды епископ Куявский заметил Борху, что они и себя губят, и других в гибель влекут, действуя явно против России, от которой одной Польша может ожидать помощи; особенно безрассудно раздражать Россию теперь, когда она взяла верх над турками. Борх отвечал, что России бояться нечего; хотя она и победила турок в эту кампанию, но, конечно, будет побеждена в будущую кампанию; да если бы этого и не



случилось, то вся Европа, чтобы воспрепятствовать усилению России, вступится за Польшу, особенно Австрия, которая, верно, не будет смотреть, поджав руки, на победы русских над турками и вступится за Польшу. Борх прибавил, что Россия, имея силу в руках, не посмеет, однако, тронуть ни их лично, ни имений их, ибо до сих пор ничего им не делает<sup>68</sup>.

Среди торжества, которое доставляло королю и его советникам уверенность, что Россия слаба, потому что посол императрицы никого не хватает, ничьих имений не конфискует, а только дает деньги, и что вся Европа заступится за Польшу, — среди этого торжества король был несколько потревожен внушениями прусского посланника Бенуа от имени Фридриха II, чтобы Понятовский не терял дружбы российской императрицы.

При первом свидании с Волконским Станислав-Август начал разговор словами, что он не желает делать ничего противного императрице; но, не зная, о чем идет дело, не может слепо предаться России. "Дело идет о том, — отвечал Волконский, — чтобы удержать вас на престоле и успокоить Польшу. Надобно вашему величеству, не теряя времени, подумать о себе, оставя злых советников; я не могу изъясняться о мерах, предпринимаемых нами для избавления вашего и Польши, прежде чем вы не отстанете от этих советников, потому что нет сомнения насчет желания их умножать замешательства. Канцлер Литовский беспрестанно пишет в Литву, возмущая ее против нас, а маршал коронный (Любомирский) явно говорит, что они не смеют ничего предпринять против республики; когда же спросили у него, что он понимает под республикой? — то он отвечал: Барскую конфедерацию. Борх душой саксонец и, в случае несчастья вашего величества, конечно, от вас отречется".

Король сказал на это, что Чарторыйские ему родня и потому отстать от них ему нельзя; что он не может обещать исполнить все, чего хочет Россия, потому что, может быть, Россия захочет ниспровергнуть все полезное для Польши, сделанное в его царствование; наконец, что слухи, дошедшие до посла о Чарторыйском и Любомирском, ложны. "Дядей своих вы можете почитать как родню, — возразил Волконский, — но не слушать их советов; ее величество от трактата своего и диссидентского дела никогда не отступит, насчет гарантии сделает изъяснение на известном



основании. Отняв же однажды от дядей ваших свою высочайшую протекцию, навсегда их ее лишила; они возвысились одною ее милостию, приобрели кредит, богатство и могущество, а после употребили во зло милость ее величества". Король спросил: "Кто же будут нашими друзьями? Разве Потоцкие, которые оказали вам такую неблагодарность?" "Не знаю, — отвечал Волконский, — благодарны или нет Потоцкие; но знаю то, что Чарторыйские неблагодарны и что Потоцким несколько раз мы жертвовали для возвышения Чарторыйских". Король разгорячился и спросил: "Что же вы с Чарторыйскими сделаете? Неужели схватите их, как Солтыка?" "Не ручаюсь и за это, если они поведения своего не переменят", — отвечал Волконский. "В таком случае лучше схватить и меня", — сказал король. "Надеюсь, — продолжал он, — что ее императорское величество, по великодушию своему, не принудит меня отстать от родни". В этом же разговоре король упомянул, что недурно было бы взять в посредники какую-нибудь католическую державу. "Ваше величество, верно, желаете Францию?" — спросил Волконский. "Да, ее или Австрию, потому что дело идет о вере", — отвечал король. "Зачем эта медиация, — покончил Волконский, — какие нужны медиаторы между императрицею и вами, которого она возвела на престол и удерживает на нем? Медиацию же между Россиею и бунтовщиками, которых вы называете нациею, мы принять не можем"<sup>69</sup>.

Между тем польский резидент в Петербурге Псарский дал знать королю, что русский двор намерен совершенно отступить от гарантии и согласиться на исключение диссидентов из законодательства, если диссиденты сами добровольно пришлют о том с просьбою в Петербург. При первом свидании король показал Волконскому депешу Псарского. Посол отвечал, что об отступлении от гарантии никакого повеления не имеет; что гарантию можно только изъяснить чрез декларацию или новый пополнительный трактат; что же касается диссидентов, то думает, что если бы они сами добровольно пожелали отказаться от каких-нибудь прав, то затруднения в этом со стороны русского двора не будет. Король, услышав о пополнительном трактате, пришел в восторг и сказал: "Прекрасно! Надобно работать!" Но Волконский умерил его восторг, заметив, что прежде всего надобно получить удостоверение, что Чарторыйские и прочие советники

королевские будут устранены от содействия и что вперед король будет раздавать награды не по их представлениям, а по совету с ним, послом. "Лучше дам себя на куски изорвать, чем на это соглашусь!" — отвечал король с жаром. "В таком случае, — сказал Волконский, — если нужда дойдет до конфедерации, то мы принуждены будем составить ее и без вашего величества". "Не лишу я своих советников доверенности, — продолжал король, — потому что если бы я их от себя отдал, то нация увидела бы, что я их бросил за их враждебность к России". "Из этого выходит, — сказал Волконский, — что ваше величество и сами стараетесь показать себя врагом России; а по-моему, ваше величество крепче сидели бы на троне, если бы нация уверилась, что вы с нами". Король, увидев, что проговорился, не отвечал ни слова<sup>70</sup>.

Наступил 1770 год. Волконский получил наказ: "Сколько король, по лукавым советам дядей своих, ни будет стараться о примирении с мятущеюся частию нации, примирения этого никогда не последует: поэтому в ожидании перемены в делах, которые из этих самых тщетных стараний скорее произойти должны, и надобно нам поступать относительно короля с некоторою умеренностию, дабы не отнимать у него всей надежды на будущее время; в рассуждении же возмутителей действовать всеми силами, бить их, где только случай представится, не давая им нигде утвердиться, и составить нечто целое и казистое, представляющее корпус республики, который бы по наущению Франции и саксонского двора мог объявить престол вакантным. Низвержение ныне царствующего короля, как ни мало надежен он для империи нашей по личному своему характеру, не может, однако, никоим образом согласоваться с славою и интересами нашими, потому что, уступив польский престол курфюрсту Саксонскому или кому-нибудь другому, подверглись бы мы пред светом ложному мнению, что либо северная наша система сама по себе несостоятельна, или же что влияние наше в Польше против французского устоять не могло по недостатку естественных сил России, следовательно, и по невозможности уделить из них во время войны с Турками столько, чтоб они первое одною Россиею воздвигнутое политическое здание могли охранить от падения. Но положим, что мы сами по неблагодарности короля польского решились лишить его короны и доставить ее кому-нибудь другому: кого же тут избрать, чтобы нации был угоден, и интересам нашим не противен, и мог с пользою и

успехом способствовать нам в примирении Польши? Курфирста саксонского исключает наша северная система и многие вследствие ее заключенные трактаты и торжественные декларации; а всякий другой Пяст соединит в себе все те же, а может быть, большие еще неудобства, какие мы с нынешним королем встретили". Панин прибавлял от себя: "По моему мнению, мы ничего не потеряем, оставляя еще на некоторое время польские дела их собственному беспутному течению, которое, истощаясь само собою, приблизится к пункту того перелома, которым ваше сиятельство с лучшим успехом воспользоваться можете"<sup>71</sup>.

Но до этого перелома было далеко, и положение русского посла в Варшаве становилось все тяжелее. В самом начале января Понятовскому дали знать из Франции, что тамошнее правительство обещает ему помощь, одобряет его поведение, считает сенатский декрет 30 сентября геройским делом, хвалит короля за то, что, будучи в руках России, так отважно действует против нее. Слабый, легко всем увлекавшийся, король пришел в восторг и публично говорил, что почитает этот день самым счастливым в своей жизни. Вице-канцлер Борх кричал, что теперь-то все видят, какие плоды произвели их тайные конференции и чего от них можно надеяться. Волконский спросил у короля, точно ли он получил письмо из Франции. Тот резко и сухо отвечал, что не получал. Станислав-Август, видимо, развивался: прежде он смущался, когда русский посол обличал его в чем-нибудь, прежде он жаловался на насилия Репнина — теперь уже начал говорить, что Репнин его обманывал. Жалуясь епископу Куявскому на Волконского, что тот не хочет сноситься с его министерством, король сказал: "Волконский поступает точно так же, как и Репнин, с тою только разницей, что Репнин обманывал меня нагло, а Волконский обманывает под рукою, скрытно". Но в чем состоял обман, этого король не объяснил. Волконский говорил, что Россия возвела Понятовского на престол: это была правда, а не обман; Волконский говорил, что Россия хочет поддержать его на престоле — и это была правда; король верил этому и как этим пользовался! Станислав-Август забыл, что Репниным и Волконским нет нужды обманывать Понятовских; Понятовских обманывают Млодзеевские: великий канцлер коронный Млодзеевский взял у Волконского 1000 червонных

и рассказывал ему, что происходит у короля на тайных конференциях<sup>72</sup>.

В мае Волконский услышал, что король разослал письма по сенаторам по поводу сейма, который должно было созвать в 1770 году. Волконский отправился к королю и выразил ему свое удивление, что делаются приготовления к сейму, который, кажется, ни предпринять без согласия, ни привести к концу без русского содействия нельзя. "Не надеялся я, — прибавил Волконский, — что советники вашего величества и тут принудят вас от нас скрываться". "Я это сделал, — отвечал король, — не по принуждению от советников, но чтоб узнать мнение сенаторов по поводу сейма; всякий хозяин волен в своем доме, хотя и случается, что у него солдаты стоят постоем; делать все с вашего согласия — значит быть у вас в подданстве". "Подданства тут нет никакого, — сказал на это Волконский, — намерение ее императорского величества состоит в том, чтобы удержать вас на троне и успокоить Польшу, для этого и войска ее здесь находятся. Следовательно, и о мерах, служащих к достижению, этой цели, нам должно условливаться. Если солдаты стоят на квартире для безопасности хозяина, то благоразумие требует от него предупреждать их о своих распоряжениях в доме, дабы не произошло какого вреда по незнанию солдат, и такие сношения хозяина с солдатами нисколько не показывают его подданнической зависимости от них". "Я должен с вами сноситься, — сказал король, — а вы со мной не сноситесь, когда распоряжаетесь операциями своих войск". "Очень естественно, — отвечал Волконский, — потому что ваше величество поверяете все своим советникам, а из них некоторые сносятся с мятежниками и обо всем их уведомляют" (Волконский разумел здесь Любомирского, который переписывался с конфедератами чрез Длуского, подкомория Люблинского). "Для чего же, — спросил король, — вы не укажете этих мятежнических сообщников?" "Если их указать, — отвечал Волконский, — то надобно и наказать, к чему время еще не ушло"<sup>73</sup>.

Положение Волконского становилось невыносимым: играть в глазах поляков роль Репнина, но без смелости, решительности и казистости последнего было нелестно для Волконского; ждать, когда беспутное течение дел само приблизится к пункту перелома, и в этом ожидании ничего не делать и подвергаться неприятностям от людей, ободренных таким бездействием, которое являлось им бессилием,

было слишком тяжело. Волконский стал просить об отзыве; его не отзывали; только позволили на лето ехать лечиться на воды, и в его отсутствие место его занимал Веймарн. По возвращении Волконского в Варшаву, осенью 1770 и зимою 1771 года, дела не переменались. Наконец, весною 1771-го Волконский был отозван и на его место назначен Салдерн, человек с другим характером, как увидим.

## ГЛАВА V

На место Волконского хотели назначить в Варшаву кого-нибудь вроде Репнина и назначили Салдерна. Салдерн действительно отличался характером, противоположным характеру Волконского, которого он называл старою бабой, позволявшею себе сносить всевозможные оскорбления. Но дуга была перегнута в противную сторону: Салдерн, человек очень даровитый, отличался большою энергией; но тут примешивалась значительная доля раздражительности, увлечения, недоставало необходимой в его положении холодности, спокойствия. Салдерн, человек старейший, больной, ехал в Варшаву очень неохотно, составив себе наперед самое печальное представление о том, что его ожидало; его уговорили ехать только обещанием, что больше года не пробудет на своем poste. Это нерасположение к делу, которое Салдерн взял на себя, разумеется, не могло содействовать успокоению его раздражительности. И так как большинство польских магнатов, с которыми посол должен был иметь дело, не могло внушить к себе никакого уважения, то Салдерн дал полную волю своему презрению к ним и сердился на тех из русских, которые были сдержаннее в этом отношении. С другой стороны, Салдерн, по болезненной впечатлительности своей, готов был преувеличивать трудности, опасности своего положения и положения представляемого им государства относительно Польши.

Приехав в Варшаву, Салдерн занялся изучением лиц и партий и результаты этого изучения отправил к императрице. Посол делил действующих в Польше лиц на пять частей: 1) король, 2) мнимые королевские друзья, 3) мнимые друзья России, 4) конфедераты явные, 5) конфедераты тайные. Конфедератами он называет всех тех, которые ненавидят короля и число которых превышает население государства. Саксонскую партию посол нашел гораздо многочисленнее, чем думали: первые фамилии в Варшаве держались еще Саксонского дома. Кроме преданных Саксонскому дому был другой род конфедератов — именно те, которые не терпят короля; число их немалое, ибо невероятно, до какой степени простирается ненависть к этому государю. "Если я, — пишет Салдерн, — с генералом Веймарном

сегодня выведу из Варшавы, взяв с собою войска и пушки, то в 24 часа вся Варшава сконфедеруется и короля во дворце убьют камнями. Я не скрыл от короля этой истины и видел его в жестокой необходимости сомной согласиться. Но есть еще другой род конфедератов: это духовные, которыми Польша, и особенно столица, преисполнена. Эти адские служители злоупотребляют властью своею над слабыми душами до такой степени, что под страхом отлучения от святых тайн и неразрешения грехов принуждают их помогать явно и тайно конфедератам. Женщины служат вместо шпионов и набирают солдат для конфедераций. Сюда же должно причислить и газетчиков, наполняющих Варшаву и рассылающих по всем провинциям ложные новости". Характеры действующих лиц Салдерн очерчивает таким образом. Мнимые друзья России:

1) Примас Подоский, не терпящий короля саксонец, непримиримый враг Чарторыйских, имеющий в деньгах наших нужду, есть первый из друзей наших. Он не имеет ни закона, ни веры, ни кредита, не уважается народом, презрен большими и не любим малыми. В нем есть одна добрая черта — он имеет честность объявлять: "Если я не могу иметь короля из Саксонского дома, то всегда из благодарности буду повиноваться воле ее императорского величества". Впрочем, он такой человек, которому никогда никакой тайны вверить нельзя, которого действующим лицом употребить нельзя и с которым ни один честный человек здесь действовать вместе не согласится.

2) Епископ Виленский князь Масальский, человек тонкого и хитрого разума, но так ветрен, как французский аббат петиметр, надутый в то же время своими достоинствами и дарованиями, стремящийся к приобретению важного значения в стране, желающий возвыситься с падением Чарторыйских. Надежда собрать сильную партию привлекла его к нашей стороне. Это человек лукавый, ненадежный; он имеет некоторый кредит в Литве, но и то у мелких людей. Более его кредита в Литве имеет 3) граф Флеминг, воевода Померанский, единственный твердый и надежный человек; он друг России по внутреннему убеждению.

4) Воевода Подляшский получает от нас пенсию; деньги — единственное божество его. За деньги нам верен и добрый крикун, если нужда потребует.

5) Воевода Калишский, вполне предавшийся графу Мнишку, без системы и трус преестественный.

6) Зять его, граф Рогалинский, похож на тестя и для дел наших совершенно бесполезен.

7) Великий канцлер коронный епископ Познанский Млодзеевский, Макиавель Польши, продающий себя тому, кто даст дороже, без уважения и кредита в государстве.

8) Епископ Куявский, брат Познанского, во всем подобен ему, только не так умен.

9) Великий кухмистр коронный Понинский получает пенсию. Легкомыслен и любит играть важную роль; для вестей способен, проворен.

10) Маршал Литовский Гуровский — хитрый человек, с разумом, но без искры честности. "Я буду иметь в нем нужду для разведывания чужих тайн и мыслей".

Мнимые друзья королевские:

1) Воевода Русский — князь Чарторыйский. Он перед всеми отличается великими качествами души. "Кажется мне, что он сильно начинает упадать. Несмотря на то, он управляет всеми движениями государства, человек просвещенный, проницательный, умный, знающий совершенно Польшу, уважаемый одинаково друзьями и врагами; тверд в намерениях и осторожен, с беспримерным дарованием приобретает себе сердца человеческие, хитростью разделяет, красноречием соединяет, проникает других, а сам непроницаем. Воевода Русский умел заставить короля отстать от России; король делает все, что он захочет. 2) Брат воеводы Русского, канцлер, человек разумный, в коварствах весьма много обращавшийся, ныне уже престарелый и служащий только орудием своему брату, но, впрочем, любимый народом и умевший найти себе друзей в государстве, а особливо в Литве. 3) Князь Любомирский, великий маршал коронный, зять воеводы Русского, человек проворный, предприимчивый, но среднего разума, действующий только тогда, когда старики его заводят. Ненавидит короля, невзирая на родство; не любит России. Есть еще два человека, которых можно назвать спутниками князя Чарторыйского, — Борх и Пржездецкий, один — вице-канцлер коронный, а другой — Литовский: оба ябедники, оба жалкие политики, без уважения и кредита. Граф Браницкий, один из



друзей королевских, который говорит ему правду твердо и не обинуясь. "Он один, на которого я могу положиться. У короля честное сердце, но слаб он до невозможности; широты и твердости нет в его разуме, не привыкшем рассуждать и повелевать воображением. Он непременно требует руководителя, прежде чем на что-нибудь решится, и после того, как уже решение принято".

Убедившись очень скоро в слабости и лукавстве мнимых друзей России, Салдерн решился действовать на короля, чтобы привлечь его и друзей его на свою сторону. Он постарался представить Станиславу-Августу весь ужас его положения: ненависть к нему народа, отсутствие всякой помощи извне, ибо и русская императрица готова лишить его своего покровительства. Посол постарался уничтожить в нем убеждение в невозможности последнего, объявив, что если король будет поступать по-прежнему, то он немедленно же выедет в Гродно, забрав с собою войско и всех тех, кто захочет за ним следовать, и в Гродно будет дожидаться дальнейших приказаний императрицы. Испуганный король дал запись: "Вследствие уверений посла ее величества императрицы Всероссийской в том, что августейшая государыня его намерена поддерживать меня на троне Польском и готова употребить все необходимые средства для успокоения моего государства; вследствие изъяснения средств, какие, по словам посла, императрица намерена употребить для достижения этого дела; вследствие обещания, что она будет считать моих друзей своими, если только они будут вести себя как искренние мои приверженцы, и что она будет обращать внимание на представления мои относительно средств успокоить Польшу, — вследствие всего этого я обязуюсь совещаться с ее величеством обо всем и действовать согласно с нею, не награждать без ее согласия наших общих друзей, не раздавать вакантных должностей и староств, в полной уверенности, что ее величество будет поступать со мною дружественно, откровенно и с уважением, на что я вправе рассчитывать после всего сказанного ее послом. Подписано 16 мая 1771 года. Станислав-Август король".

Салдерн с своей стороны дал королю запись: 1) кроме ее императорского величества только два человека будут знать о записи королевской: граф Панин и граф Орлов. 2) Россия не сообщит об этом ни одному двору иностранному и ни одному поляку — одним словом, запись остается под глубочайшим секретом. 3) Запись будет

возвращена королю по восстановлении спокойствия в Польше. 4) Императорский посол будет обходиться с королевскими друзьями, которые станут на сторону России, как с друзьями, искренно примирившимися. 5) Императорский посол в течение трех дней распорядится освобождением из-под секвестра имений тех лиц, список которых представит король.

Чтобы показать свое единение с Россией, король согласился вывести в поле против конфедератов двухтысячный отряд своего войска под начальством Браницкого. Но прежде всего нужно было обратить внимание на состояние русского войска. Отправляясь в Варшаву, Салдерн представил императрице свои опасения насчет генерала Веймарна — представил, что у него недостает твердости и быстроты в исполнении. Императрица согласилась, что у Веймарна действительно недоставало многих способностей, необходимых в его положении. Приехав в Варшаву, Салдерн убедился еще более в неспособности Веймарна. Посол был поражен жалобами, которые слышались со всех сторон на поведение русских войск в городах и селах. "Веймарн столько же огорчен этим, как и я, — писал Салдерн императрице, — но что толку в его бесплодном сожалении? Он стал желчен, нерешителен, робок, мелочен. Я не смею надеяться на успех, если здесь не будет другого генерала"<sup>74</sup>. Салдерн просил прислать или Бибикова, или князя Репнина; относительно последнего он писал: "Смею уверить, что здесь мнения переменялись на его счет; предубеждение исчезло и уступило место уважению, какое действительно заслуживают его честь и достоинства. Здесь начинают даже желать его возвращения; все, кого я только видел, только от его Присутствия ждут улучшения своего положения относительно русского войска".

Войска этого было тогда в Польше 12 169 человек да в Литве 3818, пушки и при них 316 артиллеристов. Волконский и Веймарн разделили все войско по постам — неподвижным и подвижным. Под именем неподвижных постов разумелись городские гарнизоны и посты, необходимые для поддержания сообщений. Подвижными постами назывались летучие отряды, назначенные действовать против конфедератов всюду по мере надобности. Салдерн никак не мог согласиться, чтобы было полезно ограничиться одною оборонительною войною, как было в последнее время, и употреблять

на борьбу с конфедератами только четвертую часть войска, оставляя другие три части в гарнизонах. Войска, по мнению Салдерна, портились от постоянного пребывания в гарнизонах, приучались к неряшеству, солдаты начинали заниматься мелкою торговлею, как жида. "Я, — писал Салдерн, — займусь серьезно установлением лучшего порядка и лучшей полиции в столице и ее окрестностях, нимало не беспокоясь, будет ли это нравиться его польскому величеству или магнатам. Я выгоню из Варшавы конфедератских вербовщиков: дело неслыханное, которое уже два года сряду здесь делается! Я не позволю, чтобы бросали камни и черепицу на патрули русских солдат; дерзость доходит до того, что в них стреляют из ружей и пистолетов. Я не буду терять времени в жалобах на эти преступления великому маршалу, который находит всегда тысячу уверток, чтоб уклониться от предания виновных в руки правосудия. Образ ведения войны в Польше мне не нравится. Первая наша забота должна состоять в том, чтоб овладеть большими реками. Недостаток в офицерах, способных командовать отрядами, или маленькими летучими корпусами, невероятен. Есть храбрые воины, но не способные управлять ни другими, ни самими собою. Другие думают только о том, как бы нажиться. На способность и благоразумие офицеров генерального штаба положиться нельзя. Все, что здесь делается хорошего, делается только благодаря доблести и неустрашимости солдат. Исключая генерал-майора Суворова и полковника Лопухина, деятельность других начальников ограничивается тем, чтобы давать от времени до времени щелчки конфедератским шайкам. Давши один-другой щелчок, наши командиры ретируются с добычею, собранною по дороге в имения мелкой шляхты, и, расположившись на квартирах, едят и пьют до тех пор, пока конфедераты не начнут снова собираться. Бывали примеры, что наши начальники отрядов съезжались с конфедератскими и вместе пировали"<sup>75</sup>.

Порешивши с королем, Салдерн обратился к нации; 14 мая (по ст. стилю) он издал декларацию, в которой от имени императрицы приглашал благонамеренных поляков соединиться и подумать о средствах вывести Польшу из того ужасного положения, в каком она находилась; приглашал снести счет этого с ним, послом; обещал убедить нацию в бескорыстии императрицы, которая не желает ничего, что могло бы вредить независимости республики; наконец, приглашал

и конфедератов к примирению. Оказалось, что декларация была написана слишком мягко: нас зовут, значит — в нас имеют нужду; значит, мы сильны и можем не пойти на зов; делай что хочешь — что возьмешь? Салдерн начал хлопотать, как бы поправить дело, стал повторять всем, что приехал вовсе не с тем, чтобы выпрашивать Христа ради или покупать успокоение Польши. Потом Салдерн в продолжение восьми дней избегал разговоров с глазу на глаз с кем бы то ни было, давая чувствовать, что он сделал свое дело, перед всею Европою сказал свое слово королю и нации; теперь их черед отвечать ему. 27 мая явилась к послу торжественная депутация от имени королевского. Оба великих канцлера — коронный и Литовский — рассыпались в похвалах, в выражениях удовольствия и глубочайшего уважения к ее императорскому величеству по поводу декларации. Посол отвечал на все это, что если король хочет воспользоваться декларациею, то должен созвать всех епископов, сенаторов, сановников и шляхту, находящуюся в Варшаве, и представить им печальное состояние государства<sup>76</sup>.

Король исполнил желание Салдерна, созвал всех и предложил вопрос: что делать при настоящих обстоятельствах? За ответом король обратился к первому примасу Подоскому. Тот отвечал, что надобно подождать, какое впечатление декларация произведет в стране, и особенно между конфедератами. Двое других друзей России — Виленский епископ Масальский и кухмистр Понинский — отвечали, что надобно снестись с конфедератами и потом созвать сейм для рассуждения о том, что русский двор представит для будущих соглашений. Раздраженный Салдерн принялся за Подоского, объявил ему, что интриги его с саксонским министром и конфедератами для низложения короля известны: "Вы меня больше не обманете вашими уверениями в искренности, которая вам известна только по имени". Потом посол пересчитал ему все мелкие плутовства, которые архиепископ позволял себе при Волконском, водя старика за нос. На все это примас отвечал с некоторого рода гневом, что хочет выехать из Варшавы. "Для этого, — сказал Салдерн, — я дам вам эскорт, достойную того места, какое вы занимаете в государстве, и которая может заменить саксонскую гвардию". Надобно заметить, что прелат жил в Саксонском дворце, что прислуга его состояла частью из саксонцев и гвардиею служили ему два отряда саксонских войск,

которым позволено было оставаться в Варшаве. Салдерн упрекал Подоского за разные плутовства его при Волконском; но и с ним архиепископ сыграл хорошую штуку: вызвался перевести декларацию на польский язык — и в разных местах переделал; так, например, в одном месте говорилось о Польше, что она до последнего печального времени была цветущею, а в переводе Подоского оказалось: "Под правлением Саксонской династии цветущая". В другом месте говорилось: "Добродетельные граждане, которые стенают в молчании"; а Подоский перевел: "Добродетельные граждане, которые стенают в Сибири". Когда Салдерн стал упрекать его за такие искажения, примас сложил всю вину на переписчика. "Вот с такими людьми должен я иметь дело в этой стране, куда Бог перенес меня в крайнем гневе своем", — писал Салдерн Панину<sup>77</sup>.

После примаса Салдерн принялся за двоих других друзей России. Два часа старался он "исправить голову Масальского", но понапрасну потерял время. Посол говорил ему о делах государственных, а епископ гнул все в одну сторону, чтобы Салдерн помог ему в процессах, которые он вел в литовских трибуналах. Выведенный из терпения, посол сказал ему начисто, что считает для себя бесчестным вмешиваться в частные тяжбы и помогать кому-нибудь в судах и что императрица будет презирать всех тех, которые будут иметь в виду свои частные интересы в то время, когда идет дело о прекращении бедствий общественных. Епископ заметил на это, что в Литве 52 000 шляхты тайно сконфедерованной. "Жаль, что не вы командуете этою шляхтой, — отвечал Салдерн, — потому что 6000 русских солдат, находящихся в Литве, разбили бы вас в пух". Наконец, дело дошло до Понинского. Салдерн прямо выставил ему всю злость его ответа в то время, когда дело шло о спасении отечества, ответа, обнаружившего скрытый яд, который он давно уже носил в своей груди. "Я за вами следил, я знаю, как вы вели себя с князем Волконским, которому вы обещали содействовать всегда намерениям России, у которого вы вытянули 2000 червонных зараз и пенсию в 200 червонных каждый месяц. Я считаю вас негодным человеком и не дам вам ни копейки пенсии"<sup>78</sup>.

Дней через двадцать после этих объяснений Салдерн имел конференцию с обоими канцлерами, коронным и Литовским, и маршалом Любомирским по поводу декларации. Эти господа начали

уверениями в правоте своих намерений: что они очень хорошо чувствуют свои бедствия и потому серьезно желают их прекращения, но, прежде чем вступить в реконфедерацию, они должны взвесить все последствия предприятия, которое, может быть, еще губительнее для их отечества, и потому считают необходимою со стороны России новую декларацию публичную, в которой бы яснее высказались намерения императрицы относительно двух пунктов, наведших такой ужас на нацию, именно относительно гарантии и диссидентов. Они настаивали, чтобы посол изъяснился положительно насчет каждого пункта, и только тогда они могут поручиться ему за довольно значительное число довольно сильных людей, могущих содействовать образованию представительного корпуса. При этом они ловко намекнули, что их кредит чрезвычайно ослабел с некоторого времени, что враги короля в то же время и их враги и что они нуждаются в оружии для устрашения завистников и врагов. Они намекнули также очень тонко, что иностранное влияние противодействует их спасительным видам, и старались внушить послу опасения насчет двусмысленного поведения Венского двора, который не переставал явно покровительствовать конфедератам. Наконец, они высказали свои сомнения и насчет поведения короля Прусского, который не желает прекращения смут в Польше. Салдерн отвечал им, что их авторитет и кредит чрезвычайно возвысились с тех пор, как они овладели особою короля и стали располагать важнейшими местами и всеми староствами. Салдерн удостоверил их, что он очень хорошо знает степень их влияния и большое число их креатур. Посол покончил тем, что не откажется дать им письменные объяснения и декларации, если они со своей стороны дадут ему манифест какой должно, в выражениях ясных и приличных, подписанный значительным числом лиц, которые желали бы составить конфедерацию и предложили бы ему, послу, хлопотать вместе для умножения членов этой новой конфедерации. Конференция этим и кончилась<sup>79</sup>.

Канцлеры приходили только затем, чтобы узнать, на какие уступки готова Россия, находившаяся, по их мнению, в очень затруднительных обстоятельствах. Король также оправился от страха, нагнанного на него Салдерном в первое время, и также уверился, что Россия больше всего нуждается в успокоении Польши и что, следовательно, надобно только твердо держаться и этим принудить ее



ко всевозможным уступкам. Король и Любомирский торжественно проповедовали придворным и молодежи, что их твердость в последние два или три года положила границы русскому господству в Польше; что только эта твердость заставила Россию отказаться от гарантии и диссидентов. Эти речи страшно мучили раздражительного Салдерна, вонзали кинжал в сердце, по его собственному выражению. "Я вполне убежден, — писал он в Петербург, — что князь Репнин совершенно прав во всем том, что он здесь сделал; бывают минуты, когда я плачу о том, что он не сделал больше, то есть зачем не выслал из Польши Любомирского и Борха. Этих двоих людей я боюсь гораздо больше, чем всех конфедератов"<sup>80</sup>. Твердость короля и окружающих его, которою они так хвалились, поддерживалась известиями из Вены: оттуда писал брат королевский, генерал Понятовский, находившийся в австрийской службе, что навряд ли Россия заключит мир с Турцией этою зимой; что война, быть может всеобщая, неизбежна. Король и Любомирский с товарищами толковали, что бояться нечего; что успехи русских в Крыму и на Дунае вовсе не так велики, как о них идет молва. Они нарочно говорили это при людях, которые могли пересказать их речи Салдерну. У бедного посла портилась кровь; были и другие обстоятельства, которые ее портили: дом, в котором жили предшественники Салдерна, обветшал, и ни один из вельмож не хотел отдать своего дома внаймы русскому послу, хотя дома стояли пустые, владельцы не жили в Варшаве. Русских казаков, которых рассылал Салдерн, били везде; около Варшавы происходили беспрестанные воровства и убийства<sup>81</sup>.

"Неизвестность, в какой я нахожусь, и страх сделать слишком много меня убивают", — писал Салдерн Панину. Наконец, известия о восстании в Литве, возбужденном гетманом Огинским, переполнили чашу горести, и посол отправил отчаянное письмо в Петербург: "Большинство пробуждается от летаргического сна. Нация начинает себя чувствовать. Ее поджигают со всех сторон. Австрия не только не хочет ее выводить из заблуждения, но колет ее, стыдит, что горсть русских держит ее в рабстве. Франция всюду кричит, что надобно принимать более к сердцу польские интересы. Присылка офицеров и денег из Франции поддерживает пустые надежды в несчастных поляках. Все это увеличивает наши затруднения. Присоедините к этому бунт Огинского в Литве. Если этот огонь разгорится, то будьте

уверены, что все наши преимущества будут потеряны. Краков не продержится шести недель, у нас мало людей в этом городе. Прибавьте к тому, что мы принуждены будем очистить Познань. Каково же будет наше положение! Время не терпит, настает крайняя необходимость принять другие меры, меры сильные, которых никто не ожидает. Нельзя ли, чтобы прусский король отправил несколько гусарских полков к литовским границам — это испугает. Наше положение гораздо хуже, чем я его вам описываю. Наше войско в Литве — жалкий отряд, внушающий всем презрение; полковник Чернышев — человек совершенно без головы. Вообще воинский дух, с немногими исключениями, исчез. Оружие у наших солдат негодное; лошади — хуже себе представить нельзя, в артиллерии дурная прислуга"<sup>82</sup>.

Посол не имел никакого права так отчаиваться, и нечего было выставлять на вид неспособности какого-нибудь полковника. В Польше был Суворов. Ночью, с 22 на 23 сентября, Суворов разгромил Огинского — и восстания литовского как не бывало. Вместо Веймарна прислан был Бибигов. Салдерн успокоился с этой стороны; но возникло другое новое беспокойство — и теперь уже не от польских, но от прусских войск.

Еще в половине 1770 года австрийские войска из Венгрии вступили в польские владения, заняли два староства, причем вместе с 500 деревень захватили богатые соляные копи Велички и Бохни. Это было не временное занятие: установленное в этих землях правление употребляло печать с надписью: "Печать управления возвращенных земель". Земли объявлены были возвращенными на том основании, что в 1412 году они отошли к Польше от Венгрии. Прусский король под предлогом защиты своих владений от морового поветрия, свирепствовавшего в южной Польше, занял своими войсками пограничные польские земли. Осенью 1770 года принц Генрих Прусский заехал из Стокгольма в Петербург, прогостил здесь довольно долго и впервые повел речи о разделе Польши. Речи эти остались без непосредственных последствий: Екатерина вовсе не придавала большого значения польским волнениям. Успокоение Польши и полное восстановление в ней русского влияния было бы немедленным следствием прекращения Турецкой войны. Войну эту, ознаменованную такими блистательными подвигами русских, императрица хотела прекратить с честью, положить первое начало освобождению



христианских народов из-под турецкого ига. Для России она выставила самые умеренные требования: обе Кабарды, Азов с его областью, свободное плавание по Черному морю, один остров на Архипелаге; но вместе с тем она потребовала освобождения Крыма и Дунайских княжеств из-под власти султана. Когда Екатерина сообщила эти условия Фридриху II, то он отвечал: "Турки никогда не согласятся на уступку Молдавии, Валахии и острова в Архипелаге; независимость татар встретит также большие затруднения, и надобно бояться, чтобы Порты, если довести ее до крайности, не бросилась в объятия Венского двора и не уступила ему Белграда. Австрия также скорее начнет войну, чем согласится на отнятие у Турции Молдавии и Валахии. Все, что может Турция уступить, — это обе Кабарды, Азов с его областью и свободное плавание по Черному морю. Если Россия согласится на это, то он, Фридрих, сделает первый шаг к начатию переговоров; в противном случае он не двинется, ибо не предвидит никакого успеха — предвидит одно, что эти требования присоединят к старой войне еще новую"<sup>83</sup>.

Екатерина отвечала на это подробным объяснением своих требований: "Я не требую никаких приобретений собственно для моей империи. Обе Кабарды и Азовский округ принадлежат, бесспорно, России: они так же мало увеличат ее могущество, как мало уменьшили его, когда из них сделали границу; Россия чрез возвращение своей собственности выигрывает только то, что пограничные подданные ее не будут подвергаться воровству и разбоям, что стада их будут пастись спокойно. Свободное плавание по Черному морю есть такое условие, которое необходимо при существовании мира между народами. Россия согласилась на это ограничение, уступила варварским предрассудкам Порты из любви к миру; но этот мир нарушен с презрением всех обязательств. Если я имею право на какое-нибудь вознаграждение за войну, столь несправедливую, то, конечно, не здесь я могу и должна его найти. Я могла бы быть вознаграждена уступкою Молдавии и Валахии; но я откажусь и от этого вознаграждения, если предпочтут сделать эти два княжества независимыми. Этим я доказываю свою умеренность и свое бескорыстие; этим я объявляю, что ищу только удаления всякой причины к возбуждению войны с Портою.

Венский двор не понимает своего прямого интереса, позволяя себе так живо обнаруживать зависть относительно этого пункта. Я не

отодвигаю своих границ ни на одну линию; я остаюсь в прежнем расстоянии от его владений; если венский двор доволен тем, что имеет в Турке такого слабого соседа, то должен быть еще более доволен соседством маленького Молдо-Влахийского государства, несравненно более слабого и равно независимого от трех империй. Если положение Турок таково, что они должны получить мир только с уступками, то они поступят очень странно, если уступят Белград, которым спокойно владеют, а не уступят княжеств, которые уже более не их и возвращение которых будет всегда зависеть от жребия войны. Притом это еще вопрос — чьи владения им желательно увеличить: русские или австрийские? Но установление двух независимых княжеств вопрос решает.

Я знаю, что венское министерство по нынешней своей системе много настаивает на равновесии Востока, которое до сих пор еще не фигурировало с таким блеском в интересах западных государств и изобретением которого мы, быть может, обязаны союзу Австрии с Францией; однако я готова уступить этому политическому равновесию; но кто определит, что баланс верен, когда границы турецких владений простираются до Днестра, и что баланс нарушен, если эти границы находятся на Дунае? Жалко положение Востока, если от такой разницы в расстоянии может зависеть его разрушение! Дело освобождения Татар есть право человечества, которого требует целая нация: я ей не могу отказать в помощи. Восстановление независимости Татар не уменьшает ни в чем могущества Порты и не увеличивает ни в чем могущества России, но отстраняет только пограничные неудобства последней. Венский двор не имеет Татар своими соседями и потому не имеет никакой причины к беспокойству. Остров, требуемый мною в Архипелаге, будет только складочным местом для русской торговли; я вовсе не требую такого острова, который бы один мог равняться целому государству, как, например, Кипр или Кандия, ни даже столь значительного, как Родос. Я думаю, что Архипелаг, Италия и Константинополь даже выиграют от этой сделки северных произведений, которые они могут получать из первых рук и, следовательно, дешевле. Надеюсь, ваше величество согласитесь наконец, что если Молдавия и Валахия будут провозглашены независимыми, то в этом одном острове будет заключаться все мое

вознаграждение, и что, отказываясь от него, я откажусь решительно от всего"<sup>84</sup>.

Но Фридрих добивался, чтобы Россия взяла в вознаграждение не маленький остров, а большую область, только не от Турции. 2 марта 1771 года прусский посол в Петербурге граф Сольмс получил от своего короля следующую депешу: "Из паспорта, данного правителем польской области, занятой австрийцами, одному старосте, оказывается ясно, что Венский двор смотрит на эту область уже как на принадлежащую к Венгерскому королевству, и нельзя надеяться, чтоб Австрия отказалась от нее, если не будет принуждена к тому силою. Это заставляет меня думать, что мы с Россией должны воспользоваться благоприятным случаем и, подражая примеру Венского двора, позаботиться о собственных наших интересах и приобрести какую-нибудь существенную выгоду. Мне кажется, что для России все равно, откуда она получит вознаграждение, на которое она имеет право за военные убытки, и так как война (Турецкая) началась единственно из-за Польши, то я не знаю, почему Россия не может взять себе вознаграждение из пограничных областей этой республики. Что же касается до меня, то я никак не могу обойтись без того, чтобы не приобрести себе таким же способом часть Польши. Это послужит мне вознаграждением за мои субсидии<sup>85</sup>, равно как за потери, которые я также потерпел в этой войне. Я буду очень рад возможности говорить, что новым приобретением я обязан России, что еще более укрепит наш союз и даст мне возможным быть полезным России в другом случае".

Депеша была передана Сольмсом Панину. Прошел март, апрель, половина мая; 16 мая Сольмс пишет Панину: "Перед отъездом в Царское Село имею честь еще раз напомнить вашему сиятельству о последних представлениях моих насчет необходимости прекратить военные действия против турок, по крайней мере на море. Осмелюсь также напомнить о деле, которое касается особенных интересов короля, моего государя, равно как и особенных интересов России. Король горячо заинтересован этим делом, не отступится от него, и если я не буду в состоянии дать ему скоро положительных удостоверений, то навлеку на себя жестокие выговоры и, сверх того, не ручаюсь за решение, которое его величество примет по собственному усмотрению. Он руководится следующим: так как в этом деле будет

только подражание примеру другого, то этот другой не может вооружиться против нас, дело идет только о приведении в исполнение уже решенного. Умоляю ваше сиятельство не отлагать решения здешнего двора".

Решение последовало: войти в соглашение с прусским королем и потребовать у графа Сольмса изложения видов и требований его двора. 11 июня об этом решении дано было знать Салдерну в Варшаву. Но еще прежде Бенуа сказал Салдерну: "Я знаю, что вы друг моего государя; ради Бога, устроим так, чтоб ему можно было получить достаточную долю Польши; я вам отвечаю за благодарность моего государя". Салдерн отвечал холодно: "Не нам с вами делить Польшу"<sup>86</sup>.

Между тем депеша за депешей из Берлина в Петербург, от Фридриха II к Сольмсу. Россия должна согласиться на раздел Польши: это единственный для нее выход; Австрия не даст ей вознаградить себя на счет Турции, не согласится никогда на независимость Молдавии и Валахии — к двум войнам у России будет еще третья, с Австрией; Пруссия будет не в состоянии помогать ей. Если же Россия согласится на раздел Польши, тесно сблизится для этой цели с Пруссией, то Австрия не посмеет ничего сделать. "Австрия, — писал Фридрих Сольмсу для сообщения Панину, — нисколько не может рассчитывать на помощь Франции, которая находится в таком страшном истощении, что не могла оказать никакой помощи Испании, когда та готова была объявить войну Англии. Я рассуждаю так: если бы Венский двор и желал начать войну, то захочет ли он объявить ее без надежды иметь кого-либо союзником и вести войну с Россией и Пруссией в одно время? Это невероятно, и потому нам нечего бояться при исполнении проекта на счет приобретений от Польши. Я гарантирую русским все, что им захочется взять; они поступят точно так же относительно меня; а если австрийцам покажется их доля мала, то их можно успокоить тою частью венецианских владений, которые отрезают Австрию от Триеста; а если б они тут заупрямились, то я отвечаю головой, что тесный союз Пруссии с Россией заставит их сделать все, что нам угодно. Вот почему я принимаю на себя всевозможные гарантии, каких только Россия потребует от меня относительно областей, которые она почтет нужными для своего округления, и думаю, что не рискую войной вследствие этих гарантий. Это дело требует только твердости,

и я отвечаю за успех именно потому, что австрийцы должны переводываться с двумя державами, не имея ни одного союзника"<sup>87</sup>.

Россия для окончания Турецкой, а следовательно, и Польской войны требует независимости Молдавии и Валахии. Если Австрия на это согласится, то Польша останется нетронутой; но этого Фридрих II никак не хочет допустить: "Молдавия и Валахия будут всегда камнем преткновения; но если их присоединить к Польше, то Австрия не будет противиться их отторжению от Турции. Это присоединение к державе, которая слаба сама по себе, не может возбудить в Австрии никакой ревности, тем более что оно должно служить вознаграждением Польше за области, которые возьмут у нее Россия, Пруссия и Австрия, следовательно, Польша не получит больше того, сколько прежде имела"<sup>88</sup>.

За успокоениями, обещаниями всевозможных гарантий следовали угрозы: "Если Венский двор объявит войну России за Турцию, то надобно ожидать, что австрийцы станут действовать соединенно с турками в Молдавии и Валахии, чтобы вытеснить оттуда графа Румянцева. Вот уже большая опасность иметь перед собою двух врагов вместо одного; но это еще не все. Как только поднимется Австрия, то в Польше образуется генеральная конфедерация против России, изберут другого короля, и, быть может, поляки сделают впадение в Россию и принудят содержать отдельный корпус для прикрытия собственных границ. Мне говорят на это, что если я сделаю диверсию, то Россия легко управится; но в таком случае я обращаю на себя все силы Австрийского дома, союзный корпус французский<sup>89</sup> и все войска, которые Венский двор наберет у мелких владельцев германских, так что у меня может очутиться на плечах 200 000 врагов. Прибавьте к тому два года сряду неурожая в Пруссии, что отнимает у меня возможность выставить и 10 000 войска. После этого спрашиваю, не требует ли благоразумие попытаться уладить дело посредством мирных соглашений?.. Я думаю, что австрийцы вооружаются только для того, чтобы дать больше весу своим предложениям. Я думаю, что они никогда не согласятся на отделение Молдавии и Валахии от Турции. Я думаю, что присоединение Азова и все то, чего Россия потребует от Турции в видах торговых, не встретит затруднения. Я думаю, что татарское дело (то есть независимость Крыма) может еще уладиться по желанию России. Все эти мои мнения основываются

на объяснениях, которые я имел с Венским двором. Вот почему я предлагаю, что для вознаграждения себя за военные издержки Россия должна получить в Польше кусок по своему выбору. Если она согласится на это вознаграждение, то я ручаюсь, что она его получит без кровопролития"<sup>90</sup>.

Итак, было ясно, что Россия может рассчитывать на прусскую помощь только при условии раздела Польши; в противном случае она должна будет без союзника бороться против Турции, Польши и Австрии. Относительно последней Фридрих II не ошибался и имел полное право закладывать голову, что при условии вознаграждения России на счет Польши, а не Турции войны не будет. Не дать России утвердить свое влияние на Дунае, сохранить целостность Турции, не входя в опасную войну с Россией за Турцию, выйти из затруднительного положения, не потеряв ни одного человека и ни гроша денег, — мало того, приобретя богатую добычу, — все это было неотразимо привлекательно.

5 февраля 1772 года Фридрих II дал знать Сольмсу о разговоре своем с австрийским послом в Берлине бароном фон Свитеном.

*Фон Свитен:* "Для предотвращения всех недоразумений хорошо было бы объясниться насчет претензий относительно Польши, насчет раздела, который намереваются сделать". *Король:* "Это трудно, потому что еще нет решеного; впрочем, дело возможное". *Ф. Свитен:* "По крайней мере можно дать письменное удостоверение, что доли трех государств будут совершенно равные". *Король:* "Дело возможное; думаю, что и Россия от этого не откажется". *Ф. Свитен:* "Нельзя ли нам поменяться: Австрия уступит в в-ству свою долю Польши, а вы возвратите ей графство Глац?" *Король:* "У меня подагра только в ногах; а такие предложения можно было бы мне делать, если бы подагра была у меня в голове; дело идет о Польше, а не о моих владениях; притом я держусь трактатов и удостоверений, сделанных мне императором, что он не думает более о Силезии". *Ф. Свитен:* "Но Карпатские горы отделяют Венгрию от Польши, и все приобретения, какие мы можем сделать за горами, нам невыгодны". *Король:* "Альпы отделяют вас от Италии, однако вы вовсе не равнодушны к обладанию Миланом и Мантуею". *Ф. Свитен:* "Нам было бы гораздо выгоднее приобрести от турок Белград и Сербию". *Король:* "Мне очень приятно слышать, что австрийцы не подверглись еще обряду обрезания, в чем их обвиняют, и



что они хотят получить свою долю от своих приятелей турок". *Ф. Свитен*: "Но что ваше величество думает об этой идее?" *Король*: "Я не думаю, чтобы было невозможно осуществить ее". *Ф. Свитен*: "Я опишу об этом к своему Двору, который будет очень рад".

Но 22 февраля Фридрих дал знать Сольмсу, что в Вене переменили намерение: отказываются от Сербии и хотят взять свою долю из Польши.

Дело было покончено в Петербурге, Вене и Берлине. Теперь возвратимся в Варшаву, к Салдерну, которого мы оставили в сильном беспокойстве насчет поведения прусских войск в польских областях. "Тягости, налагаемые королем прусским, становятся день от дня невыносимее, — писал он Панину. — Пруссаки забирают все в десяти милях от Варшавы. Я не знаю, как генерал Бибилов извернется, чтобы наполнить обыкновенные магазины, назначенные для продовольствия наших войск, которые теперь в Польше, не говоря уже о тех войсках, которые мы беспрестанно поджидаем. Поведение прусских офицеров приводит в движение всю Польшу. Всякий ищет средств, как помочь беде, и, сколько голов, столько умов. Одни кричат, что надобно сделать представления трем дворам, петербургскому, венскому и самому берлинскому, насчет крайностей, какие позволяет себе прусский король; другие в ярости требуют самых нелепых мер; но все одинаково кричат против притеснений и насилий. Когда мне об этом говорят публично, то я отвечаю одно: обратитесь к прусскому министру. Когда же мне говорят меж четырех глаз, я отвечаю, что это наказание Божие за то, как поляки поступили этим летом относительно декларации ее императорского величества, и за то, что они кричали против русских войск"<sup>91</sup>.

Через несколько дней пошла новая депеша из Варшавы в Петербург, опять о пруссаках: "Поведение прусских офицеров становится день ото дня оскорбительнее. Не жалобы поляков заставляют меня говорить об этом, но жестокая необходимость, наше собственное существование, самая ужасная будущность, которая нас ожидает. Прусские войска забирают весь хлеб в воеводствах, и продовольствия нам не будет доставать здесь, как уже недостает для наших отрядов в Ловиче и Торне. Голод неизбежен, и необходимым следствием голода будет возмущение шляхты и крестьян. Бедствия умножают беспрестанно число конфедератов. Прусский министр глух



ко всему этому, говорит, что король не отвечает ему ни слова на все его представления. К довершению бедствия прусский король ввез в Польшу посредством жидов два миллиона фальшивых флоринов"<sup>92</sup>.

Салдерну отвечали из Петербурга, что нельзя делать представлений прусскому королю при тех отношениях, в каких находится теперь петербургский двор к берлинскому. Представления Салдерна о бедствиях настоящих и будущих для русского войска в Польше от поведения пруссаков много теряли силы вследствие донесений Бибикова, который, по характеру своему, смотрел на вещи другими глазами, чем Салдерн, то есть гораздо спокойнее. Вот что писал он Панину в конце 1771 года: "Не заботьтесь о конфедератах: они так малы, что если не помешает что особенное, то будущую весну выживу и из тех гнезд, в которых они теперь величаются со всеми французскими вертопрахами, а разве одно им убежище будут австрийские земли. Да беда моя общий наш друг посол: такая горячность и такая нетерпеливость, что с ноги бьет. При самой пустой и неосновательной от поляков вести (а их, к несчастью, здесь много) зашумит и заворчит: вот конфедераты усиливаются, вот уже они там и сям, а мы ничего не делаем! Мы пропадем! Они все субстанции у нас отнимут. Вся моя холодность и все почтение к сему старику нужны бывают, чтобы сохранить в пределах его запальчивость и напуски. Но будьте уверены, ваше сиятельство, что сохраню, невзирая на странности его свойств. Часто мне кажется, что он совсем не тот, которого мы прежде знали, подозрения странные в нем примечаю, между прочим, кажется ему, что я с поляками очень вежлив и что я на его счет хочу быть любимым; иногда не довольно бедного посла почитаю. Нередко уже и объяснялись, и я от него не раз слышал: "Souvenez, mon cher et digne ami, que je suis representant de la Russie et votre pauvre ambassadeur"<sup>93</sup>. Я его иногда смехом, иногда суриозно переуверю, что у меня в голове нет его уменьшать и что я и без посольства его почитать привычку сделал, да и теперь он дороже мне, как мой друг Салдерн, нежели посол. И после сего опять хорошо идет. А когда придет на вежливость мою подозрение, то начнет говорить: "Vous donnez un dementi a votre ami et a votre ambassadeur, vous etes si poli vis-a-vis de ces coquins de Polonais, il fant les trailer en canaille comme ils meritent". В сем случае нужно мне бывает мое красноречие и шутка, и с смехом стану я ему говорить, что я не могу этак грубиянить,

как он; ему как старому человеку больше простят, нежели мне, а про меня скажут: русский невежа жить не умеет. Клянусь вам Богом, что временем делает он мне больше заботы, нежели все вместе конфедераты. Здешние наши политические дела буде имеют по желанию нашему какой успех, тому глупость, трусость и нерешимость польскую извольте твердо почитать основанием и ни к чему иному его не приписывать, как сим польским качествам. А ненависть их на нашего друга непересказуема. Боятся же его, как какое пугалище".

Отдаленные от описываемых событий почти веком, мы можем спокойно взглянуть и на деятельность Салдерна, и на деятельность Бибикова. Мы не можем не заметить в Салдерне раздражительности, запальчивости, склонности к преувеличениям. Грубияннить действительно было не нужно: твердость и силу всего лучше можно выказать без грубиянства. Но с другой стороны, нужно было подальше гнать от себя мысль, что скажут "русский невежа жить не умеет". Хорошо еще, когда были Бибиковы да Суворовы; но при другой обстановке мысль эта приносила большой вред русским людям, которые с чужими иногда чересчур сдерживались этою мыслию, а со своими ничем не сдерживались. Последними строками своего письма Бибиков дает понять Панину, что если есть какой успех, то его никак нельзя приписать Салдерну, а только дурным качествам поляков. Бибиков выставляет трусость поляков как средство к успеху для русских; но чтобы пользоваться этим средством, чтобы заставить труса трусить, надобно его пугать. Салдерна боялись, говорит Бибиков, и этими словами вместо обвинения оправдывает Салдерна, прямо показывает, что Салдерн был полезен, умел пользоваться качествами врагов.

В начале 1772 года, когда в Петербурге, Берлине и Вене дело подвигалось к окончательному соглашению между тремя державами относительно раздела Польши, в Варшаве все еще толковали о притеснениях от прусских войск. В квартире русского посла шел разговор между Салдерном и коронным канцлером Млодзеевским: Канцлер: "Не считаете ли вы приличным, чтобы король обратился к ее императорскому величеству, отправил к ней министра для уведомления о поступках и притеснениях Прусского короля?" Посол: "Я думаю, что императрица не примет никакого посла от Польши, пока смута продолжается. Ее императорское величество очень хорошо

помнит все происшедшее здесь в продолжение многих лет; она замечает не только равнодушие польского двора относительно ее, но и явное сопротивление всем ее добрым намерениям. Как вы хотите, чтоб императрица заступилась за Польшу перед прусским королем, когда это единственный государь, который действует единодушно с нею в настоящих делах, и как вы можете думать, чтобы моя государыня захотела сделать неприятность другу, заступаясь за поляков, которые ни теплы, ни холодны и на которых можно смотреть как на врагов России? Я говорю не об одних конфедератах, но и обо всех тех, которые хотя не замешаны открыто в настоящие смуты, но которые действуют под рукою и которые наполняют Варшаву. Я не исключаю даже двора. Ее императорское величество не забудет холодности, невнимания, непоследовательности и неправильности в поступках, какие король и его фамилия позволили себе, покровительствуя части народа, которая возмутилась против своего короля, поддерживаемого моею государыней. После моей декларации я несколько раз имел разговоры сядьми короля и вице-канцлерами и объявил им о намерениях ее императорского величества успокоить Польшу, излагая им, что императрица согласна на изменения в самых существенных пунктах последнего договора; именно, что даст объяснения относительно гарантии и не откажется ограничить права диссидентов в том случае, если они согласятся сами пожертвовать частью своих прав для отнятия предлога у злонамеренных людей продолжать разбойничества под религиозным знаменем. Что же касается внутренних дел, то императрица требует только сохранения *liberum veto* для всей шляхты... Они были очень довольны, но захотели ли воспользоваться добрыми намерениями ее императорского величества? Приступили ли к делу? Князь воевода русский сказал, что у нас мало войска в Польше для поддержания этого дела, что республика находится в кризисе и положение ее таково, что не может ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смысл этих слов: воевода хотел сказать, что у нас на плечах война, которая может пойти для нас неудачно, ибо он не мог не знать, что у нас в Польше 12 000 войска, число, очень достаточное для их поддержания, если б они захотели серьезно воспользоваться нашим добрым расположением, вместо того чтоб увеличивать смуту своим бездействием.

Короля и республику никто не поддерживает, кроме императрицы: но оказывается ли к ней доверие? Король обращается в другую сторону, обольщаясь надеждою, что может найти подпору в соседе, который до сих пор не оказал ему ни малейших знаков дружбы и пользы, наоборот, покровительствует людям, посягающим на его власть и жизнь. Венский двор знает и видит все, что король прусский делает в Польше. В другое время он не смотрел бы на это равнодушно. Теперь Австрия не только овладела польскими землями, но, быть может, имеет еще какие-нибудь скрытые виды. Императрица требует у короля и республики благоразумной дружбы, основанной на поддержании естественной польской конституции. Если король и его друзья предпочитают оставаться в бездействии и упорствовать в своем равнодушии, то не ее вина, если она примет меры, соответствующие ее достоинству и интересам ее империи. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней смуты. Не раз я давал вам чувствовать, что прошлое лето вы упустили самую благоприятную минуту успокоить Польшу вашими собственными силами при поддержке России; я давал вам чувствовать, что по упущении этой благоприятной минуты успокоение Польши уже не будет более зависеть от свободной нации, но что вы получите законы и мир из рук ваших соседей. Когда начались жалобы на поведение короля прусского, то никогда не скрывал я ни от короля, ни от вас, что этот король будет для вас еще тягостнее и что он более всех пользуется смутою польскою"<sup>94</sup>.

Посол высказался ясно насчет того, что ожидало Польшу. Это было последнее его объяснение. Вслед за тем Салдерн стал умолять об отзыве. "Я не сплю больше, желудок у меня уже больше не варит!" — писал он Панину<sup>95</sup>. Не он должен был присутствовать при исполнении своих предсказаний. В июле 1772 года он получил желанный отзыв, но, покидая свой пост, старик не утерпел, послал в Петербург жалобу на Бибикова: "Поведение Бибикова вовсе не соответствует русской системе. Король, его братья и дядья поймали его за его слабую сторону: им управляют женщины — жена маршала Любомирского, гетмана Огинского и другие, подставленные королем, чтобы не дать ему прийти в себя. Чарторыйский канцлер, эта старая лисица, вызвал с тою же целию из Литвы дочь Пржездецкого. Бибиков делает все, что эти люди внушают ему посредством женщин; ему не дают ни одного дня отдыха, чтоб он мог опомниться: то охота, то загородная прогулка,

то бал, развлечения всякого рода, сопровождаемые самой низкой лестью и угодничеством со стороны поляков, держат его в цепях. Он не пропускает ни одного вечера у госпожи Огинской, бывать у которой генерал Веймарн запретил русским офицерам по причине поведения мужа и фамилии и по причине азартной игры. Но теперь все позволено. Бибилов забывался до такой степени, что преследует всех тех, которых ненавидят Чарторыйские и брат короля. Судите, ваше сиятельство, сколько случаев имеет войсковой начальник притеснить кого захочет. Я употреблял все средства для удержания его от этого и иногда успевал, особенно когда обращался к нему письменно: он боялся, что отошлю копию ко двору. У него нет секрета, как скоро найдено средство возбудить его тщеславие. Лень, которая берет свое начало в образе его жизни, останавливает движение дел, часто случается, что более 60 приказов по 8 дней лежат без подписи"<sup>96</sup>.

Преемником Салдерна был Штакельберг. 7 (18) сентября 1772 года вместе с прусским уполномоченным Бенуа (австрийский, барон Ревитский, еще не приезжал) он подал министерству декларацию о разделе<sup>97</sup>. Начались частые конференции между королем и его приближенными, результатом было решение — сносить все терпеливо, ничего не уступая добровольно, пусть берут все силою, и требовать помощи у дворов европейских; при этом проволочить время, противопоставлять требованиям трех держав целый лабиринт шиканств и формальностей<sup>98</sup>. Король одним декламировал против России, другим внушал, что русская императрица согласна вместе с ним на образование конфедерации против раздела; король даже дал знать об этом австрийскому послу, чтобы пустить черную кошку между союзниками. Штакельберг вследствие этого старался внушить полякам, что Россия не покровительствует королю и что так как Чарторыйские теперь более не монополисты наших сношений в Польше, то нация не рискует быть обманутою<sup>99</sup>.

В конце октября Штакельберг имел объяснение с королем. Станислав-Август приготовился и дал полную свободу своему красноречию: "Претерпев столько страданий за отечество, запечатлев своею кровью дружбу и приверженность к императрице и видя, что государство мое обирают самым несправедливым образом и меня самого доводят до нищенства, я понимаю, что меня могут постигнуть еще большие бедствия, но я их уже не боюсь. Убитый, умирающий с

голода, я научился — погибнуть". Штакельберг отвечал спокойно: "Красноречие вашего величества и сила вашего воображения перенесли вас к лучшим страницам Плутарха и древней истории; но все это не может служить предметом нашего разговора; удостоите, ваше величество, снизить к истории Польши и к истории графа Понятовского". За этим последовало изложение обстоятельств, поведших к несчастью, которое оплакивал король. От прошедшего Штакельберг перешел к настоящему и предложил вопрос: что станет с ним, королем, если 100 000 войска наводнят Польшу, возьмут контрибуцию, заставят сейм подписать все, что угодно соседним державам, и уйдут, оставя его, короля, в жертву злобе врагов его? Король побледнел. Штакельберг воспользовался этим и начал доказывать ему, что его существование зависит от двух условий: от немедленного созыва сейма и отречения от всякой интриги, которая бы имела целию ожесточить поляков и вводить их в заблуждение. Король обещал делать все по желанию посла<sup>100</sup>.

Штакельберг еще не привык к варшавским сюрпризам и потому не верил своим ушам, когда через два дня после приведенного разговора король призвал его опять к себе и объявил, что считает своею обязанностью отправить Браницкого в Париж с протестом против раздела. "Мне ничего больше не остается, — отвечал Штакельберг, — как жалеть о вашем величестве и уведомить свой двор о вашем поступке. Чего вы, государь, ожидаете от Франции против трех держав, способных сокрушить всю Европу?" "Ничего, — отвечал король, — но я исполнил свою обязанность"<sup>101</sup>. 23 ноября (4 декабря) Штакельберг подал декларацию: "Есть предел умеренности, которую предписывают правосудие и достоинство дворов. Ее величество императрица надеется, что король не захочет подвергать Польшу бедствиям, необходимому результату медленности, с какою его величество приступает к созыву сейма и переговорам, которые одни могут спасти его отечество". Но, в то время как Штакельберг принимал меры, чтобы заставить короля переменить его несчастное поведение, Бенуа твердил ему: "Оставьте его; тем лучше для нас, мы больше возьмем"<sup>102</sup>.

Это стремление больше взять было причиною, что Штакельберг в мае 1773 года получил от Панина следующие инструкции для предстоящих переговоров по поводу раздела и вообще устройства

польских дел: "Так как Польша более всего опасается короля прусского и так как торговля по Висле составляет самый важный пункт для нее, то вы должны взять на себя роль посредника; вы должны пригласить барона Ревницкого присоединиться к вам и вдвоем однообразными представлениями старайтесь доставить Польше самые сносные условия. Отправляясь от начала, что три двора намерены сохранить Польшу в положении державы посредствующей, которая имела бы соответственную этой цели силу, вы можете представить слабость, до какой доведена Польша многолетнею смутю и усобицами, потерями от раздела, и сколько нужно лет, чтоб она могла оправиться, а оправиться ей будет нельзя, если пресекутся к тому способы относительно торговли. При определении отношений к Австрии есть один важный предмет — это соль, предмет первой необходимости: надобно, чтобы поляки могли получать ее по умеренным ценам; говоря за поляков в этом случае, вы исполните предписание сострадания и человечества. Я чувствую, как подобное поведение ваше будет щекотливо относительно короля прусского, которого распоряжения обличают совершенно другие виды; но по крайней мере вы можете требовать, чтобы дали Польше вздохнуть, прежде чем извлекать из нее новые выгоды, и чтобы первые годы после раздела были наименее тяжки для нее. Всякий раз, как прусский министр будет советовать вам употреблять силу, а вы заметите, что есть еще другие способы, то умеряйте его стремление и принимайте его мнения только в крайности. Представляйте ему дружески, не вмешивая свой двор, все, что узнаете вопиющего насчет поведения прусских войск, уговаривайте его сдерживать их, представляйте ему, что временные выгоды солдата, который сытно кормится в чужой земле, не идут в сравнение с необходимостью извлечь Европу из кризиса, в котором она теперь находится: внушайте все это осторожно, но вместе с силою истины".

Когда дело было покончено, раздел совершился, Белоруссия была присоединена к России, Сольмс в Петербурге получил письмо от принца Генриха: "Во всем этом деле я не думал о собственных выгодах. Когда дело идет о счастье государств, не должно примешивать сюда частных интересов. Я вменяю себе в славу, что служил великой императрице и был полезен королю и моему отечеству; это мне льстит гораздо больше, чем приобретение какой-



нибудь области. Я имею право говорить, что пребывание мое в Петербурге ознаменовано началом сношений, поведших к теснейшему союзу между королем и Россией. Я имею доказательство более чем в 20 собственноручных письмах короля, что я поставил вопрос, который повел к соглашению. Но я не требую за это вознаграждения; я ищу только славы и признаюсь вам, что я буду счастлив, получа эту славу из рук ее величества императрицы русской; желание мое исполнится, если она удостоит, по случаю принятия во владение земель от Польши, почтить меня письмом, которое будет служить доказательством, что я содействовал этому великому делу. Повторяю вам откровенно, что я буду смотреть на это письмо как на величайший монумент моей славы".

Желание принца было исполнено — императрица написала ему: "По принятии во владение губернии Белорусской, считаю справедливым засвидетельствовать вашему королевскому высочеству, сколь чувствую себя ему обязанною за все заботы, употребленные им при совершении этого великого дела, которого ваше высочество может считаться первым виновником".

## ГЛАВА VI

После раздела Польша должна была принять от России, Австрии и Пруссии следующие условия, на которых она могла сохранить свое политическое бытие: 1) она должна была навсегда удержать избирательную форму правления; 2) только природный поляк (Пяст) мог быть королем; 3) Польша сохраняла все свое прежнее республиканское устройство; 4) законодательная власть оставалась у сейма, состоявшего из короля, сената и рыцарства; исполнительная была у вновь учрежденного Постоянного совета, состоявшего из короля, 18 сенаторов и 18 послов сеймовых. Этот Постоянный совет делился на пять комиссий: а) иностранных сношений, б) полиции, с) военную, d) юстиции, е) финансовую. Католическая партия, поддерживаемая Австрией, настояла, чтобы шляхта греческого неуниатского закона и диссиденты не могли быть ни в сенате, ни в Постоянном совете; на сеймах из них не могло быть более трех послов. Русские уступили, потому что масса православного народонаселения принадлежала к низшим сословиям — значительной шляхты было очень мало.

После первого раздела история дала Польше 15 лет отдыха, мира. Это время прошло в борьбе короля с оппозицией, во главе которой стоял великий гетман коронный Франц-Ксаверий Браницкий, соединившийся с князем Адамом Чарторыйским, человеком ничтожным, вовсе не похожим на своего отца и дядю<sup>103</sup>. Браницкий хотел играть первую роль в стране и враждебно столкнулся с Постоянным советом, который своею военною комиссией ограничивал власть гетмана над войском. Русский посол Штакельберг стоял за Постоянный совет — и отсюда ненависть у Браницкого к Штакельбергу, поездка в Петербург, хлопоты там, чтобы неприятный посол был отозван, чего Браницкий надеялся достигнуть с помощью Потемкина. Потемкин шел против Панина, а Панин покровительствовал Штакельбергу.

Но интрига в России против Штакельберга не помогла; посол крепко сидел на своем месте; не помогали интриги и в Польше против короля: тщетно запаивали и обдаивали шляхту<sup>104</sup> перед выборами на

сейм 1776 года; король обратился к Штакельбергу с просьбою о вооруженном вмешательстве, и появление двух русских эскадронов в Литве положило здесь конец патриотической деятельности Браницкого и Чарторыйского. Вместе с депутатами явились в Варшаву на сейм и русские войска. Патриоты были сдержаны, вследствие чего нескольким юристам под председательством графа Андрея Замойского было поручено составление нового Уложения, более соответствующего духу времени, более благосклонного к низшим классам народонаселения; власть гетманов была ограничена; четыре гвардейских полка были подчинены непосредственно королю. Король делал все, что мог, для воскресения Польши в этот пятнадцатилетний промежуток между первым и вторым разделами: заботился о варшавском и виленском кадетских корпусах, которые и начали доставлять порядочных офицеров; учреждена была артиллерийская школа; явились пушечный и оружейные заводы; построены цейхгаузы, казармы, тогда как прежде этого ничего не было. Воспитательная комиссия и Воспитательный совет хлопотали не без пользы о поднятии университетов и школ. Любовь короля к науке и искусству, мода на них при дворе также не остались без влияния: таланты находили простор и почет.

Но все эти цветки, показавшиеся на поверхности почвы при некоторых благоприятных условиях, не были признаками возрождения Польши, которая неминуемо должна была поплатиться жизнью за всю свою историю. Признаки этой наступающей расплаты были явны для всякого внимательного и разумного наблюдателя. Вот эти признаки: "Вельможи, постоянно недовольные, в постоянном соперничестве друг с другом, гоняются за пенсиями иностранных дворов, чтоб подкапываться под свое отечество. Потоцкие, Радзивиллы, Любомирские разорились вконец от расточительности. Князь Адам Чарторыйский часть своего хлеба съел еще на корню. Остальная шляхта всегда готова служить тому двору, который больше заплатит. В столице поражает роскошь, в провинциях бедность. На 20 миллионов польских злотых ввоз иностранных товаров превысил вывоз своих. Ежедневно происходят такие явления, которые невероятны в другом государстве: злостные банкротства купцов и вельмож, безумные азартные игры, грабеж всякого рода, отчаянные поступки, порождаемые недостатком средств при страшной роскоши.

Преступления совершаются людьми, принадлежащими к высшим слоям общества. И какому наказанию подвергаются они — никакому! Где же они живут, эти преступники, — в Варшаве, постоянно бывают у короля, заведывают важными отраслями управления, составляют высшее, лучшее общество, пользуются наибольшим почетом. Хотите знать палатина, который украл печать? Или графа, мальтийского рыцаря, которому жена палатина Русского (Галицкого) недавно говорила: "Вы украли у меня часы, только не велика вам будет прибыль: они стоят всего 80 червонных". Кавалеры Белого Орла крадут у адвокатов векселя, предъявленные их заимодавцами. Министры республики отдадут в заклад свое серебро через камердинера, отошлют потом этого камердинера в деревню да и начинают иск против того, кто дал деньги под заклад, под предлогом, что камердинер украл серебро и бежал, а через полгода вор опять служит у прежнего господина. Другой министр захватил имение соседа; Постоянный совет решил, что он должен возвратить захваченное; несмотря на то, похититель велел зятю своему, полковнику, вооруженною рукою удерживать захваченное; загорается битва между солдатами полковника и крестьянами законного владельца; полковник прогнан, но 30 человек остались на месте битвы. Один палатин уличается перед судом в подделке векселей; другой отрицается от своей собственной подписи; третий употребляет фальшивые карты и обирает этим молодых людей — в числе обыгранных был родной племянник короля; четвертый продает имения, которые ему никогда не принадлежали; пятый, взявши из рук кредитора вексель, раздирает его в то же мгновение и велит отколотить кредитора; шестой, занимающий очень важное правительственное место, захватывает молодую благородную даму, отвозит в дом, где велит стеречь ее своим лакеям, и там насилует. Покойный маршал Саксонский имел полное право говорить, что немецкий полумошенник в Польше честнейший человек".

Мы едва ли бы решились без оговорки приводить эти свидетельства, если бы они шли от русского, австрийца или пруссака; но они идут от саксонского резидента Ессена, который не имел никаких побуждений чернить поляков — напротив: имел все побуждения сочувствовать им, смотреть на них с самой благоприятной стороны. "Я трепещу при мысли, — пишет Ессен, — что курфюрст

возложит на меня обязанность указать ему между поляками троих значительных и вместе честных людей: я не могу указать ему ни одного. Польские вельможи громко говорят: "Государи при сношении друг с другом имеют в виду одну собственную выгоду; мы республиканцы и государи и потому не делаем ничего для других государей без соблюдения собственной выгоды". Россия, — продолжает Ессен, — эта великая и страшная империя, принуждена тратить ежегодно от 40 до 50 000 червонных на пенсии, чтобы в Постоянном совете и в комиссиях иметь своих людей, и, кроме того, должна еще содержать эскадрон легкой кавалерии, готовый лететь всюду при первой надобности. Несмотря на то, несмотря на все письма и указы императрицы к послу, русские подданные часто проигрывают процессы. Английский посланник Дальримпль с каждою почтою просит свое правительство отозвать его отсюда; он говорит, что, исполняя здесь обязанности министра, он унижает тем свое достоинство честного человека. Большая часть здешнего высшего блестящего общества в другой стране подверглась бы преследованию закона"<sup>105</sup>.

"Мы республиканцы и государи, — говорила польская шляхта, — мы соблюдаем везде только собственные выгоды". И вот, когда на сейме 1780 года представлено было новое Уложение, требующее равенства всех перед законом, главного судопроизводства, улучшения участи горожан и крестьян, то "республиканцы и государи" с ужасом и злобою отвергли такой еретический кодекс.

Преобразовательная деятельность Станислава-Августа только слегка коснулась поверхности; пораженное неизлечимою болезнью, общественное тело способно было только к судорожному предсмертному движению, когда поднялся Восточный вопрос.

Россия вследствие раздела Польши отказалась от своих требований относительно независимости Дунайских княжеств, отказалась от острова на Архипелаге для себя, но неожиданно и, к великой досаде Австрии, силою оружия заставила Турцию в Кючук-Кайнарджи признать независимость Крыма. Это последнее событие не могло остаться без последствий: оно заставило Россию отказаться от северного акорта, переменить прусский союз на австрийский.

Турция долго не могла переварить условий Кайнарджийского мира, долго бросалась во все стороны с просьбою о помощи, нельзя ли

как-нибудь переменить эти условия. Понятно, что всего чувствительнее была для нее потеря Крыма. По условиям Кайнарджийского мира, за султаном оставалось в Крыму религиозное значение как преемника калифов; но он упорно домогался верховных прав в области гражданской и политической. Россия, разумеется, не могла уступить этим домогательствам, ибо тогда где же была бы независимость Крыма? Вследствие враждебных друг другу влияний с двух сторон — русской и турецкой — образовались партии на полуострове и вступили в борьбу друг с другом, вполне напоминающую нам борьбу двух партий, русской и крымской, в Казани перед ее падением. Ханы сменялись вследствие движения партий. Уже в 1775 году свергнут был преданный России хан Сагиб-Гирей и возведен на престол преданный Турции Девлет-Гирей. Россия свергнула последнего и возвела на его место Шагин-Гирея. Шагин хотел быть действительно независимым и ввести необходимые для усиления своего государства преобразования, стал вводить при этом новые, европейские обычаи; но этим он возбудил против себя сильную староверческую турецкую партию: началась опять усобица, в которой Россия должна была поддерживать Шагина. Такое положение дел становилось час от часу несноснее для России. Война ее с Турцией продолжалась в Крыму; благодаря Крыму ежечасно готова была вспыхнуть и непосредственно, в более широких размерах. Тем сильнее становилось желание покончить с Крымом, который не мог оставаться независимым; тем охотнее должны были выслушиваться предложения вроде следующего, которое представил Потемкин: "Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с Турком по Бугу или со стороны кубанской — во всех сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний Туркам неприятен: для того, что он не допустит их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу Турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны кубанской, сверх частых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несомнительна, мореплавание по Черному морю свободнее, а то

извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдаленных пунктах. Всемиловейшая государыня! Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, Цесарцы без войны у Турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный — да кому? Туркам: это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море, от вас зависеть будет запирасть ход Туркам и кормить их или морить с голоду. Хану пожалуйста в Персии что хотите — он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сем просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждом хлопотах так скажет: вот, она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон! Ис тебя истекло к нам благочестие: смотри, как Екатерина Вторая паки вносит в тебя кротость христианского правления".

Но "свести бородавку с носу" было нельзя без войны с Турциею, а для этого нужно было обеспечить себя со стороны соседних держав — Пруссии и Австрии, преимущественно со стороны последней. Недавно соглашение этих держав помешало России заключить мир с Турциею на желанных условиях, заставило Россию войти в виды Пруссии и Австрии относительно Польши; и теперь исход крымского дела зависел от того, будет ли по-прежнему существовать это соглашение между Пруссией и Австрией, или можно будет разрознить их интересы и заставить ту или другую державу войти совершенно в виды России. Поведение Фридриха II относительно турецких дел не могло не охладить к нему Екатерины: он действовал вовсе не так, как бы можно было надеяться от верного союзника; не хотел принять известных объяснений справедливости русских требований от Турции, что не



могло не оскорбить; явно преследовал только свои интересы и заставил сообразоваться с ними. Разумеется, обвинять за это прусского короля, явно на него жаловаться не имелось никакого права, тем не менее горечь осталась. Но вначале, то есть после раздела Польши и Кайнарджийского мира, нельзя было думать об ослаблении союза с Пруссией, ибо Австрия не давала возможности сближения с собою. Мы видели, что Потемкин в приведенной записке указывал, как она без войны взяла у турок более, чем мы. Действительно, еще до заключения Кайнарджийского мира Австрия, под шумок, отрезала себе на границах довольно значительный участок земли. На запрос Петербургского кабинета по этому делу Венский отвечал, что за эти земли уже идет столетний спор; Венский двор очень бы желал, чтобы это дело окончилось мирным путем, к удовольствию обеих сторон; но опыт показал, как трудно улаживаться с Портою, и потому почтено за лучшее занять спорную область вооруженною рукой.

Делать было нечего: Турция одна не могла защищаться, а Россия и Пруссия также не могли начать войны с Австрией. Но подобное поведение последней, конечно, не могло содействовать сближению Петербургского кабинета с нею, и Панин имел возможность продолжить систему северного акорта. 10 октября 1776 года он подал мнение о продолжении прусского союза: "На сих днях читал мне граф Солмс полученную им от короля, своего государя, депешу, в которой его прусское величество, изъявляя вновь желание свое о продолжении с вашим императорским величеством настоящего союза еще на 10 лет, повелевает ему сделать вторично о том представление в такой силе, что его величество, видя при изнемогающих силах приближение конца жизни своей, более всего имеет на сердце получить от вашего императорского величества то дружеское утешение, чтоб оставить преемника своего в обязательствах и интересах вашего величества, следовательно же, и в теснейшем соединении с империею Всероссийскою. А как по случаю первого о том внушении угодно было вашему императорскому величеству мне повелеть, чтоб я мое по оному мнению представил, то я, донося чрез сие о таковом вторичном отзыве графа Солмса, поставлю в долг себе всеподданнейше изобразить здесь собственные свои по оному мысли.

От собственного вашего императорского величества прозорливейшего усмотрения зависит определить, колико доныне союз

наш с берлинским двором мог в течении и производстве дел наших полезен быть повсеместному почти успеху их. Происшедшие между Англией и американскими ее селениями распри, а из оных и самая война предвозвещает знатные и скорые, по-видимому, перемены в настоящем положении европейских держав, следовательно же, и во всеобщей системе. Удастся ли селениям устоять в присвоенной ими ныне независимости, или же предуспеет напоследок Англия истощительными ее усилиями поработить их своей власти, что без внутреннего тех селений вконец изнеможения рассудительным образом предпологаемо быть не может: но в обоих сих случаях на верное считать надлежит, что лондонский двор потеряет весьма много из своей настоящей знатности и что оный, как совсем отделенная держава от твердой земли Европы, тогда наипаче принужден будет сокращать политику свою в теснейших еще пределах островов своих. Естественным оборотом изсего сколь вероятного, столько же и не удаленного последствия получают Бурбонские, толь тесно между собою соединенные дома, а особливо Франция, при неприменности коренных и локальных их сил и пособий, свободнейшие руки укоренять свою инфлюенцию и свою поверхность там, где оные доныне в пределах умеренности содержаны были противувесием английских сил и интересов, что с политическими правилами вашего императорского величества никак согласовать не может, тем паче, что и венский двор по настоящей своей связи с версальским найдетсЯ тогда в большей беспечности собственного своего положения, когда ему сей последний, без всякого уже от Англии помешательства, будет в состоянии оказывать всякие снисхождения к его интересам, а взаимно таковые же и для себя от венского с вящею выгодой взаимствовать. Из чего, собственно, для России такое неудобство родиться может: когда станет приходить к истечению союз наш с королем прусским, тогда венский двор, и в чистейшем намерении содружения своего с нами, будет, конечно, размерять выгоды свои в оном по выгодам имеющегося с Францией союза. В рассуждении всего сего продолжение тесного вашего союза с королем и короною прусскими есть лучший и надежнейший способ к сохранению установленной вами в делах политической системы и к охранению не одного севера, но и всей уже Европы от перевеса инфлюенции версальского и венского дворов".

Союз с Пруссией был возобновлен, но только по форме. Крымские дела, с одной стороны, и баварское наследство — с другой, вели необходимо к перемене системы. Иосиф II хотел во что бы то ни стало приобрести для Австрии Баварию после пресечения тамошней династии; Фридрих II для безопасности Пруссии и целой Германии считал необходимым противодействовать всеми средствами такому усилению Австрии. Оба для своих целей должны были заискивать у России — у одной России, ибо Франция, занятая англоамериканскими делами и истощенная вконец, не могла обнаружить своего влияния на решение баварского дела. На чью же сторону склонится Россия? Разумеется, на ту, которая обещает ей свое содействие для решения крымского дела; Австрия поспешила дать это обещание.

В мае 1779 года Иосиф II обязался за себя и за преемников своих гарантировать России все ее владения и все ее договоры с Портою; в случае нарушения договоров с турецкой стороны — объявить Порте войну; если во время этой предполагаемой войны с турками на Россию нападет какая-нибудь другая держава, то Иосиф будет помогать России всеми своими силами. Пруссия опоздала с своими предложениями, и что же предложила она? Тройной союз между Россией, Пруссией и Турцией против Австрии!

"17 сентября 1779 года ее императорское величество соизволила читать сообщенную от прусского посланника графа Герца депешу ему от короля, государя его, с приложением таковой же от прусского поверенного в делах при Порте Оттоманской Гафрона относительно заключения тройного союза наступательного и оборонительного между империей Всероссийскою, короною прусскою и Портою Оттоманскою. Ее величество предложения сии не нашла вовсе себе удобными и сходственными с прямою пользою для государства ее; ибо, не упоминая уже о том, колико оскорбителен был бы для деликатности ее союз с державою неприязненною всей христианской республике, ниже коль вредные впечатления может он произвести в народах, под игом турецким пребывающих, коих венский двор вящше тогда от нас отвратить и привязать к себе не упустит, встречаются тут ее величеству следующие размышления. Если сей союз предполагается единственно преградою горделивым замыслам венского двора, то не довольно ли опытом доказано, что для обуздания одного достаточно сил ее императорского величества, соединенных с королем прусским, и

особливо после того, когда и Франция, невзирая на разные свои с венским двором обязательства, явила свету, сколь удалена она пособствовать дальнейшему могуществу австрийского распространению, и когда, по признанию прусского в делах поверенного, из отзывов посла французского заключаемому, двор его поставляет себе в тягость союз с Австрийцами. От Турок помощь не нужна, и потому союз с ними может быть полезен только им: огражденные от внешнего страха поправятся и приключат России большую заботу, чем прежде. По непостоянству Турок вследствие частой перемены министерства союз сей при первом дел обороте ни во что обращен быть может. Если будет заключен союз между Пруссией и Турцией, то в случае распрей и войны между Россией и сею последней, к которым дела татарские, затруднения в торговле и мореплавания и другие по соседству и невежеству турецкому недоразумения причину подать могут, будем мы связаны и самим союзником нашим, который пользу свою, конечно, в том полагать будет, чтоб бытие нового его союзника, то есть Порты Оттоманской, ни малейшему ущербу подвержено не было, — словом, что все наше с той стороны поведение зависеть будет от двора берлинского. Посему угодно ее величеству, чтоб сие королем прусским учиненное приглашение отклонено было образом благопристойным. Что же касается собственно до Порты, то поелику настоит уже ныне с нею трактат мира и дружбы, да и ко взаимной торговле положено основание, ее величество желает, чтоб связь сия вяще могла утверждена быть посредством коммерческого трактата. К сему не нужно ничье постороннее посредство".

В 1779 году говорилось еще о возможности утверждения связи с Турцией коммерческим трактатом; но иначе пошли дела в 1782 году, когда вспыхнуло восстание против Шагин-Гирея под предводительством родных его братьев, и хан должен был удалиться в Таганрог. Екатерина обратилась к новому союзнику своему, Иосифу II, и получила от него самый удовлетворительный ответ: "Получить письмо вашего императорского величества и отвечать на него в продолжении тех же двадцати четырех часов было во мне одним чувством и одним действием. Мне не нужно ни размышлений, ни соображений, ни расчетов, когда мое сердце чувствует и когда дело идет о том, чтобы служить, смею сказать, моей императрице, моему

другу, моей союзнице, моей героине; да, я готов всегда ко всякому соглашению с вашим императорским величеством относительно всех возможных событий, каковые могут произойти от смут в Крыму"<sup>106</sup>.

"Моя радость равна была моей признательности при чтении письма, которое вашему императорскому величеству угодно было написать мне, — отвечала Екатерина. — Ваше императорское величество привыкли счастливить людей; вы спешите содействовать счастью и вашей союзницы. Обещание вашего императорского величества войти в соглашение со мною относительно всех событий, могущих произойти от крымских смут, это обещание служит для меня драгоценным залогом вашей дружбы, за что позвольте выразить мою живейшую благодарность"<sup>107</sup>.

Должно быть, в это время Безбородко написал свою знаменитую записку: "Россия не имеет надобности желать других приобретений, как 1) Очаков с частию земли между Бугом и Днестром; 2) Крымского полуострова, буде бы, паче чаяния, тамошнее правление по смерти нынешнего хана или по каким-либо непредвидимым замешательствам нашлось для нас невыгодным и вредным, и, наконец, 3) одного, двух или трех островов в Архипелаге для пользы и нужд по торговле. Напротив того, венский двор возвращением Белграда с частию Сербии и Боснии, а может быть, и банната Краиовского учинился бы в положении пред нами выгоднейшем. Но можно позволить ему сие расширение пределов своих, если он согласится с нами относительно дальнейшего жребия монархии Оттоманской. Сей жребий определится может в двух следующих степенях: 1) Ежели обе державы, находя продолжение войны для себя весьма убыточным, а завоевания ненадежными, предпочли бы заключение мира без разрушения Турецкого государства, в таком случае сверх обоесторонних приобретений полезно было бы им условливаться и постановить, чтоб Молдавия, Валахия и Бессарабия, под именем своим древним Дакии, учреждена была областью независимою, в которую владетель назначен был бы закона христианского, там господствующего, если не из здешнего императорского дома, то хотя другая какая-либо особа, на которой верность оба союзника могли бы положиться; новая сия держава не может быть присоединена ни к России, ни к Австрии. Но положим, что упорство Порты, с одной стороны, а успехи — с другой, подали бы способы к совершенному

истреблению Турции и к восстановлению древней Греческой империи в пользу младшего великого князя, внука вашего императорского величества. Тут также заранее предопределить нужно точные границы сея империи, назначая их во владениях турецких в Европе на твердой земле и в островах архипелажских, разумея те, кои за удовлетворением других останутся: ибо предполагать должно, что при таковом в пользу нашу снисхождении венский двор захочет иметь какое-либо основание в Средиземном море для торговли своей; что Англия и Франция и Гишпания, может быть, востребуют и себе некоего приобретения, что республика Венецианская предъявит свои притязания на Морею, которой ей уступать не должно, а лучше заменить в островах, может быть, что Франция и Гишпания устремят намерения свои на порты в Египте или другие на африканских берегах, в чем еще менее затруднения делать следует".

На этих основаниях отправлено было в Вену следующее предложение: "Между тремя монархиями должно быть навсегда независимое от них государство. Это государство, в древности известное под именем Дакии, может быть образовано из провинций Молдавии, Валахии и Бессарабии под скипетром государя религии греческой. Что касается до равенства в приобретениях, то Россия желает: 1) город Очаков с областью между Бугом и Днестром; 2) один или два острова в Архипелаге для безопасности и удобства торговли. Хотя положение и плодоносие турецких областей, соседних с государством вашего императорского величества, дают вашим приобретениям совсем иное значение, однако моя личная дружба к дорогому союзнику не позволит мне колебаться и одной минуты сделать ему это пожертвование, ибо я твердо уверена, что если наши успехи в этой войне дадут нам возможность избавить Европу от врага имени христианского изгнанием его из Константинополя, то ваше величество не откажется содействовать восстановлению монархии Греческой, под непрямым условием с моей стороны сохранять эту возобновленную монархию в полной независимости от моей, и возвести на ее престол младшего внука моего, великого князя Константина, который даст обязательство не иметь никогда претензий на престол российский, ибо две эти короны никогда не должны быть соединены на одной главе"<sup>108</sup>.

Иосиф отвечал, что присоединение к России Очакова с означенною областью не может встретить никакого затруднения. Что же касается до образования нового государства Дакии и возведения на Греческий престол великого князя Константина, то это будет зависеть от успехов войны; с его же стороны не будет затруднения в исполнении всех этих желаний, если только будут исполнены и его желания, которые состоят в следующем. Для Австрийской монархии нужно присоединить: город Хотин с небольшою областью, прикрывающею Галицию и Буковину, часть Валахии, которую огибает Алута, Никополис и отсюда оба берега вверх по Дунаю, следовательно, города Виддин, Орсову и Белград для прикрытия Венгрии. От Белграда протянуть линию самую прямую и самую короткую к Адриатическому морю, включая *Golf o della Drina*<sup>109</sup>, и, наконец, все владения венецианские на твердой земле и с прилежащими островами должны отойти к Австрийской монархии, ибо только этим средством произведения ее земель получают ценность. Полуостров Морея, который принадлежал некогда венецианам, острова Кандия, Кипр и другие архипелажские могут богато вознаградить этих республиканцев; он, император, может иметь тогда морские суда и быть, следовательно, гораздо полезнее для России; дунайская торговля останется совершенно свободною для австрийских подданных как при входе в Черное море, так и при выходе из него через Дарданеллы. Новые государства — Дакийское и Греческое — обяжутся не взимать никаких пошлин с австрийских судов<sup>110</sup>.

Эти соглашения развязывали руки относительно Крыма; здесь Шагин-Гирей был восстановлен с помощью России. Но в ожидании новых смут и покушений со стороны Турции Потемкину отправлен был следующий рескрипт 14 декабря 1782 года: "Предполагая, что политический состав Оттоманской монархии разными обстоятельствами был бы еще отдален от конечного его разрушения и чтоб мы даже после войны нашли еще один раз в необходимости сделать мир с сею державою: не были ль бы мы обязаны ответом пред совестью нашей, есть ли бы, имея в руках своих надежные средства удалить на времена будущие всякий повод к новой войне и предварить всечасные беспокойства, да с такою выгодною для государства нашего случай тот благопоспешный из рук выпустили? Известно, что одним из главнейших поводов к распрям нашим с Турками от давнего времени



служил полуостров Крымский, из недр коего не однажды обеспокоены были границы наши. Преобразование его в вольную и независимую область обратилось только в новые для нас заботы со знатными издержками. Опыты времени от 1774 года доказывают, что таковая независимость мало свойственна татарским народам, ибо, чтоб удержать ее, надлежит почти всегда нам быть вооруженными и посреди мира изнурять войска трудными движениями, неся большие убытки как бы во время войны, без всякой надежды заменить оные. При малейшем со стороны нашей послаблении Турции, пользуясь единоверием Татар и разными связями, предуспевают там только умножать свою силу, что почти всякий раз паки к войне прибегать должно, дабы только дела поставить в прежней степени. Таковое бдение над крымскою независимостью принесло нам уже более 7 000 000 чрезвычайных расходов, не считая непрерывного изнурения войск и потери в людях, кои превосходят всякую цену. В уважении на сии обстоятельства приняли мы намерение решительным образом тамошним делам дать совсем иной оборот и при дальнем со стороны турецкой против нас не пристойном и интересам нашим вредном поведении так их устроить, чтоб полуостров Крымский не гнездом разбойников и мятежников на времена грядущие остался, но прямо обращен был на пользу государства нашего, в замену и награждение семилетнего беспокойства, вопреки миру нами нанесенного и знатных иждивении на охранение целости мирных договоров употребленных, чем и будет изъят впредь всякий повод к войне с Турками, если они сей шаг, нам самою необходимостью вынужденный, не почтут за точную причину к явному разрыву: но и в сем последнем случае находим мы полезнее однажды навсегда кончить дела наши с помянутою державою, нежели быть во всегдашней от нее тревоге, чтоб не допустить ее паки к крайнему нам вреду усилиться в татарской области и почти поработить себе оную. Вследствие того волю нашу на присвоение того полуострова и на присоединение его к Российской империи объявляем вам с полною нашею доверенностью и с совершенным удостоверением, что вы к исполнению сего не упустите ни времени удобного, ни способов, от вас зависящих, но не иначе, что поводом к таковому присвоению Крыма должны служить случаи: 1) Буде постигнет смерть ныне владеющего хана или неприятели его увезут; или утвердить его на владении тамошнем будет

ненадежно. 2) Бude он, паче чаяния, окажется изменником или вовсе сомнительным в доброхотстве к Российской империи; или же сделает непристойное затруднение в удержании нами Ахт-Ярской гавани либо других интересов наших. 3) Бude Порта не подастся на прочие главные артикулы, нами требуемые. 4) Бude она пошлет войска в Крым или на Кубань либо морские силы в Черное море; или же начнет поджигать татар каким бы то образом ни было к беспокойству и мятежу. 5) Бude она в другой части, нам ближней или на другой, станет против нас тайно или явно собою или чрез других действовать. 6) Бude император римский распространит далее свой кордон, или границу, на счет Молдавии или Валахии; в таковом случае и мы должны искать средства к соблюдению с ним равенства".

Потемкин должен был всячески стараться приклонить татар на свою сторону и внушать им, чтобы подали просьбу о присоединении Крыма к России; хану внушать, что будет осыпан милостями. Если Порта согласится отступить от всякого к татарам прикосновения и исполнит мирный договор во всем его объеме, то присоединение Крыма отложить до другого времени, заняв только Ахт-Ярскую гавань.

В 1552 году жестокости последнего Казанского хана Шиг-Алея заставили казанцев просить царя Иоанна IV свести от них ненавистного Алея и прислать наместника московского; в 1783 году жестокости хана Шагин-Гирея произвели такое же движение в Крыму и повели к уничтожению его самостоятельности. 7 февраля 1783 года Екатерина послала Потемкину повеление: "Из донесений, присланных к вам от генерал-поручика графа Дебалмена, а к министерству нашему от посланника Веселицкого, мы с сожалением уведомляемся о казни многих из Татар, кои вовлечены были в участие в последнем там происшедшем беспокойстве, несмотря на то что хану Шагин-Гирею от помянутого посланника внушаемо было от имени нашего о показании при сем случае всякой кротости и человеколюбия во прощении виновных. По сродной нам жалости, желая отвратить по крайней мере впредь всякую жестокость и особливо чтоб оная там место не имела, где силы наши воинские обращаются, соизволяем мы, чтоб вы предписали графу Дебалмену объявить помянутому хану в самых сильных выражениях, с каким прискорбием получили мы сие неприятное известие; что когда восстановление его обладания совершилось подъятием оружия нашего без всякого пролития крови и

когда участвовавшие в возмущении приведены были в раскаяние, то не требовало ли самое человечество пощадить обратившихся к повиновению? Примеры прежние должны были его в том научить; мятеж в 1777 году укрощен был, конечно, не его строгостию. Казни, при том случае употребленные и повторенные потом многократно, не могли утешить других, а только огорчили его подданных и предуготовили последнее возмущение. Он должен видеть, что если бы мы таковую суровость с его стороны предвидели, не обратили бы войск наших на его защиту, ибо несходно то с правилами нашими, чтоб силой нашею низверженных попускать на истребление. Скорее мы оставим всякое ему пособие, нежели распространим оное на угнетение рода человеческого; что милость и покровительство наше не на одну его особу, но вообще на все татарские народы распространяется и что потому желаем, дабы он управлял сими народами с кротостию, благоразумною владелю свойственною, и не подавал причины к новым бунтам, ибо не может ему быть неощутительно, что сохранение его на ханстве не составляет еще для государства нашего такого интереса, для которого мы обязаны были бы находиться всегда в войне или по крайней мере в распри с Портою, а и ни для чего не согласимся славу оружия нашего, известную столько же победами, сколько и пощадю победленных, подвергать какому-либо предосуждению. Заключив сие изъяснение требованием, чтобы, до совершенного приведения в порядок дел в том крае, он отдал на руки военного нашего начальства родных своих братьев и племянника, також и прочих под стражею содержащихся, быв уверен, что как, с одной стороны, жизнь сих людей охранена будет от всякого против их покушения, так, с другой — не может он опасаться от них новых беспокойств. Между тем нет нужды скрывать в народе его на истине самой основанные внушения, дабы Татары видели, что подобные казни нам и военному нашему начальству всемерно отвратительны, что мы ничего не оставим употребить к пресечению их и что все те, кои прибегнут под защиту войск наших, воспользуются полною безопасностью; да и действительно предпишете о помещении их под охранением нашим, где и как выгоднее, и о соблюдении их безопасности. Если бы, паче чаяния, хан не с удовольствием принял такое увещание и ежели бы он сделал затруднение в отдаче нам братьев и племянника своих с другими Татарами, в заключении

содержащимися, в таком случае повелеваем всю стражу, при нем находящуюся, взяв, отправить к Ахт-Ярской гавани или куда вы за лучше признаете и потом и помышлять только о своих делах, о своей безопасности, об удержании твердой ноги в Крыму и о приведении упомянутых дел к желаемой и выгоднейшей для нас цели, оставляя его (то есть хана) между народом. Впрочем, казнь означенных князей крови его долженствует служить поводом к совершенному отъятию руки нашей от сего владетеля и сигналом к спасению Крыма от дальнейших мучительств и утеснении способом, в рескрипте нашем от 14 декабря 1782 года вам подписанным".

Шагин-Гирей отказался от престола, и Крым был присоединен к России указом 8 апреля 1783 года. Бывший хан оставался жить в Тамани; императрица распорядилась, чтобы его перевели в Воронеж, но он не послушался и в ответе вошел в разные "нескладные" изъяснения. Тогда отправлен был к нему генерал Игельстром с приказанием, чтобы непременно выехал из Тамани, выбрав для жительства из трех городов: Воронеж, Орел или Калугу. Игельстром должен был внушить хану, что "с русской стороны не было упущено ничего к сохранению его на престоле: собственное его поведение, наипаче жестокость отдалила от него всех подвластных; Татары принимали ханом всякого иного, кроме его, и многие отзывались, что они лучше повиноваться будут всякому российскому начальнику, нежели ему. С другой стороны, Порта готова была, да и начинала уже пользоваться сим заботливым положением дел. Благо и тишину империи нашей не могли мы не поставить выше всякого уважения к хану Шагин-Гирею или к кому бы то ни было; что хан отрекся от правления без всякого предварительного соглашения с ним или с поставленными от нас начальниками; что сама Порта подтвердила присоединение Крыма, следовательно, непристойно и непозволительно ему, хану, человеку теперь частному, вступаться в какие-либо дела, касающиеся до земель сих; не должен он, жаловаться на министров или генералов наших, ведая, что они исполняли только волю нашу".

Шагин-Гирея перевели в Калугу.

## ГЛАВА VII

Несмотря на сильное волнение, произведенное в Турции вестью о присоединении Крыма к России, Порты на первых порах нашла необходимым признать это присоединение, что и было сделано конвенциею 28 декабря 1783 года. Но это было только на первых порах. Чем более приходила Турция сама в себя после громового удара, тем яснее сознавала всю важность потери: последнее татарское царство подпало власти русской, подпал этой власти весь северный берег Черного моря, откуда враждебные корабли не преминут при первом случае явиться пред Константинополем, и флот действительно заводился. Предупредить страшную опасность, кинуться на врага, когда он не ожидает нападения, не приготовился к нему, — вот поступок, который мог быть внушен Порте отчаянием и вместе благородием. Летом 1787 года рейс-ефенди представил русскому послу в Константинополе Булгакову ультиматум, которым требовались: выдача молдавского господаря Маврокордата, удалившегося в Россию; отозвание русских консулов из Ясс, Букареста и Александрии; допущение турецких консулов во все русские гавани и торговые города; признание грузинского царя Ираклия, поддавшегося России, турецким подданным; осмотр всех русских кораблей, выходящих из Черного моря. Булгаков отверг требования, и Порты объявила войну России. Посол вопреки условию Кайнарджийского мира был заключен в Семибашенный замок. "Поселили меня в доме коменданта, — доносил Булгаков о своем заключении. — Поступают со мною учтиво, но не допускают никого не только ко мне, но даже и в крепость. Интернунций, сколь ни старался обо мне, всегда с презрением и даже с ругательством был отвергаем. В несчастии моем нашелся, однако, человек, который оправдал совершенно и мою доверенность, и свою преданность к высочайшему двору, а именно г. Гонфрис, датский агент. Он в самый день моего заключения изыскал средства прислать ко мне все нужное и находит оные поныне меня кормить, содержать, утешать и доставлять известие о происходящем. Сколь ни скоростижно меня схватили, успел я скрыть

наиважнейшие бумаги, цифры, архиву моего времени, дорогие вещи и проч. Казна также в целости, хотя и не велика"<sup>111</sup>.

Россия была застигнута врасплох; положение Потемкина, обязанного защищать Новую Россию, было крайне затруднительно; он не знал, куда обратиться, с чего начать; предвидел еще большие затруднения, если Пруссия и Англия станут действовать неприязненно; писал в Петербург, что надобно ласкать эти две державы. Екатерина старалась поддержать его дух: узнавши из его донесения об осаде Кинбурна турками, она писала: "Что Кинбурн осажден неприятелем и уже тогда четыре сутки выдержал канонаду и бомбардираду, я усмотрела из твоего собственноручного письма: дай Боже его не потерять, ибо всякая потеря неприятна; но положим так, то для того не унывать, а стараться как ни на есть отметить и брать реванж; империя останется империя и без Кинбурна; того ли мы брали и потеряли? Всего лутче, что Бог вливает бодрость в наших солдат там, да и здесь не уныли, а публика лжет в свою пользу, и города берет, и морские бои и баталии складывает, и Царьград бомбардирует. Я слышу все сие с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно и поправлено, если бы где и вырвалось чего неприятное. Усердие Александра Васильевича Суворова, которое ты так живо описываешь мне, весьма обрадовало; ты знаешь, что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость трудам, рвению и способности. Ласкать Англичан и Прусаков ты пишешь: кой час Питт узнал о объявлении войны, он писал к Воронцову, чтоб он приехал к нему, и по приезде ему сказал, что война объявлена и что говорят в Царьграде, что на то подущал Турок их посол, и клялся, что посол их не имеет на то приказания от великобританского министерства. Сие я верю, но иностранные дела Великобритании не управляемы ныне английским министерством, но самым ехидным королем по правилам ганноверских министров; его величество уже добрым своим правлением потерял 15 провинций, так мудрено ли ему дать послу своему в Цареграде приказание в противности интересов Англии? Он управляется мелкими личными страстями, а не государственным и национальным интересом. Касательно Прусаков, то им и поныне, кроме ласки, не оказано, но они хотят не ласки, и то может быть не король, а Герцберх. Молю Бога, чтобы тебе дал силы и здоровья и унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя

нет; для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкой деталь? Скажи, кто тебе надобен, я пришлю; на то даются фельдмаршалу генералы полные, чтоб один из них занялся мелочью, а главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, того я уверена; но во всяком случае не унывай и береги свои силы:

Бог тебе поможет и не оставит, и царь тебе друг и покровитель. Проклятое оборонительное состояние! И я его не люблю. Старайся его скорее оборотить в наступательное: тогда тебе да и всем легче будет и больных тогда будет менее; не все-на одном месте будут"[112](#).

Ипохондрия Потемкина не проходила: он прислал просьбу о позволении сдать начальство над войском Румянцеву, а самому приехать в Петербург. Просьба сильно не понравилась императрице, она отвечала: "Не запрещаю тебе приехать сюда, если ты увидишь, что твой приезд не расстроит тобою начатое либо производимое. Приказание к фельдмаршалу Румянцеву для принятия команды, когда ты ему сдашь, посылаю к тебе; вручишь ему оное как возможно позже, если последуешь моему мнению и совету; с моей же стороны пребываю хотя с печальным духом, но со всегдашним моим дружеским доброжелательством"[113](#).

Новое несчастье окончательно отняло дух у Потемкина. Любимое его создание, севастопольский флот был разбит бурей; сын счастья пришел в совершенное отчаяние, когда увидел, что начинает быть несчастливym: "Матушка государыня, я стал несчастлив; при всех мерах возможных, мною предприемлемых, все идет наыворот. Флот севастопольский разбит бурей; остаток его в Севастополе, все малые и ненадежные суда и, лучше сказать, неупотребительные; корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не Турки. Я при моей болезни поражен до крайности; нет ни ума, ни духу. Я просил о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую; не дайте чрез сие терпеть делам. Ей, я почти мертв; я все милости и имение, которое получил от щедрот ваших, повергаю стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу к графу Петру Александровичу (Румянцеву), чтоб он вступил в начальство, но, не имея от вас повеления, не чаю, чтоб он принял, и так Бог весть что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком; но что я был вам предан, тому свидетель Бог"[114](#). В отчаянии Потемкин писал, что надобно вывести войска из Крыма.



"Конечно, все это нерадостно, однако ничто не пропало, — отвечала ему Екатерина. — Крайне сожалею, что ты в таком крайнем состоянии, что хочешь сдать команду; сие мне более всего печально. Ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска из полуострова; если сие исполнишь, то родится вопрос: что же будет и куда девать флот севастопольский? Я думаю, что всего бы лучше было, если бы можно было сделать предприятие на Очаков либо на Бендеры, чтоб оборону оборотить в наступление. Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может. Все сие пишу к тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более еще имеет расположения, нежели я сама; но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. Ты нетерпелив, как пятилетнее дитя, тогда как дела, на тебя возложенные теперь, требуют терпения невозмутимого"<sup>115</sup>.

Победа Суворова над турками у Кинбурна несколько ободрила Потемкина. С грустью, но уже спокойно стал говорить он о потере флота, о своем отчаянии при этом: "Правда, матушка, что рана сия глубоко вошла в мое сердце. Сколько я преодолевал препятствий и труда понес в построении флота, который бы через год предписывал законы Царюгороду! Преждевременное открытие войны принудило меня предпринять атаковать раздельный флот турецкий с чем можно было; но Бог не благословил. Вы не можете представить, сколь сей нечаянный случай меня почти поразил до отчаяния".

Мы видели, что Екатерина указывала на Очаков, взятием которого надобно было оборонительную войну переменить на наступательную. В другой раз, после кинбурнского дела, императрица писала Потемкину: "Понеже Кинбурнская сторона важна и в оной покой быть не может, дондеже Очаков существует в руках неприятельских, то за неволю подумать нужно о осаде сей, буде инако захватить не можно по нашему суждению"<sup>116</sup>. "Кому больше на сердце Очаков, как мне? — писал Потемкин. — Несказанные заботы от сей стороны на меня все обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, если б я видел возможность. Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может — и к ней столь много приготовлений! Теперь еще в Херсоне учат минеров, как делать мины, также и прочему. До 100 000 потребно фашин, и много надобно габионов. Вам известно, что лесу нет поблизости. Я уже наделал в

лесах моих польских, откуда повезут к месту. Очаков нам нужно, конечно, взять, и для того должны мы употребить все способы верные для достижения сего предмета. Сей город не был разорен в прошлую войну; в мирное время Турки укрепляли его непрерывно. Вы изволите помнить, что я в плане моем наступательном, по таковой их тут готовности, не полагал его брать прежде других мест, где они слабее. Если бы следовало мне только жертвовать собою, то будьте уверены, что я не замешкаюсь минуты; но сохранение людей столь драгоценных обязывает идти верными шагами и не делать сумнительной попытки, где может случиться, что потеря в несколько тысяч пойдет не взявши, и расстроимся так, что, уменьша старых солдат, будем слабее на будущую кампанию. Притом, не разбив неприятеля в поле, как приступить к городам? Полевое дело с Турками Можно назвать игрушкою; но в городах и местах таковых дела с ними кровопролитны"<sup>117</sup>.

Преждевременное начатие войны и соединенные с ним невыгоды положения — естественно внушали желание как бы поскорее освободиться от войны. Но здесь важный вопрос: как другие державы будут смотреть на дело? Мы видели, что Потемкин сильно беспокоился насчет Пруссии и Англии. Легко было прийти к мысли повторить средство, уже испытанное в первую Турецкую войну, — отправить флот в Средиземное море; но как на это посмотрят морские державы — Англия и Франция? "Французские каверзы, — писала Екатерина Потемкину, — по двадцатипятилетним опытам мне довольно известны; но ныне опознали мы и английские, ибо не мы одни, но вся Европа уверена, что посол английский и посланник прусский Порту склонили на объявление войны. Теперь оба сии двора от сего поступка отступаются. Они же (англичане) никогда и ни в какое время ни на какой союз с нами согласиться не хотели в течение двадцати пяти лет. Франция, конечно и бесспорно, находится в слабом состоянии и ищет нашего союза; но колико можно долее себя менажировать (должно) с Франциею и с Англиею; без союза нам будет полезнее иногда, нежели самый союз тот или другой, понеже союз навлечет единого злодея более. Но в случае если бы пришлось решиться на союз с тою или другою державою, то таковой союз должен быть распоряден с постановлениями, сходными с нашими интересами, а не по дуде и прихотям той или иной нации, еще менее по их

предписаниям. Я сама того мнения, что войну сию укоротить должно коликo возможно. Советую вам на мой собственный счет закупить в Украине, или где удобнее найдете, тысяч на сто рублей или более баранов и быков и оными производить порции солдатам, по скольку раз в неделю как заблагорассудите. Буде никакой надежды к миру чрез зиму не будет, то как ранее возможно весной отправить отселе флот; нужно, чтобы оному от Англии не было препятствия. Конечно, когда мои двадцать кораблей пройдут Гибралтарский залив, тогда признаюсь, чтобы полезно быть могло, чтоб авангард его была эскадра французская и ариергард той же нации, а наши бы корабли составляли корп-дарме и так бы действовали и шли кончить войну, проходя проливы. За сию услугу Французам бы дать можно участие в Египте, а Англичане нам в сем не подмогут, а захотят нас вмешать в свои глупые и бестолковые германские дела, где не вижу ни чести, ни барыша, а пришло бы бороться за чужие интересы; ныне же боремся по крайней мере за свои собственные; и тут кто мне поможет, тот и товарищ"<sup>118</sup>.

Но помощников и товарищей не являлось, а затруднения увеличивались беспрестанно. 1788 год начался очень печально: к страшной дороговизне присоединились болезни. "Дай Боже, чтоб болезни скорее пресеклись, — писала императрица Потемкину. — Дороговизна во всем ужасная; дай Боже силу снести все видимые и невидимые хлопоты"<sup>119</sup>. Теперь Потемкин в свою очередь написал ободрительное письмо: "Болезни, дороговизны и множество препятствий заботят меня, и к тому совершенное оскудение в хлебе. Но и в Петербурге, как изволите писать, недужных много. В сем случае, что вам делать? Терпеть и надеяться неизменно на Бога. Христос вам поможет. Он пошлет конец напастям. Пройдите вашу жизнь, увидите, сколько неожиданных от Него благ по несчастью вам приходило. Были обстоятельства, где способы казались пресечены пути (sic), — вдруг выходила удача. Положите на Него всю надежду и верьте, что Он непреложен. Пусть кто как хочет думает, а я считаю, что Апостол в ваше восшествие (на престол) припал не на удачу: "вручаю вам Фиву, сестру вашу сушу, служительницу церкви, да примете ю о Господе достойне святым". Людям нельзя испытывать, для чего попускает Бог скорби; но знать надобно то, что в таких случаях к Нему должно обращаться. Вы знаете меня, что во мне сие не суеверие производит".

В затруднительных обстоятельствах, в каких находилась тогда Россия, самым выгодным представлялся Потемкину союз с ближайшим государством, с Польшею. Еще в то время, когда рассуждалось о пользе австрийского союза для войны Турецкой и Безбородко указывал, что со стороны Польши нечего бояться препятствий, Потемкин заметил: "Справедливость требует, по увенчании успехами предприятий ваших, уделить и Польше, а именно: землю, лежащую между рек Днепра и Буга". Теперь, 15 февраля 1788 года, Потемкин писал императрице: "Примите мое усерднейшее предложение, решите с Польшей, обещаите им приобретение; несказанная польза, чтоб они были наши; ей-ей, они тверже будут всех других; привяжите богатых и знатных, почтив их быть шефами наших полков или корпусов; они сами к России прилепятся и большие деньги от себя в пользу полков наших употребят".

Екатерина не разделяла надежд Потемкина, слишком во всем дававшего волю своему пламенному воображению; однако употребила все средства для склонения Польши к союзу. Она отвечала Потемкину: "Касательно польских дел, в скором времени пошлются приказания, кои изготовляются, для начатия соглашения: выгоды им обещаны будут; если сим привяжем Поляков и они нам будут верными, то сие будет первый пример в истории постоянства их. Если кто из них (исключительно пьяного Радзивилла и гетмана Огинского, которого неблагодарность я уже испытала) войдти хочет в мою службу, то не отрекусь его принять; наипаче же гетмана графа Браницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и помнит, что она Русская; храбрость же его известна; также воеводу русского Потоцкого охотно приму, потому что он честный человек и в нынешнее время поступает сходственно совершенно с нашим желанием. Впрочем, Поляков принять в армию и сделать их шефами подлежит рассмотрению личному, ибо ветренность, индисциплина или расстройство и дух мятежа у них царствует. Впрочем, стараться буду, чтобы соглашение о союзе не замедлилось, дабы нация занята была. Дай Боже, чтоб болезни прекратились; если роты сделать сильнее, то и денег и людей более надобно; вы знаете, что последний набор был со ста душ; деньгами же стараемся быть исправны, налогов же наложить теперь не время, ибо хлебу недорода; и так недоимок не малое число. Признаться должно, что мореходство наше еще слабо и люди

непривычны и к оному мало склонны; авось-либо в нынешнюю войну лучше притравлены будут. Морские командиры нужны паче иных"<sup>120</sup>.

В это время, когда Потемкин так торопился с Польшею, венский двор сообщил петербургскому о беспокойствах своих относительно намерений Пруссии приобрести земли от Польши. Кауниц предлагал вооружить поляков против Пруссии обещанием возврата уступленных Пруссии по разделу земель. Но в Петербурге нашли, что неблагоприятно таким поступком вооружать против себя прусского короля. Безбородко подал записку: "В условиях с Австрией было поставлено, что Россия подаст помощь Австрии, если Пруссия или Франция нападут на нее. Но Венский двор сверх диверсии от короля прусского предполагает другой случай, тот, если бы сей государь решился, воспользуясь войною нашею с Портой, сделать без обнажения меча приобретение на счет Польши или где инде. Целость настоящих владений польских предохранена ручательством ее императорского величества. От решения ее величества зависит, следует ли принять покушение короля прусского присвоить Данциг и какую-нибудь часть земли польской за нарушение мира и тому воспрепятствовать всеми силами. Нельзя не признаться, что таковое без войны приобретение дало бы королю прусскому гораздо выгоды более, нежели нам, кои должны нести убытки в людях и деньгах. Можно будет Венскому двору ответить, что мы уже подали им достаточные уверения в исполнении обязательств наших на случай диверсии короля прусского; что относительно подозрения в завладении им частию из Польши, святость и сила разных трактатов, ручательство наше сей республике утвердивших, да и самые интересы наши могут совершенным образом Венский двор обнадежить, что мы признаем подобное покушение за противное миру и, поколику возможность дозволит, тому воспротивимся. Кауниц, упоминая с похвалою о намерении нашем заключить союзный трактат с Польшей, внушает о представлении Полякам перспективы на возвращение от короля прусского, в случае враждебных его покушений, той части, которая уступлена ему отдельным трактатом. Известно, что подобные дела в Польше негоцируются с целым почти народом; каким же образом можно, прежде настояния случая, делать подобные обнадеживания? Сие значило бы совершенно неприязненные намерения наши и вызов короля прусского к войне, которую мы теперь отдалять должны".

Хлопотали об отдалении войны Прусской, потому что опасность начала грозить со стороны Швеции. Здесь царствовал двоюродный брат императрицы Екатерины по матери Густав III, человек, способный начинать важные дела, но не способный рассчитывать средства к их успешному окончанию. В 1772 году ему удалось усилить королевскую власть на счет шляхетской демократии, ослаблявшей Швецию с 1720 года. Это не могло, разумеется, нравиться в Петербурге: по господствующему правилу тогдашней политики каждая держава должна была стараться о том, чтобы в соседней державе сохранялась такая форма правления, которая бы давала как можно менее силы ее правительству и, таким образом, делала ее безопасною для соседей. Так, соседи Польши давно уже вносили в свои договоры статью — поддерживать господство шляхетской демократии в Польше; так, Россия, Дания и Пруссия обязаны были друг перед другом трактатами поддерживать и в Швеции форму правления, установленную там с 1720 года. Несмотря на то, родственники — императрица русская и король шведский — продолжали находиться в самых приятных отношениях. Густав III посетил Екатерину в Петербурге в 1777 году; когда в 1782 году у короля родился второй сын, он просил Екатерину быть восприемницей, причем напоминал о слышанной им от нее русской пословице, что только два сына — сын. Императрица отвечала, что он ошибается, пословица говорит: "Один сын не сын, два сына — полсына, три сына — сын". В следующем 1783 году у родственников было условлено свидание в Фридрихсгаме, в Финляндии; но Густав упал с лошади и разбил себе руку, отчего свидание и не состоялось. Любезности продолжались: известно, что Екатерина любила заниматься русской историей, которая была в связи с шведскою, поэтому императрица просила короля прислать к ней шведских исторических книг. Густав поспешил исполнить просьбу и к посылаемым книгам приложил реестр с кратким изложением содержания каждой книги; он писал, что реестр составлен им самим. Екатерина отвечала: "Я сомневаюсь, чтобы ваши ученые знали лучше вас шведскую историю. С этих пор я смотрю на ваше величество не как на короля — короли, как все знатные особы, знают все, не учившись ничему, — но я смотрю на вас как на знатока истории, как на одного из самых достойных членов моей Академии".

Но отношения переменились при начале войны Турецкой. Густав возбудил в Швеции сильное и основательное подозрение, что он намерен предпринять еще новые перемены в форме правления, еще более усилить свою власть. Это повело к тому, что на сейме 1786 года он встретил сильную оппозицию и не мог провести своих предложений. Королю хотелось поправить дела воинскими подвигами, приобрести силу и значение Густава-Адольфа, опереться на победоносное войско и на всех тех, которым дорога слава отечества. Удобный случай к тому представила война России с Турцией, — война, вследствие которой северо-западные границы России были обнажены от войск. Густав думал, что ему легко будет напасть с суши и с моря на беззащитный Петербург и вынудить у Екатерины уступку завоеваний Петра Великого. Шведский вопрос примкнул к Восточному.

Когда русский посол в Стокгольме граф Разумовский дал знать своему двору о враждебных движениях в Швеции, Екатерина написала: "Императрица Анна Иоанновна, имея в 1738 или 39 году пребывание свое летнее в Петергофе, получила известие, что Шведы намереваются сделать высадку войск на здешнем берегу, приказала сделать Шведам объявление в такой силе, что буде осмелятся учинить подобное чего, то что бы за верное полагали, что она в самом Штокгольме камень на камне не оставит. По твердости сего объявления или по иным причинам, остановилась тогда назойливость шведская. Но то неоспоримо, что доходы империи и ее силы морские и сухопутные, коммерция и многолюдство были против теперешнего едва ли не в половине и считалось несколько губерний менее теперешнего, чего сообщить графу Разумовскому, дабы он легкомыслию, ветренности, назойливости и лживо рассеянными слухам знал чем преграду учинить".

В то время как с севера начали приходить зловещие слухи, на юге великолепный князь Тавриды опять запел печальную песню о необходимости покинуть Тавриду. Екатерина отвечала ему: "На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу; об нем идет война, и, если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь, и все труды, и заведение пропадут, и паки восстаноятся набеги татарские на внутренние провинции, и кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды паки упражнены будем и не будем знать,



куда девать военные суда, кои ни в Днепр, ни в Азовское море не будут иметь убежища; ради Бога, не пущайся на сии мысли, коих мне понять трудно и мне кажется неудобны, понеже лишают нас многих приобретенных миром и войною выгод; когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтобы держаться за хвост? В Польшу давно курьер послан и с проектом трактата, и думаю, что сие дело уже в полном действии. Великий князь (наследник Павел Петрович) собирается к вам в армию, на что я согласилась, и думает отселе выехать 20 июня, буде шведские дела его не задержат; буде же полоумный король шведский начнет войну с нами, то великий князь останется здесь"<sup>121</sup>.

С шведской стороны начались враждебные демонстрации с целию вынудить русских сделать что-нибудь такое, на что можно было бы указать как на нарушение мира с русской стороны. Но Густав ошибся в расчете: с русской стороны не было ни малейшего враждебного движения. Екатерина все еще надеялась, что дело кончится одними демонстрациями. "Мне кажется, они не задерут, а останутся при демонстрации, — писала она к Потемкину. — Осталось решить лишь единый вопрос: терпеть ли демонстрации? Если бы ты был здесь, я б решилась в пять минут что делать, переговора с тобою. Если бы следовать моей склонности, я б флоту Грейгову да эскадре Чичагова приказала разбить в прах демонстрацию: в сорок лет Шведы паки не построили бы корабли; но, сделав такое дело, будем иметь две войны, а не одну. Начать нам и потому никак не должно, что если он нас задерет, то от шведской нации не будет иметь по их конституциям никакой помощи, а буде мы задерем, то они дать должны: так полагаю, чтоб ему дать свободное время дурить, денег истратить и хлеб съесть"<sup>122</sup>.

В то время как Catherine le Grand<sup>123</sup> (по выражению принца де Линя) умела сдерживать свою склонность, побуждавшую ее разбить в прах демонстрацию, у Густава III уже закружилась голова: он уже приглашал своих придворных дам на бал, который собирался дать им в Петергофе, приглашал их к молебну в петербургский собор; ему уже представлялось, что его имя разносится по странам Азии и Африки как мстителя за Оттоманскую империю. Шведы задрали: король явился в Финляндию и отправил к русскому вице-канцлеру графу Остерману под видом условий мира насмешливый вызов к войне. Король требовал не более не менее как возвращения Швеции всех земель,



уступленных ею по Нистадтскому и Абовскому мирам, возвращения Порте Крыма и т. д.

"Мы отроду не слыхали жалоб от него, — писала Екатерина Потемкину, — и теперь не ведаю, за что раззлился; теперь Бог будет между нами судиею. Здесь жары преужасные и духота, я переехала жить в город. У нас в народе превеликая злоба против шведского короля сделалась, и нет рода брани, которым бы его не бранили большие и малые; солдаты идут с жадностью, говорят: вероломца за усы приведем; другие говорят, что войну окончат в три недели, просят идти без отдыха; одним словом, диспозиция духов у нас и в его войске в моей пользе. Трудно сие время для меня, это правда; но что делать? Надеюсь в короткое время получить великое умножение, понеже отовсюду ведут людей и вещей"<sup>124</sup>.

После сражения при Хохланде Екатерина писала: "Усердие и охота народная против сего неприятеля велика; не могут дожидаться драки; рекрут ведут и посылают отовсюду; мое одно село Рыбачья Слобода прислала добровольных охотников 65, а всего их 1300 душ. Царское Село возит подвижные магазины. Тобольскому полку мужики давали по 700 лошадей на станции. Здешний город дал 700 не очень хороших рекрут добровольною подпиской; как услышали сие на Москве, пошла подписка, и Петр Борисович (Шереметев) первый подписал 500 человек. Остров Эзель прислал (ты скажешь: куда конь с копытом, туда и рак с клешнею), дворянство и жители, что сами вооружатся и просят только 200 ружей и несколько пороха. Здесь жары так велики были, что на термометре на солнце было 39°. В сей духоте, в городе сидя, я терпела духоту еще по шведским делам. В день баталии морской, 6 июля (при Хохланде), дух пороха здесь, в городе, слышен был: "ainsi, j'ai aussi senti la poudre"<sup>125</sup>.

Но и фуфлыга-богатырь (как называла Екатерина Густава III) также испытал духоту в Финляндии. Когда он дал приказ войскам своим напасть на Фридрихсгам, офицеры объявили, что не будут исполнять этого приказания, потому что несправедливая война с Россией начата без согласия чинов, вопреки конституции. Вследствие этого шведские войска отступили от Фридрихсгама и Нейшлота, и король возвратился в Стокгольм. Мало этого: финляндские войска отправили майора Егергорна в Петербург для непосредственных переговоров с императрицею. Екатерина так писала об этом

Потемкину: "Прислан ко мне от финских войск депутат майор Егергорн с мемориалом на шведском языке, что они участия не имеют в неправильно начатой королем войне против народного права и их законов, и много еще от них словесных предложений. Мой ответ будет в такой силе, что если они изберут способы те, кои их могут сделать от Шведов свободными, тогда обязуюсь их оставить в совершенном покое и переведаюсь со Шведами"<sup>126</sup>.

Не на радость возвратился Густав III и в Швецию: здесь датчане вследствие союза с Россией напали на его владения; но Пруссия и Англия поспешили к нему на помощь — не с войсками, разумеется; они угрозами заставили Данию удержаться от нападения на Швецию; Пруссия объявила, что если Дания будет продолжать Шведскую войну, то прусские войска вступят в Голштинию.

Наконец прусский король предложил свое посредничество в примирении России с Швецией. Фридрих-Вильгельм извинял Густава III — представлял, что он начал войну по недоразумениям; изъявлял надежду, что Россия заключит с Швецией мир, не требуя никаких вознаграждений; представлял, что король шведский первый обнаружил склонность к примирению. Фридрих-Вильгельм предлагал свое посредничество и в примирении с Турцией и, чтобы склонить к принятию этого посредничества, указывал на свой союз с Англией и Голландией; упоминал об интересе своем сохранить равновесие на севере и востоке. Императрица передала прусские предложения на рассмотрение Совету, собранному 18 сентября. Совет нашел в этих предложениях не слова, а вещи колкие:

"Король говорит в первом своем рескрипте о миролюбивых короля шведского расположениях, признавая сам их недостаточными к учинению из того употребления; но во втором выражает пристрастно, будто сей государь вовлечен в войну недоразумением, а весь свет знает, что он получил от Порты деньги и, в надежде получать оные, решился напасть на Россию. Упрежая всякое дружеское изъяснение, которое с нашей стороны иметь с ним старались, присоединил к внезапному вероломству вредное хотение отторгнуть от России многими иждивениями и кровию предков приобретенные земли. Но извинениям таковым по себе непристойным прибавил король прусский хуже того изречение, что ожидает от двора нашего согласия восстановить мир с Швецией в том состоянии вещей, в каком были

оне до воспоследовавшего разрыва. Намерение таково доказывает явное неуважение к тягости оскорбления, причиненного ее императорскому величеству королем шведским, и ни во что поставляются его покушения на вред империи. Вместо удовлетворения, соразмерного обиде, король прусский понимает оным то, что король шведский первый отзыв учинил к миру. Но какой государь, чувствующий силу, может поступить на такую низость и оставить пример соседу нападать, в чаянии при всякой неудаче покрыть злое дело единым токмо хотением мира? Еще сия неприличность не столько бы нас трогала, когда бы король прусский вязался только за одну Швецию, но он распространяет свое настояние и на войну нашу турецкую! Понять не трудно, что, говоря о союзе своем с Англией и Голландией, упоминая об интересе своем же сохранить равновесие на севере и востоке, он страшит нас общею от сих держав препоною в успехах наших в том и здешнем краях. Посему в виде медиатора зрится восстающий нетерпимый повелитель не токмо на настоящие наши дела, но и на будущие, которые Россия в свою оборону или для пользы государства предпринять бы могла.

Соображая таковой подвиг во всех его следствиях, совет весьма удален согласиться на предлагаемую от короля прусского настоящую медиацию; ибо податливость на оную предосудительна достоинству империи Всероссийской и царствованию ее величества, чрез 27 лет великою славою сопровождаемому. Что уничтожительнее оной крайности, как приять великой империи закон от прусского государя? Всякое уважение к нуждам и к тягости новой войны при сем размышлении исчезает. А по сему всемерно следует медиации сего государя отклонить; хотя, впрочем, с твердостью, но в изъяснениях на сей раз дружеских, можно бы во 1) сказать, что ее императорское величество по дружбе, толь долголетне пребывающей, ожидать не могла, чтобы предлагаемая медиация исключала всякое должное удовлетворение государю и государству за учиненные оскорбления или уважение приобрести безопасность границ на будущее время от подобных насильств; 2) сказать о невозможности трактовать с королем шведским, поелику на его слова и обеты положиться нельзя; 3) по шведским делам предложены добрые услуги и со стороны двора Версальского: но как ее величество состоит в союзных обязательствах по шведской войне с королем датским, а против Турков с императором

римским, то без предварительного сношения с сими союзниками не может на таковые предложения дать полного ответа.

Думая, что король прусский не удовольствуется нашими объяснениями, совет полагает, что турецкую войну должно обратить в оборонительную, приготовляться к войне с Пруссией и приобретать союзников, заключить союз с Францией и другими бурбонскими домами, ибо на стороне Пруссии Англия и Голландия. Ни унывать, ни бояться не должно, Россия без всякого напряжения имеет 300 000 боевого войска". Мнение подписали: Брюс, Панин, Вяземский, Остерман, Воронцов, Стрекалов, Завадовский. Граф Андрей Шувалов не согласился, принимая в соображение тяжелое состояние финансов, и подал мнение: объявить Англии и Пруссии, что мы не хотим от Швеции никаких земель, а требуем только восстановления прежней формы правления, Россиею гарантированной; Англии то не может быть противно. В то же время открыть с Англиею негоциацию о сближении торговым трактатом. Союз с Франциею вреден: она тесно связана с Швецией и Турцией.

Через несколько дней пришла депеша от Штакельберга из Варшавы, что прусский двор явно препятствует собранию сейма и утверждению союза с Россиею, толкует о вооруженном посредничестве вместе с Англиею. Прочтя депешу, Екатерина сказала: "Буде два дурака не уймутся, то станем драться. Графа Румянцева-Задунайского обратим для наступательной войны на Пруссию, чтоб отнять те земли, что я ему отдала. Князь Потемкин-Таврический будет действовать оборонительно"<sup>127</sup>. Из этих слов было видно, что императрица не согласится с мнением Шувалова; тем прискорбнее было для нее услыхать, что граф Дмитриев-Мамонов разделяет мнение Шувалова. В сильном раздражении почти сквозь слезы сказала Екатерина: "Неужели мои подданные, видя делаемые мне обиды от королей Прусского и Английского, не смеют сказать им правды? Разве они им присягали?" <sup>128</sup>.

Дипломатическая война между Россией и Пруссией уже началась в Польше, вследствие чего здесь между поляками уже образовались два лагеря, русский и прусский. Прусский посланник Бухгольц получил от своего двора значительную сумму денег для составления прусской партии. Прусский министр Шуленбург писал великому гетману Литовскому Огинскому, что пришло время дать Польше

возможность играть роль и самому Огинскому участвовать в этой роли. Для объяснения, что значат эти слова, Огинский отправил в Берлин адъютанта, который был представлен королю, и Фридрих-Вильгельм II прямо сказал ему: "Я желаю Польше добра, но не потерплю, чтоб она вступила в союз с каким-нибудь другим государством. Если республика нуждается в союзе, то я предлагаю свой с обязательством выставить 40 000 войска на ее защиту, не требуя для себя ничего за это". Министр Герцберг прибавил, что король может помочь Польше в возвращении Галиции от Австрии, лишь бы поляки не затрагивали турок.

В октябре 1788 года собрался в Варшаве сейм, которому был предложен союз с Россиею при решении Восточного вопроса. Россия обязывалась вооружить на свой счет и содержать во все продолжение войны двенадцатитысячный корпус польского войска и даже после заключения мира в продолжение шести лет выплачивать на его содержание ежегодно по миллиону польских злотых; предложены были большие торговые выгоды; дано обязательство вытребовать такие же выгоды и от Турции при заключении мира. Король был всей душою за этот союз. Но Бухгольц подал сейму ноту, что его король не видит для Польши ни пользы, ни необходимости в союзе с Россиею; что не только Польша, но и пограничные с нею владения прусские могут пострадать, если республика заключит союз, который даст туркам право вторгнуться в Польшу. Если Польша нуждается в союзе, то его прусское величество предлагает ей свой; его прусское величество употребит все старания, чтобы избавить знаменитую польскую нацию от всякого чужестранного притеснения и от нашествия турок, обещает всякую помощь для охранения независимости, свободы и безопасности Польши.

Чего же хотела, собственно, Пруссия? Противодействовать России и Австрии на счет Турции; противодействовать успехам этого ненавистного для нее союза между двумя соседними империями; отомстить России, показать ей, что она может только потерять от перемены прусского союза на австрийский. Но кроме этого у Пруссии были еще другие цели. Россия и Австрия вступили в войну с Турциею для увеличения своих владений на ее счет: пусть их достигнут этой цели, если и Пруссия при этом также увеличит свои владения. Фридрих II воспользовался первою Турецкою войною — и получил

часть Польши; надобно воспользоваться второю Турецкою войною и достигнуть того же и таким же образом, то есть без войны, дипломатическим путем, как произведен был раздел Польши при Фридрихе II. Для этого министр Фридриха-Вильгельма II хочет заключить союз с Портою, которая, как добрая союзница, должна взять на себя издержки увеличения прусских владений, а именно: Россия и Австрия должны получить земли от Турции; за это Россия уступит клочок Финляндии Швеции, Австрия — Галицию Польше; Польша, получив Галицию, должна уступить Данциг и Торн Пруссии; а Швеция, получив вознаграждение от России, должна уступить Пруссии же свою Померанию. Может быть, Турция не будет довольна? Турция останется довольна: за все свои потери она получит громадное вознаграждение: четыре державы — Россия, Пруссия, Австрия и Англия — гарантируют на будущее время целостность остальных ее владений.

В Польше ничего не знали об этих соображениях. Здесь прусские деньги приготовили умы и сердца, а великодушные обещания бескорыстной поддержки, возбужденная надежда с помощью Пруссии освободиться из-под влияния России, надежда играть роль — покончили дело. Невозможно было описать того восторга, с каким была встречена нота Бухгольца; все, что было способно увлекаться громкими словами, блестящими надеждами, бросилось в прусский лагерь. Король был за Россию: следовательно, все люди, ему недоброжелательные, должны были стать за Пруссию. Королевская и русская партия пали, число и дерзость оппозиции возросли; Штакельберг нашел невозможным провести союзный русский трактат<sup>129</sup>, ибо никто из самых приверженных к России людей не решился бы его поддерживать.

Сейм, преобразовавшийся в конфедерацию, отвечал Бухгольцу на его ноту, что конфедерация вовсе не имеет в виду союза с Россиею, но восстановление свободной формы правления и принятие мер, необходимых для защиты страны. Первою подобною мерою, разумеется, должно было быть увеличение числа войска, и Валевский, староста Серецкий, предложил увеличить число войска до 100 000. Взрыв рукоплесканий, слезы, объятия были ответом на это предложение. Все ликовало, как будто бы стотысячная армия уже маневрировала под стенами Варшавы, и Европа с уважением смотрела

на Польшу; никто не подумал о безделице: чем содержать стотысячное войско — доходы простирались до 18 миллионов злотых, а на одно содержание стотысячной армии надобно было 50 миллионов! В пылу восторга многие предложили добровольные пожертвования; но когда восторг охладел — пожертвования оказались ничтожными. Четыре года потом толковали об увеличении податей и налогов, не дотолковались до удовлетворительного результата — и число войска не превысило 60 000 человек.

После решения о стотысячном войске пошла ломка. Военное управление было отнято у Постоянного совета и поручено совершенно независимой Военной комиссии под очередным председательством четырех гетманов. Сейм объявлен бессрочным, чтобы иметь время привести в исполнение все преднамеренные реформы. Штакельберг объявил, что императрица будет смотреть на это нарушение гарантированного ею устройства как на разрыв дружественных отношений между Россией и Польшею. Сейм отвечал нотою, в которой отвергал претензию России ограничивать верховные права республики; в другой ноте сейм потребовал, чтобы польские владения были очищены от русских войск. Ветер, раздувавший весь этот пожар, дул из Берлина; там прямо высказывались русскому посланнику: "Что взяли, отставши от нас и соединившись с Австриею? Если бы были с нами, то все бы получили; и теперь если опять будете с нами, то все получите". Герцберг, пожимая руку посланнику императрицы Нессельроду, говорил: "Если бы на нас положились, то и Крым, и Очаков были бы ваши". Екатерина отметила против донесения Нессельрода: "Наместник Божий, вселенною распоряжающий: зазнались совершенно".

Когда русский двор дал знать берлинскому, что императрица отступает от союза с Польшею, Герцберг отвечал: "Если императрица, по свойству великой души своей, отступает от союза, могущего нанести Польше вред, то король, его государь, надеется, что войска русские ни входить, ни проходить, ни довольствоваться в Польше не будут, чтоб не дать повода и туркам то же делать". Екатерина отвечала: "Поступок сей Прусского двора похож на поступки Шведские нынешнего года. Я говорила, чем больше им уступать, тем более они требуют"<sup>[130](#)</sup>.



6 декабря Потемкин взял Очаков, и это торжество, конечно, не могло заставить его согласиться, что надобно ограничиться оборонительной войной с Турцией и сосредоточить все силы на севере. Он писал императрице в духе шуваловского предложения: "Честь царствования требует оборота критического нынешнего положения дел. Все подданные ожидают сего. Я не нахожу невозможности, лишь бы живее действовать в политике и препоручить людям преданным. Во-первых, усыпить прусского короля, поманя его надеждою приобрести прежнюю доверенность, что можно сделать, изъясняясь с ним ласково о примирении нас с Турками, согласясь тут с императором для отнятия у него подозрения. Полякам ежели показать, что вы намерялись им при мире с Портою доставить часть земли за Днестром, они оборотятся все к вам и оружие, что готовят, употребляют на вашу службу. Ускорите с Англиею поставить трактат коммерческий; сим вы обратите к себе нацию, которая охладела противу вас. Напрягите все силы успеть в сих двух пунктах, тогда не только бранить, но и бить будем прусского короля. Иначе прусский король легко отделит противу цесаря 80 000 своих, да 25 00 °Саксонцев, 80 000 против нас да поляков с 50 000. Извольте подумать, чем против сего бороться, не кончив с Турками? Я первый того мнения, что прусскому королю заплатить нужно, но помирись с Турками". Относительно Франции Потемкин был пророком: "La France est en delire<sup>131</sup>,- писал он, — и никогда не поправится, а будет у них хуже и хуже".

Увещания с юга приходились не ко времени. Во-первых, легко было Потемкину из Очакова советовать усыпить прусского короля: но в Петербурге хорошо видели всю трудность, невозможность этого дела; во-вторых, раздражение, произведенное тоном прусских предложений и положением прусского правительства, ставшего на всех дорогах, чтобы мешать России, — раздражение было чрезвычайное. Императрица в ответе своем дала заметить Потемкину: возможное ли дело при настоящем антагонизме Австрии и Пруссии сблизиться с последнею, не разрывая союза с первою, — союза, заключение которого сам Потемкин больше всех советовал. Потемкин оскорбился, что в нем предположили колебание мыслей. "Ежели мысль моя о ласкании короля прусского не угодна, — писал он, — на сие могу сказать, что тут нейдет дело о перемене союза с императором, но



о том, чтобы, лаская его, избавиться препятствий, от него быть могущих. А Вы изволите упоминать, что союз с императором есть мое дело: сие произошло от усердия; от одного же истекал и польский союз; в том виде и покупка имения Любо-мирского учинена<sup>132</sup>, дабы, сделавшись владельцем, иметь право входить в их дела и в начальство военное. Мои советы происходили всегда от ревности; ежели я тут не угодил, то впредь, конечно, кроме врученного мне дела, говорить не буду".

Несмотря на счастливое, по-видимому, окончание 1788 года, новый 1789 год не принес никаких благоприятных перемен. Перед взятием Очакова, жалуюсь на короля прусского и его союзников, Екатерина писала Потемкину: "Они позабыли себя и с кем дело имеют. Возьми Очаков и сделай мир с Турками; тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам". Очаков был взят; но блестящие надежды, которые возлагались на это событие, не оправдались. Затруднительное положение обоих союзных императорских дворов весною 1789 года всего лучше очерчено в письме Иосифа II к Екатерине: "Прусские интриги достигают в Константинополе все больших и больших результатов. Безумие англичан и голландцев; энтузиазм поляков к королю Прусскому; Дания, силою принужденная к миру; король Шведский, дерзающий на все и который успел усилить свою власть и свои средства; эта неудобная конфедерация германская; печальное состояние Франции и ложные принципы Испании — все это мудрость вашего величества сумеет оценить и найдет средства противодействовать злу. Мне остается только повторить уверение, что буду всегда готов помогать вашему величеству всеми моими силами"<sup>133</sup>.

Густав III Шведский, освобожденный Англиею и Пруссиею от Датской войны, действительно успел провести на сейме такие постановления, которые делали власть его почти неограниченною; сейм взял на себя королевские долги и дал Густаву новые денежные средства к продолжению Русской войны. Война эта и в 1789 году кончилась неудачно для шведов; но они не заключали мира, и, следовательно, Россия нисколько не была облегчена с этой стороны; а тут война грозила ежеминутно со стороны Пруссии и Польши. "С Прусаком употребляется что возможно, — писала Екатерина

Потемкину, — но с врагами вообще нет ничего исцелительнее, как их бить". Но бить четырех врагов зараз было слишком трудно. На юге, несмотря на блистательные победы Суворова, дело не подвигалось к концу; от австрийцев была плохая помощь; Потемкин жаловался на них. На эти жалобы Екатерина писала: "Каковы цесарцы бы ни были и какова ни есть от них тягость, но она будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая сопряжена во всем тем, что в свете может только быть придумано, поносным и несносным. Мы Прусаков ласкаем; но каково на сердце терпеть их грубости и ругательством наполненные слова и дела!"<sup>134</sup> В одной из записок императрицы, относящихся к этому времени, читаем следующие слова: "Молю Всевышнего, да отмстит Прусаку гордость. В 1762 году я его дядюшке возвратила Пруссию и часть Померании, что не исчезнет в моей памяти. Не забуду и то, что двух наших союзников он же привел в недействие; что со врагами нашими заключил союз; что Шведам давал деньги и что с нами имел грубые и неприлично повелительные переписки. Будет и на нашу улицу праздник авось либо!"

Но праздника надобно было еще подождать. Союзник Иосиф II умирал, изнемогая под тяжестью неприятностей, видя, как его реформы возбудили повсюду волнения, ненависть, видя необходимость отказаться от некоторых из них. Екатерина питала сочувствие к Иосифу, но не одобряла способа его действий при реформах, не одобряла излишней стремительности, неровности и мелочности: "Император сам ко мне пишет (уведомляла Екатерина Потемкина), что он очень болен и печален по причине потери Нидерландии. Если в чем его оправдать нельзя, то в сем деле: сколько тут перемен было! То он от них все отнимал, то возвращал, то паки отнимал и паки отдавал. О союзнике моем я много жалею, и странно, как, имея ума и знания довольно, он не имел ни единого верного человека, который бы ему говорил пустяками не раздражать подданных; теперь он умирает ненавидим всеми. Венгерцы мать его спасли в 1740 году от потери всего: я бы на его месте их на руках носила"<sup>135</sup>.

Австрийский союз принес мало пользы и при Иосифе; нельзя было ждать лучшего при его преемнике Леопольде, а между тем Пруссия продолжала находиться относительно России в угрожающем и раздражающем положении, и две войны — Турецкая и Шведская —

не обещали скоропрекратиться. Печально начался 1790 год: мирное предложение, сделанное Россией Швеции посредством испанского посланника, осталось без действия; Польша заключила союз с Пруссией. "Мучит меня теперь несказанно (писала Екатерина Потемкину), что под Ригою полков не в довольном числе для защищения Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь почти ежечасно ожидать надлежит. Король шведский мечется повсюду, как угорелая кошка. Долго ли сие будет, не ведаю; только то знаю, что одна премудрость Божия и Его всемогущие чудеса могут всему сему сотворить благой конец. Странно, что воюющие все хотят и им нужен мир, Шведы же и Турки дерутся в угодность врага нашего скрытного, нового европейского диктатора (короля Прусского), который вздумал отнимать и даровать провинции, как ему угодно: Лифляндию посулил с Финляндиею Шведам, а Галицию Полякам; последнее заподлинно, а первое моя догадка, ибо шведский король писал к испанскому министру, что, когда прусский король вступит в войну, тогда уже без его согласия нельзя мириться, да и теперь ни на единый пункт, испанским министром предложенный, не соглашается, а требует многое себе по-прежнему"<sup>136</sup>. На другой день императрица писала: "Если визирь выбран с тем, чтобы не мешать миру, то, кажется, ты нам вскоре доставишь сие благополучие; с другой же стороны дела дошли до крайности. Еслиб в Лифляндии мы имели корпус тысяч до 20, то бы все безопасно было, да и в Польше перемена ускорила".

Весною Густав III возобновил неприятельские действия. На сухом пути они были по-прежнему незначительны; но на море произошли два важных сражения, представившие быструю перемену военного счастья; в первом русские одержали блистательную победу над шведским флотом, запертым в Выборгском заливе; во втором — потерпели поражение от шведов: "После сей, прямо славной победы (писала Екатерина Потемкину) шесть дней (спустя) последовало несчастное дело с гребною флотилиею, которое мне столь прискорбно, что после разнесения Черноморского флота бурею ничто столько сердце мое не сокрушило, как сие"<sup>137</sup>.

Но последняя победа дала только возможность Густаву III с честью окончить войну, для продолжения которой он не имел средств. Поэтому новое предложение России было принято — и 3 августа 1790 года заключен был Верельский мир: границы обоих государств

остались те же, какие были до войны; Густав обязался не вмешиваться в дела турецкие; Екатерина отказалась от права вмешиваться во внутренние дела шведские. "Велел Бог одну лапу высвободить из вязкого места (писала Екатерина Потемкину). Сего утра я получила от барона Игельстрема курьера, который привез подписанный им и бароном Армфельдом мир без посредничества. Отстали они, если сметь сказать, моею твердостью личною одною от требования, чтоб принять их ходатайство у Турок"<sup>138</sup>. Оставалось покончить с последними. "Одну лапу мы из грязи вытащили; как вытащим другую, то пропоем аллилуйя", — читаем в другом письме<sup>139</sup>. Потемкин писал, что стал спать покойно с тех пор, как узнал о мире со шведами. Императрица отвечала: "Ты пишешь, что спокойно спишь с тех пор, что сведал о мире с Шведами; на сие тебе скажу, что со мною случилось: мои платья все убавляли от самого 1784 года, а в сии три недели начали узки становиться, так что скоро паки прибавить должно меру; я же гораздо веселее становлюсь"<sup>140</sup>.

## ГЛАВА VIII

"Вытащить другую лапу из грязи", то есть покончить войну с Турцией честным миром, было дело очень трудное. Пруссия и Англия, а за ними Голландия и Польша сохраняли прежнее враждебное положение относительно России и Австрии, по-прежнему грозили войною, если императорские дворы не помирятся с Турцией с восстановлением прежних условий, существовавших до войны (*statu quo*). В Берлине было в это время две партии: партия войны, главою которой был Герцберг, желавший во что бы то ни стало приобрести для Пруссии Данциг и Торн от Польши, и партия мира, главою которой был любимец короля Бишофсвердер. В Англии не хотели воевать за Турцию с Австриею и Россиею — хотели союзами и вооружениями напугать их, заставить заключить с Турцией мир *statu quo*. Английским посланником в Берлине был Еварт, имевший сильное влияние на прусские решения по своим способностям и энергии; официальным представителем России в Берлине был Нессельрод; но в то же время важные сношения были ведены другим дипломатом, Алопеусом, не имевшим официального значения.

Англия и Пруссия успели напугать Австрию. Преемник Иосифа II Леопольд нашел свое государство в самом печальном положении вследствие преобразований Иосифа, приходившихся часто не ко времени и не к месту. Леопольду нужно было во что бы то ни стало заключить мир с Турцией и отклонить войну с Пруссиею, чтобы заняться внутренним успокоением своего пестрого государства. По восшествии своем на престол<sup>141</sup> Леопольд написал прусскому королю письмо, наполненное изъявлениями мирных желаний; Фридрих-Вильгельм отвечал ему в том же тоне. "Мое честолюбие в настоящую минуту состоит в том, чтоб содействовать успокоению Европы; у меня никогда не будет стремления к завоеваниям. Вот мое исповедание веры"<sup>142</sup>. Король предъявил и условия мира: "Или, по предложению Английского короля, восстановление *status quo*, или, что лучше, по моему мнению, такое общее распоряжение, которое бы уравновешенною меною примиряло интересы государств, участвующих в теперешних смутах". Ясно было, в чем должно

состоять это общее распоряжение: Пруссия безо всякой войны и безо всякой мены должна получить Данциг и Торн.

Но Леопольду делать было нечего, надобно было мириться на том или на другом условии. Старый канцлер Австрии знаменитый Кауниц написал Потемкину: "Дела дошли до такого кризиса, что требуют самых скорых и самых действительных мер. Ожесточение Пруссии и ослепление Англии заставляют наши два двора выбирать из двух крайностей — одна хуже другой: или купить сохранение общего спокойствия жертвованиями, которые будут очень тяжелы после несчастной войны; или рисковать всеобщей войною, лучший исход которой для нас будет, если ничего не потеряем и получим мир с Портою сколько-нибудь сносный. Нам надобно проложить дорогу посредине этих двух крайностей, и всего лучше обеспечить для себя упомянутый исход, не подвергаясь случайностям, потерям и неисчислимым бедствиям всеобщей войны. Нечего колебаться в выборе между уменьшением выгод и важными, существенными потерями. Никакие выгоды не могут вознаградить нас за потерю Нидерландов и Галиции; что же касается России, то ничто не может вознаградить ее за потерю влияния в Польше и за соединение английского флота с шведским; для обоих дворов одинаково ничто не может вознаградить за преобладание Пруссии на севере и за исключительное господство ее в Польше"<sup>143</sup>.

В Вене приходили в ужас от одной мысли, что Пруссия может увеличить свои владения, усилить где-нибудь свое влияние, и потому придумали средство: предложить возвращение Галиции Польше, но с тем, чтобы Пруссия и Россия также отказались от своих долей, полученных по разделу 1772 года. Кауниц написал австрийскому посланнику в Петербурге Люи Кобенцелю: "Мы бы очень желали, если б Русский двор согласился возвратить свою долю. Нельзя ожидать никакой опасности от несдержания слова, а Пруссия подвергается явному предосуждению, особенно в глазах поляков"<sup>144</sup>.

Но в Петербурге смотрели иначе на дело: страхом всеобщей войны Екатерину нельзя было заставить отдать Белоруссию или, предложив это возвращение, не сдержать слова. Она накидала на бумагу следующие пункты по поводу австро-пруссских дел: "1) Всякая несправедливость внушает ужас. Поведение Берлинского двора относительно Венского отличается такою несправедливостью, какой я



еще не знаю примера. Берлинский двор требует, чтобы двор Венский уступил Польше большую часть Галиции, обладание которою гарантировано покойным Пруссим королем и нами. Вознаграждение Австрии Берлинский двор обещает на счет Турок, Турок, с которыми Берлинский двор только что заключил оборонительный и наступательный союз. 2) Но, отдавая области своих союзников, Пруссия уверена ли, что Турки уступят их? Следовательно, хотят ограбить Австрию и обещают ей в вознаграждение то, что, может быть, Турки еще и не уступят, то есть почти что ничего. 3) Все это делается Берлинским двором для приобретения Торна и Данцига с частию Познани — вот и другой новый союзник Пруссим короля, которого он хочет ограбить. То есть дерет с живого и с мертвого. 4) Надобно уверить Венский двор, что мы вполне исполним свои обязательства во всяком случае. 5) Мы желаем мира с Турками, общего или отдельного, единственно для того, чтобы деятельнее помогать нашему союзнику против общих врагов. 6) Я предпочитаю прямые переговоры с Портою; и справедливо, чтоб и Венский двор трактовал в то же время. 7) Если Венский двор будет трактовать отдельно с посредниками или без посредников, то справедливость требует, чтоб и мы могли делать то же самое, то есть отдельно".

Леопольду нужно было прежде всего отвратить грозу с севера, где Пруссия в подкрепление своих требований выставила большое войско; в Галиции поляки волновались. Леопольд согласился на конгресс, который должен был собраться в Рейхенбахе, в Силезии, в июле 1790 г. Австрийские и прусские уполномоченные должны были уладиться при посредстве английского и голландского уполномоченных. В первой конференции австрийские уполномоченные уступили в пользу Польши часть Галиции во 144 мили с 308 000 душ. Пруссим уполномоченные отвергли это предложение с угрозами и потребовали округа Бохни, Тарнова, Замосця, города Брод, что составляло 500 000 душ с 700 000 флоринов дохода. В вознаграждение соглашались на присоединение к Австрии турецкой Кроаии и всего того, чем владела Австрия по миру Пассаровицкому, но с условием срытия Белградской крепости. Тут же пруссаки объявили, что хотят взять Данциг, Торн, Дубно, землю между Нетцою и Вартою<sup>145</sup>. Но им скоро напомнили, что они не одни с австрийцами в Рейхенбахе: английский уполномоченный объявил



Герцбергу, что Англия никогда не будет способствовать к тому, чтобы турки без их согласия лишены были своих владений; что ни Пруссия, ни Австрия не могут отказаться от основания переговоров — status quo, и если Австрия принимает его, то нет никакого предлога к начатию войны. Это значило, что если Пруссия будет настаивать на своем проекте мены владений и объявит Австрии войну, то будет воевать одна с Австрией и Россией. Явился из Варшавы прусский посланник при польском дворе маркиз Люкезини и объявил, что Польша решительно не согласна на уступку Данцига и Торна. План Герцберга рушился. 15 июля он должен был предложить австрийским уполномоченным — немедленно же заключить перемирие с турками на основании status quo. Австрия согласилась, причем обязалась ничем не помогать России к продолжению войны.

Герцберг с бешенством возвратился из Рейхенбаха. Увидавшись с Алопеусом, он начал уверять его, что никогда не хлопотал о status quo; что его план, одобренный уже и Австрией на Рейхенбахских конференциях, был совсем другой и Россия была бы им очень довольна. Австрийский двор соглашался уступить Польше Броды, Замосць, Жолкву, с 500 000 жителей, на условии, чтобы Польша уступила Пруссии два города, совершенно бесполезные для Польши, Данциг и Торн, с народонаселением едва ли во 100 000; Пассаровицкие границы были бы восстановлены между Турциею и Австриею, и Очаков остался бы за Россию. "Таков был мой проект, — продолжал Герцберг, — этот проект был внушен мне патриотизмом; но когда все было улажено, все в одну минуту разрушилось, потому что иностранцы (то есть Люкезини) <sup>146</sup>, которые естественно не могут иметь такой же привязанности к стране, как я, в ней родившийся, иностранцы захотели приобрести себе важность насчет Пруссии. Я не понимаю этого человека (Люкезини): прошлую зиму он уверял, что поляки будут совершенно согласны уступить Данциг и Торн, если им отдадут эту часть Галиции; а теперь он утверждает, что им надобно всю Галицию; но вы понимаете, что это невозможно. Тут-то пришли к этому знаменитому status quo, который давно уже был предложен Англиею и который всегда нравился королю. Я не мог идти против потока и стал просить отставки; король не согласился. По моему мнению, есть еще средство прийти к соглашению насчет Очакова, если Русский двор обяжется тайно не препятствовать уступке Данцига и

Торна; я знаю, что со стороны поляков будут затруднения, но эти затруднения могут быть побеждены. Необходимо, чтоб Россия и Пруссия пришли наконец к соглашению; Пруссия вовсе не хочет противодействовать влиянию России в Польше. Россия хотела вовлечь Польшу в войну с турками и обогатить ее насчет последних; политика Пруссии требовала этому противодействовать, потому что увеличение Польши было ей противно и, следовательно, ей нужно было отстранять все, могущее этому содействовать. Действительно, наш двор обязался в отношении к Турции помочь ей возвратить все потерянное в последнюю войну; но так как императрица требует такой малости — Очакова с областью до Днестра, то можно заставить турок понять, что они должны согласиться на это условие; надобно только, чтоб с вашей стороны было сделано нам предложение в такой форме: если королю Прусскому удастся посредством дипломатических сношений и сделок, а не путем силы склонить Польшу к уступке ему Данцига и Торна, то Петербургский двор не воспротивится этому, напротив — будет помогать посредством своей партии в Польше. Даю вам честное слово, что король запретил мне говорить об уступке Данцига и Торна; но если предложение будет сделано с вашей стороны, то я могу, несмотря на все запрещения, не только принять его для донесения (*ad referendum*), но и подкреплять его; мне будет легко доказать, что приобретение дружбы России и обладание Данцигом и Торном гораздо важнее дружбы государства, для которого мы сделали так много и которое само не в состоянии ничего сделать".

Алопеус донес в Петербург об этом разговоре с Герцбергом, прибавив, что между королем и его министром господствует сильное несогласие, но что король, несмотря на свое природное упрямство, не имеет духа удалить Герцберга от дел<sup>147</sup>.

Россия осталась одна, но не думала уступать требованиям Пруссии и Англии и заключать мир с Турциею на основании *status quo*: приобретение Очакова с прилежащею областью между Бугом и Днестром было объявлено ею как необходимое условие мира. Англия и Пруссия, успев напугать Австрию вооружениями, думали, что могут напугать тем же и Россию. Первый министр Георга III знаменитый Питт разослал приказы усиливать флот и держать его в готовности выйти в море. Пруссия также продолжала истощать свои финансы, держа наготове многочисленное войско, причем она по-прежнему не

теряла из виду Данцига и Торна, и Англия, имея общее дело с Пруссией, считала необходимым потворствовать ее желаниям.

В ноябре 1790-го польский посланник в Голландии Огинский получил от своего правительства поручение ехать в Лондон и проведать, как там смотрят на стремление Пруссии приобрести Торн и Данциг. "Какая вам, полякам, выгода владеть Торном и Данцигом? — спросил его Питт. — Какая вам выгода иметь эти два рынка для ваших произведений при той слабости, в какой вы находитесь до сих пор, стоя под гарантией Петербургского двора? Король Прусский, предлагая вам свою дружбу и союз, представляет вам средства выйти из этого презренного положения, и это одно стоит некоторых жертвований. Но чего требует Прусский король — это даже нельзя назвать и жертвованиями, потому что, с своей стороны, он отказывается от значительного дохода, получаемого с таможен". Тут министр показал Огинскому копию с письма к нему прусского короля: Фридрих-Вильгельм II откровенно объяснял побуждения, которые заставляли его желать Торна и Данцига.

"Неужели вы считаете ни за что купить эту цену торговый трактат с Англией и Голландией? — продолжал Питт. — Вы говорите, что, потеряв Данциг, единственное свободное место, где вы сбываете ваши произведения, вы должны будете подвергаться всем таможенным придирам и платить все пошлины, какие от вас потребуют. Но не должно забывать, что вы теперь платите гораздо больше, чем будете платить по новому торговому трактату, вам предлагаемому. Наконец, что касается придира, то ваши опасения могли бы быть еще основательны, если бы вы не имели дело с союзником и другом и если бы у вас не было гарантий Англии и Голландии. Вы лучше меня знаете, какие были старинные сношения торговые у Польши с Англией и Голландией. У вас была маленькая гавань на Балтике подле реки Свенты, если не ошибаюсь; гавань эта засорилась — и вам нечего жалеть о ней; но у вас было много городов во внутренности страны, где купцы голландские и английские имели богатые конторы и где вы складывали ваш хлеб; его покупали у вас на месте, вам не нужно было возить его до балтийских гаваней. Я нынче утром смотрел на карте положение Ковна и Мереча. Первый из этих городов, расположенный на двух судоходных реках, был, как говорят, очень населен и производил большую торговлю; за городом сохранились еще следы

нескольких сотен домов, которые, как говорят, были заняты голландскими и английскими купцами. Что было прежде, то может быть восстановлено, и если торговый трактат с Польшею осуществится, то мы сумеем освободить вас от всех придирок данцигских таможенных чиновников, приезжая за вашими произведениями во внутренность страны, чтоб получать их из первых рук. Торговля с Польшею для нас очень выгодна, потому что у вас нет фабрик, вы потребляете много иностранных товаров и предметов роскоши и с лихвою отдаете нам то, что от нас берете. Так будьте уверены, что мы принимаем горячее участие в судьбе Польши и ее торговли и никогда не потерпим, чтобы торговый трактат, о котором идет дело, не гарантировал вашей стране всех выгод, на которые она имеет право".

"Я объяснился с полною откровенностью, — закончил Питт, — я не утаил моего образа мыслей, который вместе с тем и образ мыслей нашего правительства". Таков был образ мыслей короля и его министров; Георг III и Питт хотели непременно заставить Россию заключить мир с турками *statu quo* и, чтобы иметь с собою Пруссию, готовы были отдать ей Данциг. Но Огинский мог сейчас же убедиться, что дело еще вовсе не решено, если правительство так думает; что есть люди, которые думают иначе, и эти люди могут решить дело иначе в палатах. Огинский повидался с Фоксом и с другими членами оппозиции: все изъявили свое сочувствие к Польше, к движениям, в ней происходящим; но Фокс при этом процитировал известный латинский стих: "*Incidit in Scyllam qui vult vitare Carybdim*" (Впадает в Сциллу, кто хочет избежать Харибды). "Не очень доверяйте вашему новому союзнику (королю Прусскому), — сказал он Огинскому, — рассчитывайте на свой патриотизм, на свою энергию, на дух времени — и вы сумеете обеспечить свою свободу и независимость"<sup>148</sup>.

Что же делала в это время Австрия? Австрия спешила пользоваться рейхенбахскими постановлениями, вознаградить себя за унижительные условия, какие должна была принять, спешила успокоить волнения в Галиции, Венгрии и Бельгии, восстановить поколебленное было свое государственное здание, чтобы потом явиться на арену европейской борьбы с новыми силами, с развязанными руками. Обязавшись в Райхенбахе не помогать России, Австрия в сношениях с последнею не переставала называть себя

самою верною ее союзницею. 2 января 1791 года Кауниц писал Кобенцелю в Петербург: "Все, чего Русский императорский двор может требовать от самого верного союзника, — это положительное удостоверение с нашей стороны, что он может рассчитывать на нас с первой минуты, как только нам будет возможно прийти к нему на помощь. Восстановление наших внутренних дел было в настоящее время самою большою и единственною услугою, которую наш августейший монарх мог оказать своей союзнице, ибо восстановление внутреннего порядка даст нам средство быть ей полезными по-прежнему: отсутствие сил могло бы повести только к тому, что дела не были бы в соответствии с обещаниями".

Австрийский министр был на этот раз совершенно искренен: Австрия боялась больше всего на свете, чтобы Россия не потерпела неудачи в предстоящей борьбе и ненавистная Пруссия не поднялась на ее счет. Очаковские степи, которых требовала Россия, не возбуждали зависти в Вене, а между тем раздражение против Пруссии и Англии за вмешательство и наложение условий мира с турками было страшное. В Берлине некоторые поняли это положение Австрии — поняли, что восстановившая свои силы Австрия будет опасна с тылу при готовящейся борьбе с Россиею, и решилась попытаться, нельзя ли сблизиться с Австриею и оттянуть ее совершенно от России и нельзя ли опять поднять вопрос о приобретении Данцига и Торна, причем пусть нарушается *status quo* при мире Австрии и России с турками. Война с Россиею опасна при враждебности Австрии и при неуверенности, как-то еще будет помогать Англия; гораздо выгоднее избежать опасной войны и получить польские земли, как было сделано при Фридрихе II. Разумеется, возможности для Пруссии сблизиться с Австриею никак не мог понять Герцберг, племянник Фридриха II: вражда к Австрии вошла у него в плоть и кровь; это было чувство, без которого Герцберга нельзя было представить. Следовательно, надобно было действовать мимо Герцберга — и придумали средство.

По Берлину вдруг пронеслась весть, что любимец короля Бишофсвердер подвергся опале и должен оставить столицу. Бишофсвердер действительно исчез из Берлина — и очутился в Вене, где потребовал тайных переговоров с Кауницем; тот отвечал, что не может сам вести эти переговоры, ибо это возбудило бы всеобщее внимание и помешало делу, но что поручит переговоры вице-канцлеру

графу Филиппу Кобенцелю. 20 февраля 1791 года происходил первый разговор Кобенцеля с Бишофсвердером:

"Бишофсвердер: "Мой первый вопрос, на котором основана вся моя комиссия, состоит в следующем: угодно ли его императорскому величеству переменить соперничество, так долго существующее между двумя дворами, на тесную дружбу?" Кобенцель: "Император ничего так пламенно не желает, как жить в мире и дружбе с королем, знаменитым как по своему могуществу, так и по личному характеру, потому что он считается государем — честным человеком". Бишофсвердер: "Но скажите: вполне здесь уверены, что король действительно таков? Если у вас есть сомнения на этот счет, скажите, на чем они основаны, чтоб мне можно было их уничтожить". Кобенцель: "Император нисколько в этом не сомневается, и если иногда случаются вещи, которых мы никак не можем согласить с совершенною правотою, то мы обыкновенно приписываем их дурным советникам". Бишофсвердер: "Прекрасно! Это именно так и есть. Король — это сама честность и хочет, чтоб вся вселенная была в этом убеждена. Несмотря на такое счастливое расположение, его часто вовлекают в заблуждение; его часто заставляют действовать вопреки его благородному образу мыслей: вот почему, желая пламенно сблизиться с его императорским величеством, он посылает к нему не ученого и просвещенного министра, но человека, которого он удостоивает своею доверенностью, который не большой знаток в государственных делах, но который знает сердце и образ мыслей своего государя лучше всех его министров и который будет считать себя счастливейшим человеком в мире, если успеет упрочить благо двух народов тесною дружбою между двумя дворами. Герцберг всегда представляет это королю делом невозможным, но не убеждает короля. Многие из нас, верных слуг королевских, думают одинаково с королем, и должно сказать, что общее мнение не за нас; одинаково с нами думают Моллендорф и герцог Брауншвейгский; последний помог мне уговорить короля послать меня сюда для такого спасительного дела без ведома Герцберга, который будет всегда против подобного проекта. Хотят уговорить короля к сближению с Россиею; представляют, что ему стоит только исполнить желание императрицы, и она за это доставит ему все нужное для Пруссии. Нам дают это чувствовать очень ясно. Вы можете быть уверены, что от нас зависит жить в ладах

с Россиею, когда только захотим, и эти лады доставят нам величайшие выгоды; но король предусматривает еще большие выгоды в тесном союзе с Австрийским домом. Он бы не хотел способствовать усилению России, как это делаете вы из желания противопоставить Пруссии страшного врага, который день ото дня будет становиться страшнее также и для Австрии. Он бы хотел, чтобы вместо этого император заключил тесный и постоянный союз с Пруссиею, под защитою которого обе монархии, наслаждаясь глубоким миром между собою, не боялись бы никакого другого государства, имея возможность соединить свои силы против всякого, кто бы захотел их обеспокоить или нарушить равновесие Европы, и против всякого иностранца, который захотел бы присвоить себе влияние на дела Германии. К этому союзу, заключенному между нашими двумя дворами, присоединились бы все настоящие союзники Пруссии". Кобенцель: "Также и турки?" Бишофсвердер: "Почему нет? Ваш собственный интерес требует больше всего, чтобы турки не были изгнаны русскими из Европы". Кобенцель: "Тогда надобно будет отказаться с обеих сторон от всякого приобретения?" Бишофсвердер: "Вы, без сомнения, знаете, что поднят вопрос о Данциге, и действительно это приобретение было бы очень желательно для короля, если бы он мог его сделать с полного согласия Польши, вознаградив республику другими выгодами. Мы уверены, что Россия будет на это согласна, если мы согласимся содействовать ее настоящим видам; король надеется, что и император не будет против, если дружба и союз между ними раз установится. Впрочем, не должно думать, что король никак уже не может отказаться от мысли о Данциге. Прежде всего он желает союза с Австрийским домом: всякая другая идея, всякий другой проект уходит на второй план". Кобенцель: "Его прусское величество, конечно, уже имеет в виду основания, на которых созиждется этот союз?" Бишофсвердер: "Да, есть много оснований, в которых мы условились с герцогом Брауншвейгским. Вот эти основания: примирение России с турками без опасности для последних быть изгнанными из Европы; противодействие русскому влиянию на дела Германии; поддержание соединенными силами германской конституции; соглашение, как действовать против французской революции".

При этом Бишофсвердер объявил, что у него есть инструкция, написанная герцогом Брауншвейгским. Кобенцелю казалось это очень



странным; он не понимал, как подобный трактат мог быть заключен без Герцберга. Бишофсвердер растолковывал ему: "Я условлюсь здесь в главных основаниях; потом произойдет свидание между императором и королем, после которого король велит Герцбергу сочинить договор — и тот сочинит, потому что дело уже сделано, слово дано, спорить больше нельзя". Кобенцель заметил, что было бы гораздо проще сменить министра. Бишофсвердер отвечал, что нет никого, кто бы мог занять его место. Наконец, Бишофсвердер рассказал, как русский посланник в Берлине Алопеус был у него и просил уговаривать короля войти в виды России, обещая сделать за это королю всякое удовольствие, а его, Бишофсвердера, обогатить; но он, Бишофсвердер, отклонил предложение<sup>149</sup>.

4 марта Бишофсвердер имел второй разговор с Кобенцелем. Неизбежный Данциг опять явился на сцену. Бишофсвердер объявил: "Если бы мы могли сделать это приобретение или в вознаграждение за нашу уступчивость требованиям России, или в вознаграждение за издержки вооружения, а быть может, и целой кампании, то нашлась бы возможность и вам удержать что-нибудь из ваших завоеваний; например: король мог бы на Чистовском конгрессе (где велись переговоры между Австрией и Турцией при посредничестве Пруссии и ее союзников) не настаивать на строгое *statu quo*; он мог бы даже сам склонить турок к уступке, дав им почувствовать, что мир для них необходим и что король не может доставить его им на других условиях. Но для этого не нужно бы было спешить заключением мира. По-моему, было бы благороднее и даже полезнее для короля отказаться от всякого приобретения; но не все так думают в Берлине, и проект изменения *status quo* в пользу Австрии будет всегда крайним средством и найдет защитников, которые предпочтут его намерению рисковать войною с Россиею без уверенности, как поступит в этом случае Австрия, и без уверенности, в какой мере Пруссия может надеяться на серьезную помощь со стороны Англии". Кобенцель отвечал, что его двор, быть может, выслушает предложение Пруссии, если ему поставят на вид возможность получить вознаграждение насчет Турции. Кобенцель при этом дал заметить, что венский двор не может полагаться на совершенную откровенность прусского министерства; не может быть уверен, что в это же самое время Пруссия не трактует с Россиею насчет Данцига и Торна. Бишофсвердер в ответ показал ему

письмо к себе короля, которое оканчивалось так: "Не увлекайтесь никакими предложениями Алонеуса; как бы ни были велики выгоды, предлагаемые Россией, я все нахожу гораздо больше выгоды в союзе с императором; союз с Россией от нас не уйдет, если австрийцы не захотят нас".

Из Вены дали знать в Петербург обо всех этих разговорах. Кауниц писал Люи Кобенцелю<sup>150</sup>, что оба императорских двора должны сообщать друг другу все внушения, какие будут приходить к ним из Берлина; что оба двора должны показывать берлинскому двору решительное отвращение трактовать с ним отдельно о предметах, оба их одинаково интересующих; особенно императорские дворы должны хлопотать о том, чтобы прусскому королюне досталась добыча, тогда как Австрия останется без вознаграждения за Турецкую войну. Австрия отказалась от этого вознаграждения, но с условием, чтобы и Пруссия ничего не получила. Австрия охотно соглашается на приобретения, которые сделает Россия, если Турция согласится принять ее ультиматум; но главное, чтобы общий враг (Пруссия) не получил при этом ничего. Император проникнут принципом, что приобретения союзников насчет Турции вовсе не желательны, если они уравниваются прусскими приобретениями, особенно насчет Польши; и если надобно будет приступить к подобному соглашению между тремя государствами, то это только в последней крайности.

Австрия приняла холодно попытку Пруссии к сближению; ничего не надобно нам, лишь бы Пруссия ничего не получила, — вот принцип, которым был проникнут император Леопольд. Бросились к России. По возвращении из Вены Бишофсвердер предложил Алопеусу заключить секретную конвенцию: "Прусский король обязывается не препятствовать императрице посредством соглашений получить от Турции Очаков с областью до Днестра; король даже будет помогать ей в этом деле своими дружескими и убедительными представлениями. За это императрица обязывается тотчас по заключении мира с Портою возобновить прежний союз России с Пруссией"<sup>151</sup>. Екатерина, прочтя депешу Алопеуса, написала: "Кабалу на себя дать я не намерена; Очаков же, также как Туркам от Прусского двора гарантированный Крым, в моих руках находится без дозволения его Прусского величества. Угорелые кошки всегда повсюду мечутся".

В Вене неудача, в Петербурге неудача, а между тем упрямый Питт не хочет слышать ни о каких сделках, вследствие которых Россия могла бы что-нибудь получить от Турции. Он хочет непременно заставить ее заключить мир с Портом *statu quo* до войны и условливается с Пруссией, что Англия пошлет 35 линейных кораблей в Балтийское море, а король прусский войдет с 85 000 войска в Лифляндию, за что получит Данциг. Курьер был готов везти ультиматум в Петербург, как только предложение Питта пройдет в парламенте; но это был еще вопрос — пройдет ли оно в парламенте.

27 марта 1791 года Питт держал совет со своими товарищами по Кабинету о необходимости войны с Россией. Не все были согласны с мнением первого министра. Герцог Ричмонд счел своею обязанностью вечером того же дня написать Питту, что чем более думает он об этом деле, тем более приходит к убеждению, что Англия страшно рискует, начиная войну без уверенности, что Голландия и Польша будут с нею и что английским кораблям будет свободный ход в шведские гавани. "Я взвесил все ваши аргументы и не могу сказать, чтоб они меня убедили"<sup>152</sup>.

Но письмо Ричмонда не могло остановить Питта. На другой день, 28 марта, он внес в палату общин объявление от имени короля: "Так как старания его величества и союзников его прекратить войну между Россией и Портою остались бесполезными, то он считает необходимым увеличить немного свои морские силы и надеется, что его верные общины назначат сумму на покрытие нужных для этого издержек". Только что объявление было заслушано, как поднялся глава оппозиции Фокс и заявил свое несогласие; в следующий день и потом несколько раз он вооружался против проекта с обыкновенною своею силою; в палате общин его поддерживали Грей, Шеридан и Уэйтбрид, в палате пэров — лорд Лоборо, лорд Стормон и лорд Норт. Красноречие ораторов оппозиции произвело сильное впечатление: начинать войну, делать огромные издержки — для чего? Чтобы не дать России куска степи между Бугом и Днестром и полуразрушенной крепости! Министерство получило большинство, но большинство 80 голосов. В стране война становилась день ото дня непопулярнее. Питт почувствовал, что надобно отступить, и отправил немедленно курьера к английскому посланнику в Петербург, чтобы тот удержался от подачи Остерману грозной ноты, уже заготовленной им.

Екатерина торжествовала; она одержала одну из самых блистательных побед своих: ее твердость, неуступчивость перед угрозами англо-прусской коалиции увенчались совершенным успехом; Екатерина имела полное право говорить: "Мы никогда войны не начинаем, но защищаться умеем" — и повторять стих Расина:

*Je crain Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte.*

(Боюсь Бога, и нет у меня другого страха) [153](#).

И другая лапа была вытащена из грязи, ибо скорый и честный мир с Турциею быть теперь несумнителен. Питт хлопотал только о том, как бы отступить с наименьшим позором. Он боялся, что Россия увеличит теперь свои требования, и предложил императору Леопольду оборонительный союз между Англиею, Пруссиею, Австриею, Голландиею и Турциею, которые должны взаимно гарантировать ненарушимость своих владений, причем Австрия, разумеется, немедленно же должна заключить мир с Турциею на строгом *status quo*. Что же касается Данцига, то это дело чисто торговое: Англия согласна на присоединение его к Пруссии, если Польша согласится на это свободно. Питт надеялся, что одно объявление об этом пятерном союзе заставит Россию заключить мир с Турциею. Леопольд, проникнутый своим принципом, отвечал, что он тогда только исполнит свои рейхенбахские обязательства, когда Пруссия откажется от намерения искать приобретений в Польше. Пруссия отказалась. Но скоро надежды ее опять были возбуждены сильнее прежнего: польские отношения получили новый вид вследствие революции 3 мая.

## ГЛАВА IX

Мы оставили Польшу в конце 1788 года, когда, раздуваемая из Берлина, стала сильно разгораться вражда к России и обнаружилось стремление к ломке учреждений, Россией гарантированных. Видели Россию в затруднительном положении — и хотели воспользоваться этим; не могли воспользоваться для того, чтобы вдохнуть новые силы в разбитое параличом государственное тело, зато вполне насладились удовольствием лягнуть льва, не разобравши, что лев не только не был при смерти, даже не был и болен.

Партия реформы выступила смелее с 1789 года: в челе ее находились двое братьев Потоцких, Игнатий и Станислав, самые блистательные члены польской аристократии по талантам и образованию. Игнатий тридцати лет был уже великим маршалом Литовским; к нему примыкали два человека, приобретшие громкую известность в последнее время Польши, — Пиатоли и Коллонтай. Италианец Пиатоли, капуцин, домашний учитель у княгини Любомирской, рекомендованный ею королю, он скоро сделался самым доверенным у него человеком; поклонник Руссо, он стал оракулом тогдашних польских прогрессистов и главным излагателем их планов. Коронный референдарий Гуго Коллонтай не уступал Пиатоли в способностях; но это был человек самой легкой нравственности, без убеждений, раб всякой силы, будь то человек, будь то партия.

Игнатий Потоцкий составил проект уничтожения Постоянного совета. 19 января 1789 года было бурное заседание сейма: дело шло об этом уничтожении. Несколько раз король принимался говорить против предложения об уничтожении Совета; примас Понятовский, брат короля, протестовал, что предложение это противно конституции; в том же смысле говорил князь Масальский, епископ Виленский, Иосиф Косаковский, епископ Ливонский, еще трое епископов. Из светских против уничтожения Совета были великий маршал коронный Мнишек, граф Ожаровский, кастеллан Войницкий, прямо говоривший о том, что не должно раздражать России; несколько других сенаторов и послов, числом до пятидесяти, были того же мнения. Совет удержался бы, если б не начал говорить против него гетман Браницкий: "Я подаю

голос за уничтожение Совета как потому, что всегда был против него, так и потому, что сама императрица сказала мне в 1774 году, что не хочет навязывать нации этого Совета. Курьер был отправлен по этому случаю к графу Штакельбергу; но посол, несмотря ни на что, один настоял на учреждении Совета". Это объявление произвело сильное впечатление на большинство. За Браницким произнес речь Игнатий Потоцкий; он не счел нужным, подобно Браницкому, успокаивать сейм уверением, что русская императрица будет равнодушна к уничтожению Постоянного совета. Потоцкий старался раздуть ненависть к России. "Я бы желал, — сказал он, — чтоб меня отправили в Петербург, как в 1768 году сослали в Сибирь епископов и сенаторов". Когда таким образом масло было подлито в огонь, пророческие слова короля не могли произвести впечатления. "Я хочу, — говорил Станислав-Август, — быть навеки неразлучным с моим народом, и потому-то я приглашаю его внимательнее подумать над нашею общею судьбою, особенно в эту критическую минуту, ибо кто знает: эта минута не есть ли последний предел, назначенный Провидением для существования Польши?" Король хотел отсрочить заседание, но ему стали грозить восстанием — и предложение об уничтожении Совета прошло<sup>154</sup>.

Что же Штакельберг? Оказал полное равнодушие. Это было всего благоразумнее в его положении, когда он не мог, подобно своим предшественникам, опираться на вооруженную силу. Он доносил своему двору, что надобно предоставить самим себе толпу безумцев; что настоящий сейм — это болезнь, в которой надобно оставить действовать природу, чтобы не убить больного лекарствами<sup>155</sup>. Но на природу нельзя было надеяться при тогдашних обстоятельствах. Равнодушие Штакельберга к уничтожению Постоянного совета сначала озадачило патриотов, они увидали в этом сознание слабости и тем сильнее начали действовать. Самыми яростными выходками против России отличался маршал сеймовый со стороны Литвы князь Казимир Сапега, генерал артиллерии литовской, племянник гетмана Браницкого, горячая, страстная натура, способная к самым резким переходам. Предводитель знатной польской молодежи в ночных оргиях, Сапега был способен превратить и сеймовое заседание в оргию.



Сдержки не было: Штакельберг уклонялся, разыгрывал равнодушного и тем самым уступал поле действия послу прусскому. Преемником Бухгольца в Варшаве был маркиз Люкезини — выбор чрезвычайно удачный относительно целей берлинского двора. С одушевлением, с огнем в глазах, восторженным тоном проповедника говорил италианец полякам о необходимости и возможности в настоящее время восстановить силу, свободу, самостоятельность Польши, заставить ее играть роль в Европе; говорил о великодушных намерениях Фридриха-Вильгельма, защитника угнетенных; говорил он это среди народа, так способного увлекаться горячими, громкими, красивыми словами, и, разумеется, успех проповедника был громадный. Сапега с товарищами кричит об освобождении Польши из-под влияния России; но Россия тут, в самой Польше, и в этой России также могут раздаться крики об освобождении от Польши! Сапега с товарищами толкуют о волнениях в Украине, и вдруг приходит страшная весть из Волыни, что богатый шляхтич Вельченский ночью зарезан с женою и пятью домашними. "Вот начало бунта!" — кричат патриоты; толкуют, что уже схвачен русский священник, участник в заговоре. Гетман Браницкий за обедом у Штакельберга сказал ему, что, по мнению многих, бунты начинаются по наущению русских чиновников<sup>156</sup>. И действительно, чего ждать хорошего, когда русские войска проходят через Польшу; русские купцы и возчики снуют по ней во всех направлениях, а тут естественные враги Польши, русские попы, которые не хотят знать католического правительства Польши и молятся за свою покровительницу, единовенную русскую царицу? Что могут они внушить своим духовным детям?

Сеймовое заседание 5 апреля началось чтением известий из Волыни о тамошних мнимых волнениях, возбужденных попами и московскими купцами и возчиками. Депутат Немцевич говорит: "После таких доказательств дружбы со стороны России я предоставляю мудрости сейма решить, можно ли пускать через Польшу русские транспорты и войска, чтоб они окончили начатое дело?" За Немцевичем говорят другие патриоты в том же смысле. Король закрывает заседание, но эта мера только усиливает раздражение. На другой день Сапега открывает заседание самую зажигательною речью, какой никогда еще не произносил: нельзя позволять России держать свои войска в Польше; не должно



пропускать русских войск через польские владения в Турцию; надобно обратиться с просьбою о помощи в этом деле к прусскому королю, другу и подпоре республики. Сапегу поддерживал депутат Кублицкий, объявивший, что король прусский никогда не был тираном Польши. За Кублицким говорили в том же духе депутаты Суходольский и Миржеевский, а депутат Сухоржевский кричал, что надобно объявить войну России и выслать Штакельберга. Несмотря на все эти речи, патриоты не могли заставить сейм отказать России наотрез в пропуске ее войск через Польшу<sup>157</sup>.

Через неделю новая причина волнения, новые оскорбления России: Сапега с Виленским палатином Радзивиллом обвинили православного епископа Виктора Садковского в том, что он волнует крестьян в Слущкой области и даже взял с них присягу. Поднялись крики, что надобно заключить в оковы изменника. Тщетно Штакельберг представлял, что Виктор, епископ Переяславский, викарий киевский, — подданный императрицы. Посол мог добиться только того, что Виктора привезли в Варшаву в сопровождении офицера для безопасности и обещали не осуждать его, не выслушавши<sup>158</sup>. Но арестом епископа, русского подданного, не удовлетвоались: солдаты ворвались в домовую церковь русского посла и схватили священника для предания его суду. Штакельберг потребовал удовлетворения; удовлетворения не было дано. Сейм постановил, чтобы со всего русского духовенства взята была присяга на верность республике, но в Литве некоторые отказались присягать без приказания императрицы<sup>159</sup>.

При этих внутренних причинах к раздражению не было недостатка и во внешних побуждениях: шведский резидент при варшавском дворе Енгстрём сильно подливал масла в огонь; английский министр Гэльс (Hales) говорил полякам: "Если вы теперь не сядете на коней, то навсегда останетесь нацией без значения". Люкезини был умереннее всех: он советовал не подниматься без нападения со стороны России. Охота следовать совету английского министра была очень не у многих, и, чтобы не дать этим немногим возможности действовать на большинство, в Петербурге было решено вывести русские войска из Польши и транспортам не касаться польских границ. Цель была достигнута: патриоты до временидолжны были прекратить свои выходки против России<sup>160</sup>.

Средина и конец 1789 года прошли спокойно; но в начале 1799 года Штакельберг начал бить тревогу, пугать свой двор, толковать, что надобно во что бы то ни стало заключить мир с турками — иначе придется плохо: дело идет о союзе между Пруссией и Польшею; поднимается вопрос о престолонаследии после Станислава-Августа. Штакельберг доносил о тайном совещании, происходившем между маршалом Малаховским, Игнатием Потоцким и двумя братьями Чацкими: читали письмо Люкезини, в котором тот обещает согласие своего короля на установление наследственного правления в Польше, если выберут принца из его дома.

Екатерина не хотела заключать постыдного мира с турками и потому решила спокойно смотреть, что бы ни происходило в Польше. Поэтому она отправила следующий рескрипт к Штакельбергу: "Я нужным нахожу предписать, чтоб вы по настоящим делам удержались от всяких на письме деклараций, отговаривая от того же и римскоимператорского поверенного в делах, потому что я для пользы службы моей считаю на нынешнее время сходнее спокойно смотреть на неистовства Поляков, в собственный их вред обратиться могущие, нежели ускорять дальние беспокойства. Сами словесные ваши внушения и объяснения должны быть располагаемы с крайнею осторожностью с людьми, которые всякое слово переносят неприятелям и завистникам нашим"<sup>161</sup>.

13 февраля<sup>162</sup> Люкезини формально предложил польскому правительству об уступке Данцига и Торна за уменьшение таможенных пошлин. Впечатление, произведенное этим предложением, было самое неблагоприятное для Пруссии, вследствие чего из Берлина поспешили дать знать, что берут назад предложение — "ведь это было только простое предложение на случай, если Польша признает его выгодным для своей торговли". Это предложение не открыло глаза ослепленным: они и тут не поняли, в чем дело, и, вместо того чтобы вести себя осторожнее относительно Пруссии, начали превозносить умеренность Фридриха-Вильгельма и торопиться заключением с ним союза<sup>163</sup>.

Как же вел себя в этих обстоятельствах король Станислав-Август? Своим ясным умом он хорошо понимал, в чем дело, и продолжал плыть против течения, хотя можно было уже видеть, что ненадолго станет у него нравственных сил для этого. Он объявил Штакельбергу,

что непременно присоединит предложение о торговом трактате с Пруссией к предложению о союзном трактате с нею для того, чтобы устранить последний или по крайней мере протянуть время. Накануне того дня, в который дело должно было быть предложено сейму, во дворце был дипломатический ужин. Штакельберг видел, как несчастным королем завладел сначала Люкезини, а потом сейчас же Гэльс, который истощал все свое красноречие, чтобы отвлечь короля от его намерения насчет двойного трактата. Штакельберг понапрасну дожидался, пока уедут прусский и английский министры. Люкезини остался до самого конца; король только успел сказать Штакельбергу мимоходом, что Люкезини ему грозил.

Между тем Сапега приготовлялся к бурному заседанию. Так как на заседания допускались и посторонние лица, так называемые арбитры, с правом выражать свое одобрение или неодобрение речам депутатов и решениям их, то Сапега поил этих посетителей и внушал им, что можно будет взяться и за сабли. Сейм начался изложением хода переговоров с Пруссией; затем следовало чтение депеш, присылаемых польскими министрами при иностранных дворах. Князь Яблоновский из Берлина выдавал за верное, что петербургский двор предлагал берлинскому Данциг и Торн на условии, чтоб Пруссия отказалась от союза с республикою. Деболи из Петербурга писал о том же, хотя не таким решительным тоном. Приготовивши умы этими известиями, предложили проект союза с Пруссией. Депутаты — Кублицкий, Немцевич и Вейссенгоф — произнесли речи с сильными выходками против России, требуя прусского союза без торгового трактата. Начнет кто-нибудь говорить в другом смысле — крики, угрозы заставляют его замолчать. Стал говорить король, изложил подробно, что можно сказать за и что против союза, упирая более на то, что не следует разделять двух трактатов, но кончил словами: "Если нация противного мнения, то я с нею соглашаюсь". Раздались рукоплескания. Адам Чарторыйский говорил за союз; в том же смысле говорил Игнатий Потоцкий, кончивший словами, что ничто не может быть хуже одиночества. Несмотря на все эти речи, по замечанию Штакельберга, большинство было бы против союза, если бы король обнаружил больше твердости<sup>164</sup>.

Следственная комиссия по делу епископа Виктора окончила свои занятия, и 15 марта доклад был прочитан сейму. "С тех пор, —

говорилось в этом докладе, — как Киев перестал принадлежать республике и греки-неуниаты вышли из-под власти Константинопольского престола, Россия стала для них вторым отечеством. Их воспитание, их священники, их зависимость от новой метрополии — все с детства привязывало их к России. Будучи подданными республики по месту жительства, они тянули к чужому государству по отношениям нравственным, которые сильнее политических. На области, в которых они обитали, можно было смотреть как на провинции России". Поведение епископа Виктора докладчик описывал так:

"Садковский, преданный ученик епископа Могилевского (Конисского), был главным деятелем в этих скрытных и ловких движениях против Польши. Место священника при русском посольстве в Варшаве дало ему возможность вполне ознакомиться с положением дел. Захваченные у него бумаги открывают достаточно, с какою заботливостью старался он поражать взоры неуниатов польских действиями благосклонного покровительства, оказываемого им Россиею; с каким усердием питал он в их сердцах тайное отвращение ко власти национальной(!). Почти все священнические места были мало-помалу, без обращения внимания на право прихожан заняты духовными, присланными из России. С 1783 года являются в Польше указы русского Синода. Садковский сделан Слуцким архимандритом по рекомендации русского посла. В Польше распространен русский краткий катехизис. Архив Садковского наполнен синодскими указами, содержание которых составляют: празднования счастливых для империи Российской событий, публичные молитвы за Императрицу и Царствующий дом, определение монахов и священников русских на вакантные места без ведома прихожан, наконец, самые мелочные распоряжения Петербургского Синода. Рапорты Садковского о точном исполнении полученных указов и о различных распоряжениях или уже сделанных, или долженствующих сделаться ясно показывают решительное намерение не оставлять ничего национальному правительству в делах польских греков, неуниатов (Grecs поп unis de Pologne). По мысли Конисского, учреждена епископия Слуцкая и епископ должен быть коадьютором митрополита Киевского, чтоб удобнее держать польских греков неуниатов в подчинении России. Садковский сделан епископом Переяславским и дал присягу хранить

тайну ненарушимо и верно исполнять все ему порученное: никакой потентат в мире и никакое народное множество не возмогут отвлечь его от повиновения. Со времени посвящения Садковского в епископы число православных церквей в его епархии возросло от 94 до 300".

Докладчик верно изобразил ход дела: разделение Западной России от Восточной в политическом отношении под две различные династии повело в XV веке к разделению церковному: великий князь Литовский, владевший Западною Россиею, не хотел, чтобы духовенство, а чрез него и все народонаселение последней зависело от митрополита, жившего в Москве, и настоял, чтобы в Киеве был особый митрополит. В XVII веке политическое воссоединение Киева с Москвою необходимо повлекло к воссоединению церковному — Киевский митрополит подчинился Московскому патриарху, а с уничтожением патриаршества — Синоду; с этим вместе Синоду подчинялось и все православное духовенство во владениях Польской республики. За все это поляки могли сердиться на историю, но не имели никакого права обвинять епископа Виктора за то, что он повиновался своему начальству, принимал от него приказания, исполнял их и доносил об их исполнении. В этом отношении доклад был составлен крайне недобросовестно — именно с целью во что бы то ни стало обвинить. Епископ был виноват в том, что все делал по сношению с Синодом, не давая никакого участия национальному (!) правительству в церковных делах православного исповедания, но докладчику прежде всего нужно было объяснить, в чем же должно было выражаться это участие. Епископ виноват в том, что увеличил число церквей; виноват в том, что распространял русский катехизис — но какой же другой следовало ему распространять? Епископ присягал не повиноваться никакой власти в мире, если ее приказания противоречили его обязанностям в отношении к церкви, к церковному правительству, — и эта присяга поставлена в вину!

Обвинить Переяславского епископа не было никакой возможности; но понятно, что изложение дела в докладе должно было сильно раздражить сейм, затрагивая самое болезненное место; архиерейская присяга сейчас же получила политический смысл: архиереи присягают в повиновении русскому Синоду, а нашего правительства клянутся не слушать! В недрах республики находится многочисленный народ, подчиненный русскому правительству! Потом

начали читать письма Конисского, захваченные у Виктора, толкуя их все в одном смысле и оканчивая толкования криками о необходимости прусского союза! Станислав-Август уже совершенно выбился из сил, не мог более плыть против течения и объявил, что среди таких великих опасностей надобно спешить опереться на прусский союз. Оборонительный союз был заключен 29 марта 1790 года; союзные державы обязались подавать друг другу помощь войсками: Пруссия выставляет 16 000, Польша — 12 000 войска, которое, по требованию, могло быть увеличено — со стороны Пруссии до 30 000, со стороны Польши — до 20 000, а в случае нужды союзники обязывались помогать друг другу и всеми своими силами. Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Польши, и если представления Пруссии будут недействительны, то она обязана подавать выговоренную помощь. Обе державы гарантировали владения друг друга и отказались от всяких притязаний.

Относительно России сейм решил напечатать обо всех ее злодействах: рассылает синодские указы к архиереям. Синоду подведомственным; рассылает катехизисы и т. п. — и сообщить всем европейским дворам. Определили, чтобы польский министр в Константинополе уладился с тамошним патриархом насчет будущего церковного управления греков-неуниатов. Маршалам ведено публиковать манифест, успокоивающий неуниатов относительно свободы их исповедания; призвать в Варшаву двоих неуниатов и двоих диссидентов и сообщая с ними уладить их церковные дела<sup>165</sup>.

Константинопольский патриарх отклонил предложение польского правительства взять опять православную церковь в Польше в свое заведование. Тогда начали думать о том, как бы учредить в самой Польше консисторию или синод для православных; определили, что если будет в Польше независимый русский митрополит, то дать ему место в сенате<sup>166</sup>.

В это время последовало отозвание Штакельберга и назначение на его место Булгакова, освобожденного из едикула. Потемкин настаивал на эту перемену: он и прежде не любил Штакельберга по наговорам гетмана Браницкого (женатого на племяннице Потемкина, Энгельгардт), а теперь еще больше рассердился на него за неудачу русского дела в Варшаве<sup>167</sup>. Императрица не разделяла раздражения Потемкина, не обвиняла Штакельберга в том, что он не заключил союз

с Польшею и позволил господствовать прусскому влиянию; она не отзывала его до тех пор, пока посол действительно не провинился в ее глазах. Провинился он тем, что поступил не так, как следовало в деле епископа Садковского<sup>168</sup>; потом испугался и позволил себе давать советы о заключении постыдного мира с турками: Екатерина не любила таких советов, особенно от тех, кого не спрашивала. Наконец, Штакельберг позволил себе без спросу непосредственно сноситься с русским посланником в Берлине графом Нессельродом, поручать ему, чтобы старался узнать мысли тамошнего министерства насчет наследства польского престола. Екатерина заметила Штакельбергу по этому случаю: "Не могу оставить без примечания, чтоб вы таковых препоручений не делали, ибо помянутый министр имеет отсюда достаточные наставления, как и о чем говорить с сим кабинетом, от которого, конечно, никакого дружественного и чистосердечного поступка ожидать не можно".

Новый русский посол нашел Варшаву в сильном движении по поводу предложения основных перемен в правительственной форме. Предложение ввести наследственное правление встретило сильное сопротивление; должны были ограничиться предложением избрать при жизни короля наследника престола. Продолжающиеся хлопоты Пруссии о Данциге и Торне охладили энтузиазм поляков к великодушному союзнику; но при этом вражда к России не уменьшалась: польский посланник в Константинополе Петр Потоцкий хлопотал о заключении союза между республикою и Портою.

Когда Булгаков дал знать в Петербург об этом положении дел в Польше, то получил следующий наказ от императрицы<sup>169</sup>: "Теперь имею вам предписать не иное что, как только чтоб вы продолжали тихим, скромным и ласковым обхождением привлекать к себе умов, пока наш мир с Турками заключен будет. Друзей наших обнадежьте, что преданность их к нам не останется без признания, но к сему еще время не настало. Рейхенбахский конгресс открыл глаза многим Полякам, сдернул бельмо с очей ослепленной публики и в прочих землях, ибо тут явно открылось, что ни о чем ином дело не шло, а кроме о собственной гордости и барышей того, который вздумал сделаться диктатором Европы и который в самом деле лишь только что целит на Польские поссессии и для того заводит их в хлопоты и отдаление от нас, яко державы, которая одна ему препятствует своею



неустрасимой твердостью выполнить его намерения. Ежели мы могли сие обдержать посреди Турецкой и Шведской войны, то теперь, когда со Швецией мир заключен, то нас тем паче к тому руки развязаны. Польша, заключая союз оборонительный и наступательный с Портою, в самом деле сильнее не будет, понеже слабое и растроенное состояние Турок вам довольно известно; но сей химерой лишь ее от нас стараются отдалить, тогда как она более всего может иметь нужду в нас для обеспечения ее целости. Кто ей словами обещал Галицию и Молдавию, тот ей ныне сулить может Киев, Белорусь, Смоленск и Москву. Мы бы с более основанными речами могли им обещать всю ост и востовую Пруссию, ежели бы не почитали за нелепу и непристойность сулить и обещать чужое и что неподвластно нам ныне, но тридцать лет назад в наших руках, однако, завоевано оставалось, а прочее не иначе как по заключенной с ними и с Венским двором конвенции занято, по тогдашним неотступным докукам теперешних союзников нынешнего сейма Польского.

Что войска речи посполиты подвинулись к Украине, к нашей границе, сие нам известно, и наши расположены же кордоном войска на всякой отпор. Пусть король Прусский сыплет деньгами: скорее его сокровища исчерпнуты (будут), в чем сам министр его, пишучи к своему одному другу, признался такими словами: мы возвратимся в Берлин с пустым кошельком, со страшными вооружениями по пустому и с непримиримыми врагами. Понеже надворный маршал Потоцкий (Игнатий), не смотря на присягу свою, к деньгам оказался лаком: где полезен быть может, вы то к случаю не оставьте сие употребить в нашу и друзей наших пользу. Касательно особы короля Польского слабое его поведение нам довольно известно; понеже он кроме нас всегда мало имел подпору, то вы к нему, как и ко всей нации, сохраните все должное уважение; если же он избегает обращения с вами, то и вы лишнее не окажите стремление приблизиться к нему. Не умножит он к себе почтение, брав со всех сколько может и быв окружен Италианцами, приверженными к единоземцу своему маркизу Лукезинию. Личное разорение многих из сеймующих, кои, бросая дела, разъезжаются, оставляя все в руках у тех, кто живет прусскими деньгами, и выводимые ваши из того заключения, что все будут падки на деньги, когда кто дороже заплатит, суть весьма справедливы; но время еще не настало, ни за что приниматься не надлежит, дондеже

мир с Турками не заключится, а до тех пор пусть Поляки чувствуют все неистовство своего поведения и да проживут на счет короля Прусского; кто похочет и вы сказать можете, что не деньги, не приказание ни имеется ни на что и совершенно пассивной (будьте) зритель происходящего и будьте единственно сохранение (о сохранении) доброго согласия между нами и республики.

Касательно умысла сделать Польскую корону наследною с удовольствием вижу, что оной обратился счастливо в ничто. Патриотический фанатизм принудил короля стараться о том; равномерно, не успев в одном, принялся он за другое: и именно, чтоб наследник был выбран при его жизни и тотчас; но сие противно законам тем польским, кои гласят, что при жизни короля да не изберется король или преемник короны. Но каково бы при разосланном вопросе по провинциям — хочет ли народ теперь выбрать наследника? не подействовали прусские деньги, сей вопрос сам по себе либо в последствии не решится без нас, и тут подкрепить вам надлежит сперва мысли тех, кои сему незаконному выбору найдете противны, они довольно имеют и примеры до того не допустить, и буде явно будут рекламировать подпору и помощь нашу, то непременно дадим; желательно было, если б дело протянулось до мира, но, однако, в приготовлении умов пройти могут несколько месяцев, а мир, если Бог изволит, не замешкается долее заморозы. Не единой из кандидатов Лукезины нами до Польской короны допущен быть не может, понеже по чести и достоинству должны будем держаться статьям трактата: да не падет выборна иного, кроме Пиаста, из Пиастов не на (кого, кроме) колебленно привязанного к России. Но теперь казус не о выборе короля, которой еще здравствует, но о кандидате к наследию, Прусским королем Польше даруемом: для того либо препятствовать и не допустить сего выбора, либо нам придет изгнать избранного, а без нас дело не обойдется. Король Станислав на обещанные ему деньги для уплаты своих долгов не более класть может надежду, как король Шведский на субсидии, в надежде коих разорил себя и свою землю. Постарайтесь под рукою колко можно умы удержать, дондеже получите известие о заключении мира, после которого тон возвысим.

Приласкайте Поляков как возможно больше; ежели их видите склонны к реконфедерации и к рекламации нашей помощи, то примите

то и другое на донесение пассивное, а за ними не ходите, и не оказывайте, что нам сие нужно либо на сердце лежит. Доброжелающим, подпору требующим, кои разумеют под оною какой-нибудь поступок (уступку) с нашей стороны в пользу Польши, скажите, чтоб они вам открылись явнее, в чем оной поступок состоять имеет для их пользы. Я мышлю, что в их деле, по злобе нации Польской к России, мешаться не должно, дондеже часть нации меня не призовет, разве откроется впредь случай такой, где с пристойностию к тому приступить могу, которого не упущу, конечно. С удовольствием вижу, что гетмана графа Браницкого расположения таковы, как вы их описываете. Вы не оставьте его племянника и сестру подкрепить в нынешнем их переменившем (ся) образе мыслей".

Булгаков сообщил в Петербург план Игнатия Потоцкого соединить Польшу с Пруссиею под одним королем<sup>170</sup>. Императрица отвечала: "Когда за несколько лет у некоторых Поляков приходила мысль о соединении России с Польшею, тогда от нас сей план оставлен был в молчании, понеже мы взирали на Польшу, яко на державу посередине четырех сильнейших находящуюся и служащую преградою от многих соседственных раздоров. Сию преграду сохранить елико возможно долее мы пеклись донныне и пещись будем; дондеже злостные затеи врагов наших и самой Польши нас не принудят переменить наше об ней благое расположение, и всякой благомыслящий Поляк в нас найдет, следовательно, во всякое время защиту свою и отечества его. Таковые и тому подобные рассуждения дозволяем вам употребить и внушать друзьям нашим".

План Потоцкого не нашел поддержки; гораздо более приверженцев имел курфюрст Саксонский. В октябре положено было, чтобы сконфедерованный старый сейм оставался в полном составе до тех пор, пока утвердится новая форма правления, но число депутатов должно быть удвоено новыми выборами. В конце 1790 и начале 1791 года преобразователей одушевляло враждебное положение Пруссии и Англии относительно России по вопросу о status quo турецкого мира: ждали войны, в которой хотели принять деятельное участие и между тем беспрепятственно провести преобразования. Но вот приходит страшная весть, что англо-прусская коалиция против России расстроилась и Польша будет предоставлена самой себе. Решили не медлить более и вдруг провести на сейме новую конституцию: иначе

приверженцы старины и России усилятся и помешают делу. Игнатий Потоцкий, Пиатоли и Коллонтай принялись работать над новою конституциею; для проведения ее к ним присоединились сеймовый маршал Станислав Малаховский, братья Чацкие, Станислав Солтык, племянник известного епископа, Потоцкий, Чарторыйские, Немцевич, Вейссенгоф, Мостовский, Матушевич, Выбицкий, Забелло. Наступала Пасха, приходившаяся в этот год 24 апреля (нового стиля). На Пасху многие депутаты разъезжались из Варшавы по домам и не могли возвратиться к началу заседаний, то есть к Фомину понедельнику, 2 мая. Хотели воспользоваться отсутствием противников, а свои были все тут, не разъезжались. Вторник, 3 мая, назначен был для переворота. Послушаем одного из очевидцев событий знаменитого дня<sup>171</sup>:

"На рассвете меня будят: "Пан! что это в Варшаве делается? Войска валят к замку, Краковским предместьем". Я вскочил с постели и на улицу: идет полк; полковник знакомый, — я к нему: "Что это значит?" "Хоть убей, не знаю, — отвечал полковник. — Ночью получил приказ выступать". Идет полк конной гвардии; капитан знакомый — я к нему: тот же ответ! Встретил еще несколько знакомых: никто ничего не знает; одни говорят, что король умер, другие, что бунт какой-то. Пустился я к замку: Краковское предместье залито войском, стоят пушки. Теснота страшная, булавке негде упасть! А никто не знает, что такое. Здесь и там раздавались крики: "Виват, круль!" Из Краковских ворот показывается густая толпа народу с криками: "Виват, Малаховский!" В середине несут на руках Малаховского, маршала сеймового, окруженного сенаторами и депутатами. Окна соседних домов унизаны зрителями, машут платками, хлопают в ладоши, кричат: "Виват!"

Так было на улице; но посмотрим, что делается в Избе (сеймовой зале). Изба наполнена сенаторами, послами (депутатами), генералами, арбитрами (посторонними посетителями); король тут. Сеймовый маршал Малаховский открывает заседание объявлением, что польские министры, находящиеся при разных дворах, прислали печальные вести. Новое несчастье грозит Польше! Станислав Солтык трагическим тоном объясняет, в чем дело: "Не только дипломаты, все поляки, находящиеся за границу, пишут согласно, что иностранные дворы готовят новый раздел Польши. Медлить нельзя, мы должны воспользоваться настоящею минутою для спасения отечества". Тут

Сухоржевский, прежде один из самых сильных крикунов против России, а теперь ставший поборником старой воли, просит позволения говорить. Ему не дают говорить; он бросается на колени, проползает между ногами предстоящих к трону и умоляющим голосом просит позволения говорить. Король дает ему это позволение. Сухоржевский начинает говорить о заговоре против свободы; кричит, что не хочет наследственного правления. После этой сцены читаются депеши из Гааги, из Петербурга: сообщаются слухи о разделе; о том, что мир с турками будет заключен насчет Польши. Дипломаты советуют для избежания удара торопиться великим делом новой конституции<sup>172</sup>. Игнатий Потоцкий обращается к королю, чтобы тот в своей мудрости указал средства спасти отечество. "Мы погибли, — отвечает король, — если долее будем медлить с новою конституциею. Проект готов, и надеюсь, что его нынче же примут; промедлим еще две недели — и тогда, быть может, уже будет поздно". Читают проект:

1) Господствующею признается католическая вера; все прочие терпимы. 2) Все привилегии шляхты сохраняются. 3) Все города вместе имеют право присылать на сейм 24 депутата, которые представляют желания своих доверителей; право же голоса имеют только при рассуждении о тех делах, которые непосредственно касаются городского сословия. Горожане получают право служить в войске, кроме национальной кавалерии, которая составляется из шляхты, в духовном звании — могут быть прелатами и канониками; вместе с шляхтою заседают в комиссии полицейской, финансовой и в ассессорских судах, где решаются в последней инстанции споры городов и мещан с шляхтою. Во всех этих верховных комиссиях мещане имеют голос действительный и решительный по всем делам, касающимся городов и торговли. После двух лет службы в означенных комиссиях мещане возводятся в шляхетское состояние; в военной службе они достигают этого по достижении капитанского чина. Мещанин может покупать шляхетские земли и получает чрез это шляхетские права на первом сейме. Каждый сейм будет жаловать шляхетские права 30 мещанам, избирая таких, которые отличились или на военном поприще, или на промышленном, отличились устройством мануфактур, фабрик и предприятиями, полезными для торговли. 4) Сохраняются договоры, которые землевладельцы заключили со своими крестьянами или впредь заключат. Иностранцы пользуются полною

свободою. 5) Законодательная власть принадлежит сенаторской и посольской избе. Каждые два года собирается обыкновенный, каждые двадцать пять лет — конституционный сейм. 6) Исполнительная власть принадлежит королю и его Совету, который состоит из шести министров, ответственных пред нациею; король может их назначать и увольнять; он должен их сменить, если две трети сейма того потребуют. 7) Устанавливается наследственное правление; по смерти царствующего короля престол принадлежит ныне царствующему курфюрсту Саксонскому, а по нем — его дочери; король и нация избирают для нее супруга. 8) Конфедерации и *liberum veto* уничтожаются.

Маршал Малаховский начинает превозносить проект. "У нас перед глазами два республиканских устройства, — говорит он, — английское и американское; наш проект, по моему мнению, превосходит их оба и обеспечивает нам свободу, безопасность и независимость. Умоляю короля принять вместе с нами эту новую конституцию и тем обеспечить благополучие Польши".

Но некоторые депутаты не хотят этого благополучия; начинаются горячие споры. Чтобы поддержать защитников проекта, король объявляет: "Иностранные министры хлопочут изо всех сил, чтоб помешать принятию новой конституции; один из них признался, что если проект пройдет, то это повлечет за собою большие перемены в европейской политике и они будут принуждены почтительнее обходиться с Польшею". Но споры продолжаются; многие депутаты не хотят сейчас же принять проект, без обсуждения; защитники проекта требуют от короля, чтобы он сейчас же присягнул на новой конституции, "все любящие отечество поляки последуют его примеру". Король провозглашает, что всякий, кто любит отечество, должен быть за проект, и спрашивает: "Кто за проект, пусть отзовется!" В ответ крики: "Все! Все!" Не хотят даже допустить вторичного чтения проекта. Арбитры кричат: "Да здравствует новая конституция!" — изаглушают крики: "Nie ma zgody!" ("Не согласны"). Королю подносят Евангелие, и он присягает. Заседание кончилось: король встает, чтобы идти в костел Св. Яна; большинство за ним; познаньский депутат Мелжынский, противник новой конституции, падает наземь перед дверями, чтобы воспрепятствовать выходу, но понапрасну: шагают

через него, топчут. Около 50 депутатов остаются в Избе и решают подать протест против принятия новой конституции.

Но протеста не принимают в городском суде. Вся Варшава охвачена восторгом. В костеле Св. Яна присягают на новой конституции сенаторы и депутаты, после чего отправляется благодарственный молебен. Воздух потрясается от грома пушек и восклицаний многочисленной толпы. 4 числа приезжает в Варшаву гетман Браницкий с 400 шляхты, хочет подать в градском суде протест против решения сейма 3 мая, но суд заперт. 5 мая опять заседание сейма с восторгами; сеймовый секретарь читает проект: так как теперь все сословия равны перед законом и мещанам открыт доступ до высших чинов, то и шляхте дозволяется заниматься торговлею и участвовать в правах городских. Проект принят с восторгом, без рассуждения. Король начинает говорить. Исчисливши выгоды для страны от новой конституции, он заканчивает словами: "За все претерпенное мною в продолжение царствования я награжден этим восторгом и единодушием моего народа". При этих словах король заливается слезами; Изба потрясается криками: "Да здравствует король! Да здравствует возлюбленный Станислав-Август! Король с народом, народ с королем!" По окончании заседания оба маршала сеймовые, сенаторы, депутаты, арбитры потянулись к ратуше; там Малаховский, Сапега и другие объявили, что желают вписаться в число мещан. Это произвело новый взрыв восторга; толпа выпрягла лошадей из кареты Малаховского и привезла на себе нового мещанина. На другой день Сапега явился на сейм в кожаной лакированной портупее, на которой виднелась бляха с надписью: "Король с народом, народ с королем!" С такими же бляхами явилось и несколько депутатов литовских. Не прошло трех дней, как эти бляхи были уже на большей части жителей Варшавы; золотых и бронзовых дел мастера, седельники, бросив все другие работы, только и делали, что портупеи с бляхами. Вечером в Саксонском саду показалось несколько знатных дам с голубыми поясами, на которых черными буквами были выбиты слова: "Король с народом, народ с королем!" — и вот все варшавянки бросились заказывать себе такие же пояса<sup>173</sup>.

Гетман Браницкий не решился плыть против течения и вместе с другими противниками конституции 3 мая подписал ее. Успех Игнатия Потоцкого с товарищами, по-видимому, был полный. Но, взглядевшись



внимательнее, легко было увидеть, что знаменитая реформа была делом партии, была проведена заговором. 3 мая присутствовало на сейме не более 157 членов, отсутствовало не менее 327<sup>174</sup>; богатые варшавские мещане были за реформу, которая открывала им дорогу к шляхетству; их восторг был неподдельный, но много было также и поддельных голосов. Многочисленные противники реформы, привыкшие уступать всякой силе, теперь испугались варшавских восторгов и замолкли, но вовсе не отказались от своих старых убеждений и ждали только удобного времени, чтобы подняться, опираясь на какую-нибудь внешнюю силу. За скорую победу ручалось им, во-первых, то, что в провинциях большинство было враждебно или равнодушно к реформе; во-вторых, паралич государственного и народного тела, которое нельзя было возбудить, к жизни никакими реформами, никакими восторженными криками, портупелями и поясами, к чему присоединялась еще слабохарактерность короля и между виновниками реформы отсутствие человека с великими государственными способностями; в-третьих, наконец, отношение к соседним державам: в продолжение нескольких лет были употреблены все средства, чтобы раздражить Россию; раздражили Россию в угоду Пруссии, а Пруссию оттолкнули отказом уступить ей Данциг и Торн.

Майские события не переменили нисколько политики петербургского двора относительно Польши. "Мы как прежде, так и теперь останемся спокойными зрителями до тех пор, пока сами Поляки не потребуют от нас помощи для восстановления прежних законов республики", — отвечала Екатерина на донесения Булгакова о перевороте<sup>175</sup>. После событий 3 мая внимание русского посла было особенно обращено на русское дело в Польше. Еще в ноябре 1790 года Булгаков писал в Петербург: "Дело архиерея Слуцкого начинает подавать надежду к доброму концу. Король спрашивал комиссию, его судящую, заклиная сказать правду. Главный его неприятель Залеский отвечал, что, по совести говоря, не находит в нем вины. Приняли намерение выпустить его на волю, если никакое новое обстоятельство не переменит их добрых расположений". Добрых расположений не оказалось; епископ продолжал сидеть под стражею. 2 мая 1791 года православные подали сейму просьбу об установлении у себя иерархии и отправлять повсюду свободно все обряды своей религии. Правительство позволило им держать для этого предмета конгрегацию

в Пинске. 15 июня собрались здесь 100 православных депутатов духовных и мирян и в продолжение двух недель держали конференцию, сочиняли проекты об учреждении в Польше церковной иерархии, составляли списки церквей и всех лиц, исповедующих греческую веру, а 1 июля в присутствии присланного от сейма комиссара, сендомирского посла Кохановского, принесли присягу на верность королю и республике, на повиновение и защиту конституции 3 и 5 мая, отрекаясь от всякой заграничной зависимости и сохраняя по духовным только делам отношения к Константинопольскому патриарху, пока республика не учредит в своих владениях отдельной грековосточной иерархии<sup>176</sup>.

Когда узнали об этом в Риме, то забили тревогу. Кардинал-префект пропаганды сейчас же написал мемуар из трех пунктов: 1) Неприлично в католической стране давать чуждому исповеданию те же права, какими пользуется господствующая вера. 2) Такой пример очень опасен и повлечет за собою множество дурных последствий для господствующей религии, которая будет все более и более ослабевать и которую постараются уничтожить окончательно. 3) Не одни религиозные побуждения, но и политические причины не позволяют давать больших прав в Польше грекам-диссидентам, ибо они каждую минуту могут нарушать спокойствие государства и будут орудиями, которые Россия употребит для достижения своей цели, а эта цель — порабощение Польши, превращение ее в русскую провинцию.

14 сентября нунций подал королю грамоту от своего двора с представлениями против дарования прав православным. Король отвечал, что дело зашло слишком далеко и воспрепятствовать ему нельзя, тем более что затеяли его лица очень почтенные, которые не захотят отстать от него. "Притом же, — прибавил король, — мы надеемся извлечь большую выгоду от Пинского конгресса, а именно — совершенно отвлечь греков от России и таким образом освободиться от ее влияния". "А по моему мнению, — отвечал нунций, — дело невозможное отчудить греков от России, потому что между ними связь самая крепкая — связь религиозная. Они теперь дают обещания и клятвы для того только, чтоб получить известные выгоды. Патриарх Константинопольский на жалованьи у России и, следовательно, будет поддерживать всегда между греками привязанность к России и отвращение к тем, которые не одной с ними веры".

После этого нунций получил из Рима такой наказ: "Нет сомнения, что приверженцы новой философии стараются повсюду, следовательно, и здесь распространять учение о неограниченной терпимости и смешивать таким образом все религии, чтоб не было потом ни одной. Нет сомнения, что проповедники нового учения настроили и греков предъявить свои требования. Если уже непременно хотят удовлетворить некоторым требованиям греков, то вы должны соглашаться только на самые неважные. В крайности можно допустить, чтоб у них был один епископ и чтоб все оставалось по-старому".

Таким образом, новые польские порядки возбудили сильное негодование в Риме. Иначе было в Вене. Здесь все взгляды, все отношения подчинялись одному основному правилу: не давать усиливаться Пруссии. "Императорские дворы, — писал Кауниц Люю Кобенцелю в Петербург, — должны выбирать одно из двух: или противиться утверждению нового порядка вещей в Польше, или расстроить виды Берлинского двора, объявивши себя за революцию. Несомненно, что первое из этих решений будет иметь необходимым следствием тесный союз между Польшею, Саксониєю и Пруссиею — будет содействовать именно тому, чего Берлинский двор может желать более всего в своей вражде к обеим империям. Притом же настоящие обстоятельства вовсе не благоприятствуют такому предприятию, которое встретит всякого рода препятствия, и успех будет очень сомнителен. Напротив, Австрии и России очень выгодно объявить себя за революцию 3 мая. Разумеется, в случае окончательного утверждения нового порядка вещей в Польше могут встретиться вещи, вовсе не желательные обоим императорским дворам; но ведь дело идет об учреждениях, для утверждения которых надобны года и года: Австрия и Россия, продолжая искреннее согласие во всем, касающемся их интересов, могут легко найти средство положить преграду тому, что для них неудобно. Верно одно, что в настоящую минуту нечего больше делать, как отнестись дружелюбно к последним польским событиям, и это особенно необходимо относительно Саксонии, которой нейтралитет так полезен в случае войны с Пруссиею"<sup>177</sup>.

Легко понять, как принято было это внушение в Петербурге. Объявить себя за революцию 3 мая! Легко было это говорить Кауницу, потому что Австрия не подвергалась в Польше с 1788 года

постоянным, нестерпимым для могущественной державы оскорблениям: Австрии не было дела до того, что Станислав-Август с Игнатием Потоцким хотели восстановить дело Витовта, уничтоженное Московским договором, разделить русскую церковь, но для России это был жизненный вопрос. Первый раздел Польши, предложенный Пруссией, представлялся в Петербурге преимущественно разделом Польши, и потому на него неохотно согласились; но когда в Варшаве вздумали восстановить дело Витовта, то вопрос получил для России уже настоящее значение: дело пошло уже не о разделе Польши, а о соединении русских земель. Польша стала грозить разделением России, и Россия должна была поспешить политическим соединением предупредить разделение церковное. Австрия твердила о вражде Пруссии к обоим императорским дворам; но императорский Российский двор хорошо знал, от чего эта недавняя вражда у Пруссии к России: от того, что Россия соединилась с враждебной для Пруссии Австриею; это соединение произошло потому, что Австрия согласилась поддерживать виды России относительно Турции; но Турецкий, Восточный, вопрос терял на время свое значение: на первом плане стоял вопрос Польский, и если Австрия отказывалась тут содействовать видам России, то надобно было сблизиться с Пруссией, которая всегда будет в восторге от этого сближения. Но война Турецкая еще не кончена, и потому не время приступать к чему-нибудь решительному — надобно отмалчиваться и ждать, когда настанет пора говорить и действовать. А между тем на западе Европы происходят явления, которые подают надежду, что не нужно будет менять союз австрийский на прусский — можно сделать то, что было совершенно немыслимо прежде — остаться в союзе с Австриею и в то же время возобновить союз с Пруссией и заставить обе державы содействовать видам России: эту надежду подавали воинственные движения революционной Франции.

Со вниманием с самого начала следила Екатерина за разгаром Французской революции, указывала на ошибки правительства, неумение пользоваться людьми<sup>178</sup>, сердилась на слабость Людовика XVI, на его двуволие, не ждала ничего доброго от этого, предвидела, до каких крайностей может дойти движение<sup>179</sup>. Когда эти крайности обнаружились, когда революционная Франция начала грозить европейским монархиям войною и пропагандою своего

политического учения, Екатерина заговорила о необходимости единодушного действия против революции; охотно приняла предложение Австрии и Пруссии действовать заодно, сейчас же назначила большую сумму денег для вспоможения принцам, братьям Людовика XVI, и эмигрантам. Хлопоча о составлении и поддержании коалиции против Франции, Екатерина имела две цели: с одной стороны, она считала необходимым для безопасности престолов остановить революционные движения и пропаганду. Самым лучшим средством для этого она считала возбуждение внутреннего антиреволюционного движения во Франции, во главе которого должны стать принцы, братья королевские. Они должны были опереться не на иноземные войска, но на многочисленных французов, не сочувствующих революции или ее крайностям, сосредоточить их около себя, обещанием забыть прошлое должны были успокоить противников — одним словом, действовать, как действовал знаменитый предок их Генрих IV, успокоивший взволнованную Францию: успех был несомненен, ибо Франция, по убеждению Екатерины, была страна монархическая. С другой стороны, возбуждая Швецию, Пруссию и Австрию к согласному действию против революционной Франции, Екатерина хотела отвести внимание этих держав от востока на запад, приобрести этим для себя полную свободу действия, восстановить то блистательное положение России, которое имела она до 1788 года<sup>180</sup>.

Густава III Шведского легко было отвлечь на запад: русская императрица представила ему, какую честь, славу и пользу получит он, принявши начальство над войском, которое пойдет восстанавливать Французскую монархию, по примеру Густава-Адольфа, который спас Германию от Австрии. Густав III тем более обязан это сделать, что Швеция поручилась за Вестфальский договор, нарушенный теперь Францией, которая изменила отношения Эльзаса к Германской империи, выговоренные в Вестфальском договоре. Труднее было убедить германские государства, Пруссию и особенно Австрию, вступить за Германскую империю; труднее было убедить императора Леопольда вступить за свою сестру, французскую королеву Марию-Антуанетту. Императору Леопольду не хотелось вмешиваться во французские дела, пока он не вывел еще окончательно Австрию из того затруднительного положения, в каком оставил ее Иосиф, и пока не

кончился Восточный вопрос; притом Леопольд с радостью думал, что революция обессилит Францию; что вследствие ограничения королевской власти уже не явится оттуда новый Людовик XIV. Если нельзя избежать войны с Францией вследствие задирок ее революционного правительства, то по крайней мере Леопольд хотел вести эту войну не один, а в союзе с Англией, Россией и Пруссией. Так уже Французская революция начала действовать на перемену политической системы, которая сначала условливалась религиозною борьбою и стремлением Габсбургского дома, потом стремлениями Людовика XIV, далее стремлениями Фридриха II Прусского, а теперь Французская революция заставляет Восточную и Среднюю Европу соединяться с Англией против Франции. Польша погибнет при этом образовании новой системы; Восточный вопрос отложится; но система созреет не скоро, ей будет особенно мешать соперничество Австрии и Пруссии; чтобы она созрела, нужен будет Наполеон и его гнет над Европою.

В августе 1791 года император Леопольд имел свидание с прусским королем в Пильнице. Сюда же явился младший брат Людовика XIV граф Артуа и передал обоим государям записку, в которой требовал: чтобы родственники королевы Марии-Антуанетты и государи Бурбонского дома протестовали против действий Французского национального собрания, объявили решения его недействительными и со стороны короля вынужденными; чтобы старший после короля брат, граф Прованский, был объявлен регентом; чтобы жители Парижа объявлены были под смертною казнию ответственными за безопасность королевской фамилии; чтобы император вместе с Пруссией и Сардиниею двинул войска к французским владениям и позволил эмигрантам вооружаться в своих владениях. Император и король отвечали: восстановление порядка и монархии во Франции — вопрос важный для всей Европы; государи имеют намерение пригласить к соучастию все державы, и если они согласятся, то Австрия и Пруссия обещают свое деятельное вмешательство. Но Англия уже объявила, что в случае разрыва между Австриею и Францией будет содержать строжайший нейтралитет.

Французские принцы обратились к русской императрице; посредником был принц Наесау-Зиген, которого они ввели в свой совет. Екатерина назначала 500 000 рублей на вспоможение принцам,



но писала к Нассау: "Буду хлопотать изо всех сил о союзе держав против революционной Франции, но для успеха первое и самое существенное условие состоит в том, чтобы принцы полагались гораздо более на самих себя и на своих многочисленных приверженцев французов, чем на какую-нибудь внешнюю помощь; пусть установят порядок и дисциплину у себя, пусть господствуют между ними любовь и взаимная доверенность, пусть поддерживают мужество, внушают энтузиазм, необходимый для окружающих, пусть выбирают удобную минуту и, выбравши, действуют немедленно. Денежные затруднения будут продолжаться, только пока они находятся вне границ Франции. Я писала к королю Прусскому, к императору, к королю Шведскому, послала убедительные внушения и к королеве Французской, чтоб она действовала заодно с принцами"<sup>181</sup>.

Екатерина обещала хлопотать изо всех сил о союзе против революционной Франции; Леопольд хлопотал изо всех сил, чтобы как-нибудь отклонить Французскую войну. Его сильно беспокоило молчание России относительно Польши, относительно революции 3 мая; а тут новое сильное беспокойство со стороны Пруссии; 9 октября берлинский двор сообщил венскому, что принцесса Оранская, сестра короля Фридриха-Вильгельма II, хочет женить второго сына своего на принцессе Курляндской Бирон, с тем чтобы Курляндия перешла к этому принцу. Король писал императору, чтобы тот осведомился в Петербурге, согласится ли на это Россия.

В сильном беспокойстве о Польском вопросе Кауниц писал Кобенцелю в Петербург: "Тяжелый опыт в продолжение слишком столетия давал чувствовать Европе тот перевес, который имела Франция под неограниченным правлением, благодаря физическому положению и громадным средствам этого государства. Австрия убеждена, что ничто не может так обеспечить ее рассеянные и окруженные могущественными врагами владения, как ослабление внутренних пружин этой грозной монархии — ослабление, которое отвлечет ее энергию от внешних предприятий. Оба императорские двора должны немедленно и откровенно объясниться насчет польского дела. Еще 23 мая мы сообщили Петербургскому кабинету наши идеи, просили дать нам знать об идеях императрицы. Не раз вашему превосходительству был обещан ответ. Медленность в исполнении этого обещания ставит нас вдвойне в затруднительное положение: во-



первых, потому, что из настоящих внутренних и внешних отношений республики могут выйти самые невыгодные результаты, если оба императорские двора не примут сейчас же определенного решения. Во-вторых, так как нашему двору необходимо отвечать дворам Дрезденскому и Берлинскому благоприятно относительно новой польской конституции, то нам будет очень прискорбно, если мы в этом случае, по незнанию, будем говорить разное с нашею союзницею Россиею. У Австрии и России одни виды насчет Польши: обе должны желать, чтоб Пруссия не увеличивалась насчет Польши и чтоб Польша не усиливалась и не стала опасною соседкою, тогда как Пруссия желает слабости Польши с единственною целию распространить свои владения на ее счет.

Из сказанного выводятся следующие заключения: 1) Дальнейший раздел Польши может быть выгоден только одной Пруссии, значит, более вреден, чем полезен, обоим императорским дворам. 2) Необходимо полагать ограничения королевской власти в Польше и вообще поддерживать дух независимости в польской шляхте. 3) Не менее, однако, необходимо в будущем положить конец этому крайнему беспорядку: ничто так не выгодно для прусских планов, как эти частые выборы королей и легкость, с какою меняются конституции благодаря страшной неправильности в управлении и сеймах. 4) Наследственный король Польский будет всегда искреннее предан обоим императорским дворам, чем король избирательный, который никогда не может действовать по одной постоянной системе. Наследственный король будет тщательно охранять целостность владений республики, взирая на эти владения, как на наследство и поддержку своей фамилии, — поэтому будет сильнее противиться прусским видам, чаще требовать помощи у других своих соседей, преимущественно у России, чем король избирательный, готовый всегда жертвовать владениями, которые по его смерти перейдут к другой фамилии. Пример показал нынешний король Польский, который благоприятствовал прусскому проекту сделать из уступки Данцига статью простого торгового трактата. 5) Легче будет обоим дворам императорским препятствовать улучшению состояния Польши, ибо и Пруссия никогда не позаботится об этом улучшении. 6) Шляхта будет сильнее противиться дальнейшему усилению королевской власти при короле саксонце или вообще при иностранце, чем при Пясте. 7) Если не дать польской форме правления большей

твердости, то надобно бояться, чтоб французские демократические принципы не взяли здесь верха, что будет опасно для соседей. 8) Установление наследственности Польского престола, быть может, представляет лучшее средство к уничтожению энтузиазма и тщеславия поляков, их желания существовать самостоятельно, их удаления от всякого постороннего влияния, их страсти к образованию могущественной армии, их склонности к патриотическим пожертвованиям и значительным субсидиям. Оно внесет дух несогласия, породит партии в этой беспокойной нации по предметам внутреннего управления, особенно усилит противодействие малейшему увеличению государственной власти"<sup>182</sup>.

Понятно, что венский двор не мог никого убедить этими доводами в Петербурге — мог только раздражить, идя с такою назойливостью против русских интересов. Кобенцель не получил и на этот раз никакого ответа. Императрица высказалась перед своими об австрийской ноте в таких выражениях: "По делам Французским Венский двор пишет и делает такое противоречие, которое ни на что не похоже. Речам же императора впредь мало веры дать можно. По его доказательству и предложению мы вошли в его дела: ни противоречить, ни переменить наше поведение я не нахожу пристойно, еще менее плясать по переменчивому Италианскому макиавеллизму, который, сделав шаг вперед, поворачивается назад, не смотря на то, теряет ли достоинство и пристойность. Положение короля Французского отчаянное: он и члены семейства его — люди мертвые. Очень бы я желала быть дурною пророчицею. Вести переговоры с бунтовщиками не нужно. Все, что может сделать Венский двор самого благоразумного в пользу короля и королевы Французских, — это держать наготове значительный корпус войска, который мог бы войти во Францию в случае нужды. Надобно согласиться, что план Венского двора настоящий Австрийский, план прирожденного врага Франции. Император с королем Прусским будут владычествовать в Германии. Я боюсь их гораздо более, чем старинную Францию во всем ее могуществе и новую Францию с ее нелепыми принципами. Поведение императора не показывает ни благородства в мыслях, ни благородства в действиях, ни одной определенной идеи, везде недостаток принципов и энергии, и это они называют мудростию, благоразумием: поздравляю их с этим, но подражать им не хочу. Заметьте, что Венский

двор всегда старался удалить нас от европейских дел, исключая случаев, когда для собственных целей увлекал нас ко вмешательству... С течением времени французы все более и более будут примыкать к партии принцев, братьев королевских, ибо монархическое правление есть единственное приличное для Франции; всегда здесь, во всех восстаниях против монархического правления, оно торжествовало напоследок. Я читаю будущее в прошедшем"<sup>183</sup>.

Относительно Польского вопроса Екатерина писала: "У нас трактаты с Польшею; трактаты имели для нас всегда священную обязательность, и так как от этого зависит безопасность Империи со стороны Польши, то у нас не будет других правил, кроме наших трактатов. Все, что противно нашим трактатам с Польшею, противно нашему интересу. Заключив трактат с республикою, гарантировав раста conventa (ограничительные условия) нынешнего короля, нарушенные конституциею 3 мая, я не соглашусь ни на что из этого нового порядка вещей, при утверждении которого не только не обратили никакого внимания на Россию, но осыпали ее оскорблениями, задирали ее ежеминутно. Но если другие не хотят знать Россию, то следует ли из этого, что и Россия также должна забыть собственные интересы? Я даю знать господам членам Иностранной коллегии, что мы можем сделать все, что нам угодно в Польше, потому что противоречивые полуволи дворов Венского и Берлинского противопоставят нам только кипу писаной бумаги и мы покончим наши дела сами. Я высказываюсь враждебно только к тем, которые хотят меня испугать. Екатерина II часто приводила в трепет врагов своих, но не знаю, чтоб враги Леопольда II когда-нибудь его трусили". Когда некоторые советовали составлять русскую партию в Польше и делать внушения соседним дворам, то Екатерина написала: "А я говорю, чтоб дворам не сказывать ни слова, а партия сыщется всегда, когда нужно будет. Нельзя, чтоб не было людей, кои бы лучше желали старину; тут же дело идет о продаже староств и о уничтожении гетманов. Взять, кажется, тут Воынию и Подолию много разных предлогов, лишь выбрать".

Наконец решительная минута наступила: в конце декабря 1791 года заключен был у России мир с турками в Яссах, и в то же время революционное французское правительство своим поведением относительно Германии заставляло Австрию и Пруссию приняться за оружие. 7 февраля 1792 года последовало соглашение между

Австриею и Пруссиию: каждая обязалась выставить от 40 до 50 000 войска для войны Французской. Союзники поневоле, занимаясь делами Франции, не могли забыть о Польше, и тут Леопольд для поддержания союза должен был уступить Пруссии, которая объявила, что конституция 3 мая противна ее интересам; что союз ее с Польшею 1790 года нисколько ее не обязывает относительно новой конституции. Леопольд мог выговорить только следующий сепаратный артикул: "Союзники согласятся и пригласят императорский Российский двор к соглашению с ними в том, что они не посягнут на целость владений и на свободную конституцию Польши (*qu'elles n'entreprendront rien pour alterer l'intégrité et le maintien d'une libre constitution de la Pologne*); что они никогда не будут стараться посадить на Польский престол одного из своих принцев ни посредством брака на принцессе инфанте Саксонской, ни в случае новых выборов и не употребят своего влияния на этих выборах в пользу какого-нибудь другого принца, без взаимного соглашения друг с другом".

Через 10 дней по заключении этого договора прусский посол в Петербурге Гольц получил следующее внушение от двора, при котором находился: "Среди дружественных сообщений между дворами Петербургским и Берлинским по поводу дел французских министерство его величества прусского сделало несколько намеков и относительно дел польских. Ее императорское величество не поколебалась бы отвечать на это с полною доверенностию; но она сочла за нужное отложить, дело до окончания мирных переговоров с Портою. Теперь, когда эта счастливая минута наконец наступила, императрица, не теряя времени, пользуется ею, чтоб изложить свой образ мыслей относительно событий в Польше. Если дело 3 мая прошлого года должно остаться и крепнуть, то нет сомнения, что Польша в соединении с Саксониєю и при помощи новой организации делается опасною или, по крайней мере, неудобною соседкою. Правда, что Россия тут будет обязана только наблюдать за безопасностью своих границ; но Пруссия, кроме того, должна иметь в виду еще Германию, где Саксония, благодаря соединению своему с Польшею, непременно усилит свое влияние и, быть может, получит перевес. Обо всем этом Россия и Пруссия должны серьезно подумать и согласиться как можно скорее насчет мер, которые они должны принять, дабы уладить дела соответственно своим интересам".

Алопеус давал знать, что в Берлине думают отложить вмешательство в польские дела до окончания дел французских. Вице-канцлер Остерман отвечал ему (в феврале): "Вразумляйте, что, чем более дадут времени новому порядку вещей утвердиться в Польше, тем труднее будет после его искоренять, тогда как теперь для этого потребуются очень небольшие усилия, которые нисколько не могут ослабить вооружений против Франции".

В это самое время, когда Австрия своими представлениями, противными самым существенным интересам и достоинству России, заставила последнюю сблизиться с Пруссией, умирает император Леопольд II. Наследник его Франц II сначала хочет следовать политике отцовской: опять идет из Вены предложение в Берлин — согласиться на введение в Польше наследственного правления, а для безопасности соседям от нового соединенного Польско-Саксонского королевства гарантировать постоянный нейтралитет Польши, чтобы она никогда не имела более 40 000 войска. Это предложение приводит короля Фридриха-Вильгельма в сильное негодование. "Никогда, — говорит он, — никогда не соглашусь на это! Для Пруссии не может быть ничего опаснее подобной державы, образованной из соединения Польши и Саксонии; при ее союзе с Австриею у Пруссии не будет Силезии, с Россиею — не будет Восточной Пруссии. Ограничение числа войска — вздор, потому что при первой войне это условие исчезнет само собою". Но король не хотел останавливаться на том, чтобы только помешать соединению Польши с Саксониею: 12 марта он объявил своим министрам, что новый раздел Польши всего выгоднее для Пруссии, а 20 апреля Франция объявила войну Францу II, что заставило и Австрию уступить эту выгоду Пруссии.

Но в то время, когда судьба Польши решалась в Петербурге. Берлине и Париже, что делалось в Варшаве?

## ГЛАВА X

В Варшаве все громче и резче высказывались недовольствия против майской конституции. Самое сильное недовольствие возбуждено было мерою, предпринятою для увеличения финансовых средств: решено было отобрать староства<sup>184</sup> и продавать их. Двое первостепенных вельмож стали во главе недовольных майским переворотом: Феликс Потоцкий, генерал артиллерии коронной, и Ржевуский, гетман польный коронный. Осенью они отправились в Молдавию к Потемкину хлопотать о русской помощи. Потемкин умер: они обратились к Безбородко, ведущему в Яссах мирные переговоры с Турциею. К ним присоединился и великий гетман Браницкий, отправившийся в Россию под предлогом получения наследства после Потемкина. По всем провинциям Потоцкий и Ржевуский разослали письма с обещанием помочь нации возратить ее старые права и вольности; Ржевуский прислал формальный протест против конституции 3 мая, обращенный к королю и Совету министров (Стражу).

Сейм отнял у Потоцкого и Ржевуского их должности; но это нисколько не помогло. Гроза приближалась. Скорый мир у России с Турцией был несомнителен. Польское правительство перетрусилось, как нашалившее дитя, почуяв приближение гувернера. Стали кланяться, заискивать у государыни, которую в продолжение нескольких лет постоянно оскорбляли: в декабре 1791 года отправили в Петербург в очень учтивых выражениях уведомление о перевороте 3 мая, тогда как другим дворам это уведомление было послано давно — берлинскому на другой же день, 4 мая. Раздражили Россию в угоду Пруссии: так, по крайней мере, в Пруссии найдут себе защиту от России. Обратились к Пруссии с просьбою решительно объяснить насчет конституции 3 мая и подкрепить ее своим признанием. Люкезини словесно объявил Станиславу-Августу ответ своего государя: "Его прусское величество сохранит дружбу свою к республике и намерен исполнять все обязательства, содержащиеся в трактате союза; но ни мало не будет вмешиваться в то, что воспоследовало в Польше после заключения этого трактата". Эта

декларация сильно встревожила двор; а тут еще другая причина тревоги: прусский король запретил своим подданным покупать в Польше староства<sup>185</sup>.

Наконец 17 января 1792 года получена была в Варшаве страшная весть о подписании в Яссах мира между Россией и Турцией. В то же время польский министр при петербургском дворе Деболи доносил о своем разговоре с вице-канцлером Остерманом насчет уведомления о майских событиях. Остерман сказал ему: "Я еще не говорил императрице о сделанном вами сообщении, и, признаюсь, у меня едва достанет смелости говорить ей об этом, ибо поляки слишком долго медлили дать ей знать сюда о своей новой конституции, о которой императрица узнала из газет. Ее величеству нечего вам отвечать. Польша объявила, что не хочет допускать никакой гарантии; объявила, что хочет управляться сама собою, без вмешательства какой бы то ни было державы: следовательно, Русский двор не может подать нам никакого совета". Деболи прибавлял, что Россия, согласясь с соседними державами, не даст благоприятного ответа и ожидает только удобной минуты, чтобы обратить свое оружие против Польши. Это донесение так поразило короля, что он упал в обморок. Со всех сторон неприятные вести: в Берлине оказывают большую холодность; в Дрездене курфюрст вовсе не спешит принять опасный дар — наследство польской короны, делает бесконечные возражения, выставляет формальности; в Вене, видимо, хитрят, покажут надежду, которая вдруг исчезнет; ясно одно — что император не отступится от союза с Россией и не побежит за мечтою. Надобно защищаться одним, надобно готовиться к войне; но где средства, а главное — где привычка к такому образу действия? Военные недовольны, жалуются на приказания Войсковой комиссии, кричат против тиранства. Ян Потоцкий, возвратясь из Красного Става (под Люблином), рассказывает о худом состоянии войск, о их ропоте. Князь Иосиф Понятовский, назначенный главнокомандующим, не хочет принять начальства, прежде нежели дадут ему все нужное<sup>186</sup>.

А тут еще на руках тяжелое дело о епископе Викторе и русских священниках, обвиненных в подстрекательстве к бунту. В начале 1792 года король созвал разъехавшихся членов следственной комиссии и приказал им поспешить окончанием дела. Опять допрошены были епископ и священники — и опять ничего нельзя было вывести



преступного из их показаний. Как быть? Какой дать оборот делу; как привязаться к тому, чтобы не иметь в Польше архиерея, зависящего от России? Оправдать Виктора — значит признаться в сделанной ему несправедливости и отнять у себя способ отдалить его от епархии; а осудить, выслать из Польши — не за что! Сделали запрос епископу: зачем он в разных случаях искал покровительства русского посла, как это оказалось из его бумаг? Виктор отвечал, что он следовал общему обыкновению, видя, что не только сенаторы и вельможи, но и сам король находил это нужным<sup>187</sup>.

Между тем Феликс Потоцкий и Ржевуский явились в Петербурге с просьбою о помощи для восстановления старого порядка. Мы видели, что уже давно было решено: оставаться в покое до тех пор, пока сами поляки не потребуют помощи для восстановления конституции, гарантированной Россией<sup>188</sup>. 9 марта отправлено было приказание Булгакову выйти из прежнего недействительного положения, обещать приверженцам старины помощь России. Булгаков прислал два списка — первый заключал имена тех, на которых уже теперь можно было положиться; здесь было 16 сенаторов и 36 послов сеймовых (депутатов); сенаторы были: 1) епископ Инфляндский Косаковский, 2) епископ Жмудский Гедройц, 3) воевода Сирадский Валевский, 4) кастелян Троцкий Платер, 5) воевода Витепский Косаковский, 6) воевода Мазовецкий Малаховский, 7) воевода Мстиславский Хоминский, 8) гетман коронный Браницкий, 9) великий канцлер коронный Малаховский, 10) маршал надворный коронный Рачинский, 11) кастелян Войницкий Ожаровский, 12) кастелян Гнезенский Мясковский, 13) кастелян Инфляндский Косаковский, 14) кастелян Премышльский князь Антон Четвертинский, 15) кастелян Любачевский Рышевский.

Второй список заключал имена лиц, которые, будучи недовольны действиями сейма, присоединяются к первым, как скоро увидят хоть малую надежду на успех; здесь было 19 сенаторов и 20 послов. Булгаков писал при этом, что епископ Косаковский, канцлер Малаховский, маршал Рачинский и кастелян Ожаровский могут заправлять всем делом, на них твердо можно положиться: люди опытные, с связями и кредитом в Польше и с самого начала движения не переставали отличаться преданностью к России. Начать ниспровержение новой формы правления в Варшаве было невозможно,

по мнению Булгакова: "Вся сила, все способы обольщения, наград, обещаний, угроз, наказаний, одним словом — казна, войско, суды находятся в полной зависимости господствующей факции. При наималейшем здесь покушении или сопротивлении всех их сомнут. Сие самое заставляет всех недовольных пребывать в молчании до способного времени не только здесь, но и по провинциям, где их, по моим сведениям, весьма много, без вступления в Польшу сильного войска не можно ни к чему открытым образом приступить"<sup>189</sup>.

Деболи продолжал извещать свое правительство о враждебных намерениях петербургского двора, и господствующая факция сильно хлопотала об усилении средств к защите: сейм все более и более увеличивал власть короля, который сам собирался командовать войском. Столько лет толковали о слабости, бесхарактерности короля — теперь все забыли, не умели вникнуть в смысл этих слов: "Станислав-Август — диктатор! Станислав-Август — военачальник!" Послали занимать деньги в Голландии, генералов и офицеров выписывали из Пруссии. Толковали о самых сильных мерах: о поголовном вооружении (посполитое рушение), об освобождении крестьян. Хотели действовать на Белоруссию, на тамошних крестьян. Игнатий Потоцкий предложил в Комиссии полиции перевести и напечатать на русском языке конституцию 3 мая и разослать по русской границе; в Вильне печатались прокламации для возмущения русских крестьян. Игнатий Потоцкий приходил в восторг, что так легко исполняются его преобразовательные замыслы, говорил: "Поляки так добры, что, несмотря на их набожность и суеверие, я берусь заставить их переменить религию, если это будет необходимо".

Иногда, впрочем, эти восторги и самонадеянность реформатора сменялись грустными размышлениями: новый военачальник, Станислав-Август, обнаруживал беспокойство, во дворце господствовал панический страх. Боялись внутренней немощи, разврата, легкости, с какою можно было подкупать поляков; боялись ложных братии, которые ждали первой минуты, чтобы заговорить: "Вы навлекли на нас войну с вашею прекрасною конституциею; мы жили так счастливо и спокойно без нее". Игнатий Потоцкий говорил: "Мы не боимся войны, но боимся легкости, с какою Россия может сделать контрреволюцию, особенно теперь, когда столько недовольных. Религия — готовое орудие в руках русской императрицы, которым она

может поднять наших украинских крестьян и заставить их биться против нас". 3 мая хотели праздновать годовщину революции заложением церкви во имя Промысла Божия. Когда узнали, что проповедь<sup>190</sup> поручена говорить епископу Малиновскому, то прислали ему безымянное письмо, в котором предлагали следующий текст для проповеди из книги Бытия: "И сниде Господь видети град и столп, его же созидаша сынове человечести... И разсея их оттуда Господь по лицу всея земли: и престаша зиждущи град и столп". Был еще другой пророк, который восторженным, поэтическим языком также предсказывал разрушение града и столпа: то был маркиз Люкезини. "Гром гремит вдалеке, — говорил он, — небо омрачается со стороны Борисфена, гроза приближается, и ясность 3 мая исчезнет навсегда"<sup>191</sup>.

Гроза приблизилась: 19 (30) апреля Булгаков получил от своего двора извещение, что между 1 (12) и 11 (22) мая русское войско под начальством генерала Коховского вступит в Польшу; одновременно с вступлением русских полков образуется на границах конфедерация для восстановления старого порядка вещей; маршалом конфедерации будет Феликс Потоцкий. Около этого же времени Булгаков должен подать польскому-правительству декларацию императрицы. Он ее подал 7 (18) мая. В декларации говорилось, что честолубцы, недовольные настоящим своим положением, представили русскую гарантию, как тяжкое и постыдное иго, тогда как величайшие государства, между прочим Германия, ищут подобных гарантий, как самого крепкого основания для своих владений и независимости; описывалось, с какими насилиями был произведен переворот 3 мая; исчислялись оскорбления, нанесенные России виновниками переворота: настояли, чтоб русские войска и магазины были удалены из польских владений; мало того: предъявили притязания на пошлины при провозе чрез Днестр запасов, которые были закуплены у польских землевладельцев, к великой выгоде последних. Подданные императрицы, находившиеся в Польше по делам торговым, были злобно обвинены в возбуждении местных жителей к бунту; были, под этим предлогом, схвачены и брошены в тюрьмы. Судьи, не находя никаких следов преступления, прибегали к пыткам, чтобы вынудить признание, и, вынудивши его, приговаривали несчастных к смертной казни. Жители православного греческого исповедания подверглись преследованию. Епископ Переяславский, подданный императрицы,

несмотря на свой сан и чистоту нравов, был схвачен и отвезен в Варшаву, где и теперь находится в тяжком заключении. Народное право не было соблюдено и в отношении к послу императрицы: солдаты вторглись в его домовую церковь и схватили священника. Отправили чрезвычайное посольство в Турцию, находившуюся в открытой войне с Россиею, чтобы предложить ей союз против России. В сеймовых речах не сохранено надлежащего уважения к особе императрицы. Эти оскорбления, не считая опущенных для краткости, могут вполне оправдать пред Богом и государствами самое сильное возмездие. Но императрица не хочет смешивать всего польского народа с известною его частью. Большое число поляков, знаменитых происхождением, саном и личными достоинствами, составили законную конфедерацию против незаконной Варшавской и прибегли с просьбою о помощи к императрице, которая сочла себя обязанною трактатами подать им эту помощь и приказала части войск своих войти во владения республики. Они являются друзьями, чтобы содействовать восстановлению старинных прав и вольностей польских. Те, которые примут их в этом значении, получают кроме совершенного забвения прошедшего всякого рода помощь и безопасность, как для себя лично, так и для имуществ своих<sup>192</sup>.

Декларация произвела сильное волнение. Немедленно созван был Страж (Совет министров); через день декларацию прочли на сейме; король говорил речь: "Вы видите, господа, с каким презрением в этом акте отзываются не только о нашем деле 3 мая, но и обо всех ваших прежних постановлениях. Вы видите усилия, с какими хотят разрушить до основания власть и самое существование настоящего сейма, уничтожить в то же время всю нашу независимость. Вы видите, что наши соотечественники, которые противятся воле и благу отечества, получили открыто помощь. Вы видите, наконец, что целой нации делают самые гордые угрозы, а чрез это видите явное наступательное движение на нас со стороны России. Вы видите, что мы, с своей стороны, должны необходимо позаботиться о всех возможных средствах для защиты и спасения отечества. Средства эти двух родов: средства первого рода заключают в себе все то, к чему могут побудить храбрость и отвага. Все, что вы постановите в этом отношении, я одобряю, мало того — явлюсь лично всюду, где мое присутствие будет полезно или для придания духу в опасностях, или

для лучшего направления ваших сил. Второго рода средства для нашего спасения заключены в негоциях. Прежде всего мы должны обратиться к нашему союзнику, королю Прусскому. Вспомните, что, с самого начала настоящего сейма, все самые важные распоряжения наши были предприняты по внушению и советам его прусского величества, именно: наше освобождение от русской гарантии, посольство в Турцию, вывод из наших владений магазинов и войск русских. Тот же наш великодушный сосед выразил желание, чтоб мы учредили у себя твердое правительство, на основании которого он хотел упрочить свой союз с нами. Вследствие этого союза, торжественно обещал нам сначала посредничество (*bona officia*), а потом и действительную помощь, в случае, если посредничество не приведет к желанному результату, не прикроет нашей независимости и наших границ!" В заключение речи король изъявил надежду, что и русская императрица, узнавши лучше истину, затемненную Феликсом Потоцким с товарищами, откажется от своих враждебных намерений<sup>193</sup>.

Принялись за средства первого рода: удвоили все подати, платимые в казну, что могло увеличить доходы до 18 миллионов; приняли проект универсала к народу с изложением нынешних обстоятельств и причин, почему сейм продолжается на неопределенное время; учрежден чрезвычайный сеймовый суд из пяти человек; дана власть королю распоряжаться всеобщим вооружением в каждом воеводстве и повете, когда увидит в том надобность; дано королю два миллиона злотых на стол и на приготовления к походу. Депутация, рассматривавшая дело о мнимых бунтах православного народонаселения, читала свой доклад и мнение: положено — епископа Переяславского и игумна держать до дальнейшего времени, а двоих других захваченных выпустить<sup>194</sup>. 13 мая по всей Варшаве по улицам прибито было печатное объявление, неизвестно от кого, приглашавшее резать всякого, кто говорил, писал, противился или впредь будет это делать против конституции 3 мая, с обещанием награды всякому такому убийце. Полиция сорвала объявления. Расставленные повсюду шпионы и угрозы тем, кто отважится бывать у русского посла, прервали сообщения Булгакова с целым городом, так что он писал: "Теперешняя моя жизнь походит совершенно на едикульскую. Послано

приказание жечь хлебные скирды повсюду, где пойдут русские войска"<sup>195</sup>.

В то же время было употреблено и средство второго рода: обратились к великодушному союзнику, королю прусскому. Мы уже видели, какой ветер подул в Берлине с начала весны. Шуленбург, заведовавший внешними сношениями Пруссии, 24 апреля пригласил к себе Алопеуса и начал его уверять, что король никоим образом не будет препятствовать действиям ее императорского величества в Польше, желательно одно, чтобы в Петербурге вошли в подробности насчет того, что намерены делать, открылись искренне, потому что тут множество предметов, заслуживающих внимательного обсуждения; восстановить в Польше совершенно старый порядок трудно, чтобы не сказать невозможно. Взимание налогов, например, совершенно переменило прежний характер: вся шляхта согласилась платить наравне с остальным народонаселением. Необходимо соседним державам условиться, как действовать в том случае, если поляки решатся на отчаянные средства, например, вздумают отдаться одному из соседей, на что, разумеется, другие соседи никак не могут согласиться<sup>196</sup>.

Алопеус доносил<sup>197</sup> о сильной тревоге в Берлине, когда узнали, что русские войска готовы вступить в Польшу, а между тем не последовало никакого соглашения между соседними державами. Министры английский и голландский начали сильно кричать против властолюбивых намерений России. Венский двор, негодуя на сближение России с Пруссией, был также не прочь понапугать Фридриха-Вильгельма II. "Но я отвечаю, — писал Алопеус, — что все это не поведет ни к чему, если мы подкрепим графа Шуленбурга. Он предан России по принципу и по убеждению. Он даже вот что мне сказал: "Было бы очень хорошо, если б ваш двор изъявил желание, чтоб для заключения союза отправлен был в Петербург Бишофсвердер: польщенный этим поручением и обласканный у вас, он сделается вашим" — . Придумали средство подойти поближе к цели: Шуленбург сказал Алопеусу: "Я буду писать к графу Гольцу, что со всех сторон нам дают знать, будто императрица хочет соединить дела польские с французскими; я не понимаю, что это значит, и потому пусть граф Гольц попросит у вашего вице-канцлера объяснений"<sup>198</sup>.



В это самое время, когда в Берлине хотели соединить дела польские с французскими, то есть за Французскую войну получить вознаграждение на счет Польши, и послали в Петербург предложить эту мысль, как будто идущую из Петербурга, — в это самое время приезжает в Берлин Игнатий Потоцкий с письмом от своего короля к великодушному союзнику. Станислав-Август писал: "Я пишу в то время, когда все налагает на меня обязанность защищать независимость и владения Польши. Те и другие подверглись нападению со стороны ее величества, императрицы Российской. Если союз, существующий между вашим величеством и Польшею, дает право обратиться к вам за помощью, то мне существенно важно знать, каким образом вашему величеству угодно будет исполнить свои обязательства. Положительные сведения о чувствах вашего величества так же необходимы для моего поведения, как необходимы ваши войска для моих успехов. Среди беспокойств и страданий я утешаюсь тем, что стою за святое дело и опираюсь на союзника, самого почтенного и самого верного в глазах современников и потомства".

Потоцкий привез следующий ответ от верного союзника: "Из письма вашего величества с сожалением вижу те затруднения, в какие теперь поставлена республика Польская; но скажу откровенно, что их легко было предвидеть после того, что произошло в Польше год тому назад. Вспомните, ваше величество, что не один раз маркизу Люкезини поручаемо было передавать вам мои справедливые опасения на этот счет. С той минуты, как восстановление общего спокойствия в Европе позволяло мне объясниться, и с тех пор, как императрица Российская обнаружила решительно свою враждебность к новому порядку вещей, установленному революциею 3 мая, мой образ мыслей и язык моих министров никогда не изменялись, и, взирая спокойным оком на новую конституцию, которую дала себе республика, без моего ведома и содействия, я никогда не думал ее поддерживать или ей покровительствовать. Напротив, я предсказывал, что угрожающие меры и военные приготовления, к которым не переставал прибегать сейм, непременно вызовут враждебное чувство со стороны императрицы Российской и навлекут на Польшу бедствия, которых думали избежать. Не будь этой новой правительственной формы, не выкази республика усилий для ее поддержания — Русский двор не решился бы на те сильные меры, которые он теперь приводит в



исполнение. Какова бы ни была дружба, питаемая мною к вашему величеству, и участие, принимаемое мною во всем, до него касающемся, оно поймет само, что вследствие совершенной перемены дел со времени заключения союза между мною и республикою и вследствие настоящих отношений, созданных конституциею 3 мая и неприложимых к обязательствам, в трактате постановленным, от меня не зависит удовлетворить ожиданиям вашего величества, если намерения патриотической партии остаются те же самые и если она непременно хочет поддержать свое создание. Но если оно захочет возвратиться назад, обращая внимание на затруднения, возникающие со всех сторон, то я буду готов снестись с императрицею и с Венским двором, постараюсь примирить различные интересы и согласить относительно мер, могущих возвратить Польше спокойствие".

Патриотическая партия не захотела возвращаться назад, разрушать собственное создание: она попыталась без союзника помериться с Россией. Польша могла выставить в поле не более 45 000 войска, большая часть которого находилась на Украине, под начальством племянника королевского князя Иосифа Понятовского, находившегося прежде в австрийской службе и начавшего свое военное поприще в последней войне австрийцев с турками. Второстепенными вождями при нем были: Михаил Виельгорский и Фаддей Косцюшко, который воспитывался в варшавском кадетском корпусе, потом был во французской и американской службе. Другая, меньшая часть польской армии находилась в Литве, под начальством генерала Юдицкого. Русские войска в числе около 100 000 должны были войти в польские владения с трех сторон: с юга, востока и севера. Южная армия, закаленная в Турецкой войне, двигалась из Бессарабии, под начальством генерала Коховского. Тотчас по вступлении ее в польские владения в маленьком украинном городке Тарговице образовалась конфедерация для восстановления старого порядка вещей; Феликс Потоцкий был провозглашен ее генеральным маршалом, Браницкий и Ржевуский — советниками; к ним присоединились Антон Четвертинский, Юрий Виельгорский, Мошинский, Сухоржевский (знаменитый сначала своими выходками против России, а потом своим сопротивлением конституции 3 мая), Злотницкий, Загорский, Кобылецкий, Швейковский и Гулевич. Война состояла в том, что польские войска постоянно отступали перед

русскими. Значительная битва была в начале июня при деревне Деревичи, недалеко от Любара, где потерпел поражение Виельгорский. Второй упорный бой был при Зеленце (недалеко от Полонного); здесь генерал Марков, несмотря на превосходное число неприятеля, удержал поле сражения. В Литву русские войска вступили под начальством генерала Кречетникова и не встречали сопротивления; 31 мая занята была Вильна, где с торжеством была провозглашена литовская конфедерация для восстановления старины; 25 июня был занят Гродно, а на другой день, 26-го, Коховский занял Владимир-Волынский; в начале июля перешел он Буг и выбил Косцюшко из неприступного положения его при Дубенке (или Ухинке), между Бугом и австрийскою границею.

Это было последнее дело. В Варшаве давно уже увидали, что дело проиграно, и спешили просить прощения в России. 7 июля, ночью, приехал к Булгакову Литовский вице-канцлер Хрептович от имени короля просить о перемирии. Булгаков отвечал: "Перемирие от меня не зависит и места иметь не может прежде, нежели здесь совершенно во всем прежнем раскаются, поданную мною "декларацию примут за основание всему, чистосердечно и с доброю верою прибегнут к великодушию ее императорского величества".

Хрептович объявил, что сейчас же отправляются к князю Понятовскому два королевских адъютанта с приказанием отступить для избежания сражений и предложить русскому главнокомандующему перемирие. Наконец, Хрептович признался, что прислан к Булгакову за советом: что им делать. Посол отвечал: "Я не могу формальные переговоры вступать иначе, как в смысле декларации, которую прежде всего надлежит вам принять за основание; а ежели хотите иметь ко мне доверенность, то единый совет могу вам дать тот, чтобы прибегнули, не теряя времени, к великодушию ее императорского величества. Но и в этом случае нужны нелицемерное чистосердечие и добрая вера, без которых ничто прочно быть не может".

Хрептович объявил, что не только король, но и маршал Малаховский, Коллонтай и другие главные зачинщики зла согласны прибегнуть к великодушию императрицы. "Мы сами все видим, — говорил Хрептович, — что нет другого для нас спасения, как я всегда это твердил, предсказывал и подвергался за то злобе и гонению.

Намерение и желание короля и всех истинно любящих отечество поляков есть: предложить польский трон с наследством для великого князя Константина Павловича, с просьбою к ее императорскому величеству учредить новое и прочное правление для Польши. Ежели это предложение не будет соответственно желаниям ее императорского величества или встретит какие политические неудобства, мы удовольствуемся и тем, чтобы соблаговолили выбрать нам государя при нынешнем короле, кого заблагорассудить изволят. Ежели и это ее императорское величество отвергнет, то просим заключить союз с Польшею вечный или временный, на каком угодно основании. Ежели и это не удостоится высочайшей апробации, то просим поправить нашу форму правления, выбросить из нее то, что неудобно, внести — что угодно. Наконец, ежели и это не понравится, то предаемся неограниченно воле ее императорского величества и желаем, чтоб Польша и Россия составляли впредь, так сказать, единый народ". Булгаков отвечал: "Вот это всего лучше, и надобно составить новый сейм с помощью начавшейся новой генеральной конфедерации". Хрептович прервал его: "Этого-то мы и боимся: кто будет в новом сейме? Все те же поляки, те же вражды, те же злобы, те же мщения, то же легкомыслие, безрассудность, несообразность, личность, собственный интерес. Они, следовательно, могут наделать конституций еще нынешней хуже, и, для избежания этого, желаем мы, чтоб ее императорское величество соблаговолила сама поправить форму правления и нам ее дать готовую". "Опасаться нечего, — отвечал Булгаков, — конфедерация составлена под покровительством и с помощью ее императорского величества: следовательно, надлежит надеяться, что не выступит из пределов, которые сама себе предписала; впрочем, российский здесь министр будет иметь за нею смотрение и не попустит, чтоб будущий сейм уподобился нынешнему. Чрезвычайно было бы полезно, если бы его величество препроводил все эти предложения письмом к ее императорскому величеству, не красноречием, но искренностию наполненным".

10 числа Хрептович привез к Булгакову письмо королевское к императрице, запечатанное, копию с него и записку, содержащую предложения; но все это было очень кратко, темно и поверхностно. Булгаков сказал Хрептовичу наотрез, что эти бумаги не заключают в себе того, что было условлено, и потому не могут произвести

действия, какого ожидает от них король. Все это было перепутано, как выражается Булгаков, Игнатием Потоцким, который хотя и согласился на то, чтобы король вошел в сношения с императрицею, однако советовал не забывать достоинства республики и равенства ее с другими державами, которое они, Потоцкий с товарищами, ей доставили. Увидав неудовольствие посла, Хрептович тотчас объявил, что король переменит письмо, как будет угодно Булгакову. "Я советую держаться того, как мы с вами условились", — отвечал Булгаков. Хрептович уехал и чрез несколько часов возвратился с черновым, совершенно новым письмом. Булгаков сделал на него некоторые примечания. Хрептович поправил отмеченные места и на другой день прислал пакет с копию, прося переслать письмо к императрице со своими представлениями о настоящем положении польского правительства и о чистосердечном намерении короля искать спасения только в покровительстве императрицы. Письмо было следующего содержания:

"Я объяснюсь откровенно, потому что пишу к вам. Удостоите прочесть мое письмо благосклонно и без предубеждения. Вам нужно иметь влияние в Польше; вам нужно беспрепятственно проводить чрез нее свои войска всякий раз, как вам угодно будет заняться или турками, или Европою. Нам нужно освободиться от беспрестанных революций, к которым подает повод каждое междоусобие, когда все соседи вмешиваются в наши дела, вооружая нас самих друг против друга. Сверх того, нам нужно внутреннее правление более правильное, чем прежде. Теперь удобная минута согласить все это. Дайте мне в наследники своего внука, великого князя Константина; пусть вечный союз соединит обе страны; заключим и торговый договор взаимно полезный. Сейм дал мне власть заключить перемирие, но не окончательный мир. Поэтому я умоляю вас согласиться на это перемирие как можно скорее — и я вам отвечаю за остальное, если вы мне дадите время и средства. Здесь теперь произошла такая перемена в образе мыслей, что предложения мои, вам сделанные, принимаются, быть может, с большим энтузиазмом, чем все совершенное на этом сейме. Но я не должен от вас скрыть, что если вы настойчиво потребуете всего того, что содержит ваша декларация, то не во власти моей будет совершить все то, чего я так желаю. Еще раз умоляю вас, не отвергайте моей просьбы, дайте нам поскорее перемирие, и смею

повторить, что все, предложенное мною, будет принято и исполнено нацию, если только вы удостоите одобрить средства, мною предложенные".

Отправляя в Петербург королевское письмо, Булгаков доносил: "Перемена мыслей в самых запальчивых головах велика. Все теперь кричат, что надлежит к России прибегнуть, все вопиют на короля Прусского, все почти упрекают Потоцких и других начальников факции, что погубили они Польшу, а сии извиняются тем, что хотели сделать добро, что обстоятельства тому воспротивились и что прусский король изменил"<sup>199</sup>.

Но факция обнаруживала еще свое существование, хотя в предсмертных, судорожных движениях: Переяславского епископа Виктора отправили с конвоем в Ченстохов для содержания в тамошней крепости. Разглашали, что англичане и французы возбудили Порту опять начать войну с Россиею; что турки взяли уже Очаков; что 50 000 татар вошли в русские границы. Появилось печатное сочинение, побуждающее короля ко всеобщему вооружению (посполитому рушению). Король, понуждаемый Игнатием Потоцким с товарищами, выдал универсал по всем цивильно-войсковым комиссиям, чтобы высылали в лагерь, собранный под Варшавою, шляхту, вписавшуюся в реестры на защиту государства; чтобы снабдили всем нужным начальников над такими охотниками и увещевали остальную шляхту приниматься за оружие. Но большинство мало ожидало пользы от этого замаскированного посполитого рушения, если бы даже оно и состоялось: две трети Польши заняты были уже русскими войсками, время упущено к созванию шляхты, и не принято никаких мер к ее прокормлению. У театра приклеили сатиру на лагерь под Варшавою: "Антрепренеры национальной защиты будут иметь честь дать печальной публике представление новой оригинальной комедии, сочиненной Варшавским Военным Советом, под заглавием: "Экспедиция против комаров, или Смехотворный лагерь за Прагою"; затем непосредственно актеры, немецкие и русские, дадут большую трагедию под заглавием: "Разрушение Польши". Так как последняя пьеса стоит казне около 20 миллионов, то вход для публики бесплатный".

Между тем Хрептович продолжал ездить к Булгакову и спрашивать у него советов; между прочим, он сказал, что король

намерен собрать сейм, представить ему положение дел и распустить его. Булгаков отвечал, что ничего не может быть вреднее для короля. Хрептович согласился и предложил созвать *senatus consilium* (заседание Сената. — Прим. ред.). Булгаков отвечал, что если будет нужда, то это может быть сделано, когда конфедерация будет в Варшаве; но главное, чтобы король приступил к конфедерации. Потом Хрептович спрашивал о тайном Совете при короле: оставить ли прежний, придать ли к нему, кого захочет он, посол, или составить совершенно новый и из кого? Булгаков отвечал, что лучше составить совершенно новый, и назвал имена лиц, из которых он должен состоять. Хрептович объявил, что Малаховский (сеймовый маршал) и Игнатий Потоцкий принуждали короля ехать в лагерь, угрожая в противном случае издать против него манифест, и спрашивал, будет безопасен король, когда русские войска придут в Варшаву? Булгаков отвечал, что если король оставит Варшаву, то это будет побег; манифест пускай они пишут: он ничего не значит и им во вред обратится; для короля нет места безопаснее Варшавы, когда русские войска придут; но должно ему тогда тотчас подписать конфедерацию, чего он теперь, не подвергаясь явной опасности, сделать еще не может<sup>200</sup>.

Наконец был получен ответ императрицы (от 2 (13) июля) на письмо королевское: Екатерина писала, что она обещала помогать конфедерации и исполнит свое обещание и что король, не дожидаясь последней крайности, должен приступить к конфедерации. Вице-канцлер Остерман сообщил Булгакову объяснения, почему предложения королевские не могут быть приняты: "Предложение наследства Польского престола В. Князю Константину, когда императрица одною из главных причин войны объявила намерение свое восстановить прежний закон республики относительно избирательности королей, — есть предложение, с одной стороны, противное образу мыслей императрицы и видам ее относительно устройства своей фамилии; с другой — способное заподозрить ее бескорыстие и потревожить доверенность и согласие, царствующее между нею и дворами Венским и Берлинским, в особенности относительно дел польских. Предлагается императрице заключить союзный и торговый договоры: но она предполагает их постоянно существующими между Россиею и настоящею республикою

Польскою, несмотря на бесчисленные нарушения, сделанные похитителями власти; предлагать заключить подобные трактаты, — значит, стараться вовлечь императрицу в сношения с похитителями власти; значит — хотеть вынудить у нее некоторое признание опасных нововведений, против которых она вооружилась и которые старается ниспровергнуть. Домогаться, наконец, у нее перемирия, — значит, хотеть дать вид, что война идет у государства с государством, тогда как на деле этого нет: Россия в искреннем и совершенном союзе с настоящею республикою против ее внутренних врагов".

Булгаков был болен, когда получил бумаги из Петербурга, и потому не мог сам ехать к королю. 11 июля он призвал к себе Хрептовича и пересказал ему содержание присланных приказаний. Хрептович записал для памяти сообщенное и признался, что в настоящем печальном состоянии короля нужно его к этому приготовить и что он примет меры вместе с князем-примасом. Переговорив с последним, Хрептович подал королю письмо императрицы и сообщил обо всем, слышанном от Булгакова. Станислав-Август пришел в отчаяние и в первом порыве приказал Хрептовичу ехать к Булгакову, просить его отправить курьера к императрице с донесением, что он, король, готов сложить корону, лишь бы новая конституция осталась в целости. Хрептович заметил ему, что сложение короны не поможет конституции, и, следовательно, он сделает только себе вред, а Польше не поможет. Поуспокоившись, король послал Хрептовича к Булгакову с условиями, на которых он согласен исполнить волю императрицы: 1) целостность владений республики; 2) сохранение армий; 3) чтобы конфедерация не судила обывателей чрез так называемые санциты; 4) чтобы до прибытия ее король сохранял власть над скарбовою и войсковою комиссиями; 5) чтобы обеспечены были сделанные республикою займы.

Булгаков отвечал, что условия в настоящем положении иметь места не могут; но, для успокоения его величества, он скажет собственное свое мнение: 1) целостность владений есть главный пункт декларации ее императорского величества и акта генеральной конфедерации; 2) вся польская армия едва ли составляет теперь 30 000 человек, то есть именно такое число, которое было гарантировано Россиею, и потому бесполезно говорить о ее сохранении; 3) конфедерация, будучи занята важнейшими государственными делами,



не будет иметь времени упражняться в санцитах, да и не осмелится, находясь под высочайшим покровительством. Исполнение четвертого и пятого пунктов зависит от конфедерации. В тот же день Станислав-Август прислал к Булгакову проект письма, в котором обещал приступить к конфедерации; посол, прибавя несколько слов, нашел письмо достаточным.

Впоследствии Станислав-Август поступал очень недобросовестно, утверждая, что ему обещана была целостность владений республики и что только на этом условии он приступил к конфедерации. Булгаков ему прямо объявил, что условия иметь места не могут, и потом прибавил свое собственное мнение; но личное мнение посла и обещание, данное правительством, — две вещи совершенно разные.

На другой день, 12 числа, король созвал Совет министров, прочел письмо императрицы, представил настоящее положение дел и требовал мнения каждого. Князь-примас просил как можно скорее приступить к конфедерации, так как ниоткуда никакой нет надежды. Великий маршал коронный Мнишек сказал, что он никогда не был согласен на новую форму правления, тем более теперь не желает терять драгоценного времени. Великий маршал Литовский Игнатий Потоцкий объявил, что признает одну конфедерацию — Варшавскую, и всякая другая, хотя опиралась на пяти монархах, есть незаконная, и что он готов на все несчастия. Великий канцлер коронный Малаховский высказался в сильных выражениях, что, не теряя времени, сейчас же надобно вступить в сношения с конфедерациею. Вице-канцлер коронный Коллонтай также изъявил согласие на приступление к конфедерации. Вице-канцлер Литовский Хрептович просил не терять времени. Великий подскарбий Тишкевич сказал, что с самого начала был противником конституции 3 мая, и просил о приступлении к конфедерации. Маршал надворный Литовский Солтан говорил, что не надобно отчаиваться: храбрость народа может поправить дело; указывал на пример Голландии, которая также находилась на краю гибели, но нашли способ подняться. Подскарбий надворный коронный Островский советовал королю приступить к конфедерации, но о себе сказал, что не может этого сделать по убеждению в пользе конституции 3 мая. Подскарбий надворный Литовский Дзяконский соглашался на приступление к конфедерации.

Маршал сеймовый коронный Малаховский говорил, что с бунтовщиками (тарговицкими конфедератами) и говорить не следует, но что можно продолжать негоциации прямо с петербургским двором. Маршал сеймовый Литовский Сапега объявил, что он во всем последует за королем. Оказалось восемь голосов против четырех за приступление к конфедерации. Король подписал акт, не дожидаясь даже и присылки депутатов от конфедерации<sup>201</sup>.

Когда Булгаков узнал, что акт приступления к конфедерации подписан, то первым его делом было освободить епископа Переяславского Виктора: король послал тотчас повеление в Ченстохов; епископ был привезен в Варшаву и помещен в доме русского посла. Через месяц с чем-нибудь, когда торжествующая конфедерация взяла в свои руки правление, она признала епископа невинным, обещала доставить ему удовлетворение в понесенных им убытках и разорениях, велела дать ему конвой как для безопасности в дороге, так и во время пребывания его в Случке, куда он должен был отправиться для вступления в прежнюю должность и для приведения в порядок расстроенных во время заключения его дел<sup>202</sup>.

Когда по Варшаве разнеслась весть о приступлении короля к конфедерации, то 13 числа литовские волонтеры, служители при разных комиссиях и разный сброд собрались в Саксонском саду в числе от 200 до 300 человек, бранили короля, грозили его убить, министров, согласившихся подписать акт приступления, перевешать, перебили окна у канцлера Малаховского — и разошлись. На другой день начали было опять собираться, угрожая перевешать королевскую фамилию; но все кончилось одним шумом. Маршалы Игнатий Потоцкий и Солтан ходили по улицам и уговаривали горожан к восстанию, но безуспеха. Тогда, отчаявшись поддержать конституцию 3 мая внутренними средствами, маршал сеймовый Малаховский, Игнатий Потоцкий и Солтан сложили свои должности и выехали за границу; за ними последовал и Коллонтай<sup>203</sup>.

Судьба конституции 3 мая решилась на берегах Вислы, судьба Польши решилась на берегах Майна и Рейна.

## ГЛАВА XI

Французская война, как справедливо рассчитывала Екатерина, заставила Австрию прекратить свое заступничество за конституцию 3 мая; нуждаясь в союзе Пруссии и России, венский двор должен был согласоваться с их видами относительно Польши. Еще 1 июня австрийский поверенный в делах при варшавском дворе, Декаше, получил от своего правительства следующее приказание: "Так как Венский двор не может постигнуть, на чем основаны возглашаемые в Польше толкования и надежды, что бы он будет защищать новую конституцию 3 мая: то повелевает ему, Декаше, опровергать этот неосновательный слух и отзываться, где только случай представится, что Венский двор о том никогда не помышлял; доказательством служит то, что до сих пор постоянно избегал он отвечать и изъясняться на делаемые ему частые от Польши отзывы, вопросы, представления и домогательства; хотя император любит и почитает Саксонского курфюрста, однако и это не заставит его вмешаться в польские дела, тем более что курфюрст с самого начала объявил, что никогда не примет короны без согласия Петербургского и Берлинского дворов; наконец, польские замешательства, происходящие от намерения удерживать силою новую правительственную форму, могут поколебать равновесие, нужное для спокойствия Европы"<sup>204</sup>.

Немного спустя Люи Кобенцель в Петербурге получил приказание от своего двора предуведомить русское правительство, что его апостольское величество не колеблется согласовать свои виды с видами высокой союзницы относительно восстановления старой польской конституции 1755 года<sup>205</sup>.

Но вопрос о восстановлении старой польской конституции сейчас же должен был уступить место другому вопросу в сношениях между венским и берлинским дворами. Австрия, Пруссия и Россия начинают войну с Францией — войну, требующую больших издержек: и где же вознаграждение за эти издержки? Шуленбург, разговаривая в июне месяце с принцем Нассау об этом важном вопросе, выразился так: "Топографическое положение Австрии позволяет ей сделать земельные приобретения на счет Франции, тогда как для Пруссии и России такие

приобретения невозможны; единственное вознаграждение для них — взять деньги с Франции, но денег у Франции нет"<sup>206</sup>. После этого разговора Шуленбург открылся Алопеусу, что Австрия могла бы сделать земельные приобретения на счет Франции и это не уменьшило бы политического значения последней страны. Венский двор боится вооружить против себя этим большую часть Европы, но в сущности действует тут не этот страх, а желание осуществить свой проект промена Бельгии на Баварию. Здесь, в Берлине, не находят в этом таких опасностей, какие находили прежде, если только посредством новых приобретений и со стороны Пруссии поддержится равновесие. Эти приобретения не могут быть для Пруссии со стороны Франции, как по причине отдаленности, так и потому, что не следует дробить Францию, как Польшу, долженствующую играть второстепенную роль; следовательно, вознаграждение для Пруссии возможно только в Польше. Шуленбург уверял Алопеуса, что он еще не знает видов короля на этот счет, но намерен говорить об этом королю. Для Пруссии важно иметь часть Польши, которая соединила бы Пруссию с Силезиею; а России выгодно бы было приобрести Польскую Украину, которая бы соединила старые русские области с новыми приобретениями от Турции.

В то время, когда прусские дипломаты уже толковали о разделе Польши, поляки бросались во все стороны, чтобы не сдаваться безусловно России. Мы видели, что король Станислав-Август предлагал польский престол внуку Екатерины, великому князю Константину Павловичу; Игнатий Потоцкий в Берлине предлагал этот престол второму сыну прусского короля, принцу Людовику; а Пиатоли и Мостовский хлопотали в Дрездене, как бы заставить Англию поддерживать Польшу, писали об этом два мемуара в Лондон. Мало того, Пиатоли прислал письмо к Алопеусу, приглашая его съехаться с ним где-нибудь между Берлином и Дрезденом, обещая сообщить важные идеи; письмо было самое льстивое, например: "Его величество (Станислав-Август) и достойный министр его, граф Хрептович, беспрестанно указывали на вас, как на единственного человека, способного соединить усердие к своей государыне с искренним участием в благополучии польской нации. Вы одни можете быть ходатаем великого (!) короля и почтенного народа пред Екатериною. Ваши политические таланты, ваша опытность, милости к вам

императрицы и особенно ваша испытанная честность делают вас достойным быть человеком двух наций"<sup>207</sup>.

Екатерина, получивши донесение об этом, написала: "Запретить надлежит Алопеусу, чтоб он отнюдь не вошел с Пиатолием ни в какие связи. Сей интригант везде суетится как угорелая кошка. Напишите скорее, дабы переписка и мошенничество пресеклись наискорее". Когда прусский король был в Лейпциге, Пиатоли явился в окрестностях этого города и выпросил свидание с Бишофсвердером: он предложил, что Польша присоединится к союзу австро-прусскому против Франции, если Австрия и Пруссия решатся действовать против России. Бишофсвердер отвечал, что не вмешается в дела, которыми заведовал Шуленбург<sup>208</sup>.

Наконец Австрия высказалась, что желала бы обменять Бельгию на Баварию, а Пруссия предложила вознаграждение на счет Польши. Австрийское министерство при этом дало заметить, что как ни выгоден промен Бельгии на Баварию в политическом отношении, однако Австрия потеряет относительно доходов; впрочем, если не будет и никакого вознаграждения, то венский двор не сочтет это слишком большим для себя несчастьем.

Последнее особенно встревожило Шуленбурга: он представил себе, что Австрия действительно не захочет взять никакого вознаграждения — с целью ослабить Пруссию: ибо такое государство, как Австрия, не разорится, если к массе его долгов присоединится еще сумма в каких-нибудь 50 миллионов, тогда как Пруссия с трудом перенесет опустошение своей казны, которое произойдет вследствие войны<sup>209</sup>.

В Майнце оба союзника поневоле, Франц II и Фридрих-Вильгельм II, свиделись для соглашения в общих мерах относительно похода; накануне отъезда обоих государей из города происходила третья конференция по вопросу о вознаграждении. Положено было, что Австрия получает Баварию взамен Бельгии, Пруссия вознаграждается на счет Польши. Так как промен Бельгии на Баварию уменьшает доходы Австрии на два миллиона, то Австрия должна за это получить вознаграждение. Если план вообще не может быть приведен в исполнение или если нельзя будет найти для Австрии вознаграждение за потерю двух миллионов дохода, то обе стороны отказываются от земельных вознаграждений и получают от Франции

деньги. Со стороны австрийских дипломатов сделано было предложение, чтобы Пруссия уступила Австрии, в прибавку к Баварии, Аншпах и Байрейт, и в таком случае Австрия не будет требовать вознаграждения за потерю двух миллионов дохода. Прусские министры отвечали, что доложат об этом королю<sup>210</sup>, и впоследствии Пруссия не согласилась на это предложение.

Войска союзников приближались к границам Франции; Алопеус следовал за прусскою армиею, при которой находился сам король с обоими сыновьями. Сначала пруссакам казалось, что поход будет веселою прогулкою: придут, увидят и победят, особенно с таким полководцем, каков был герцог Фердинанд Брауншвейгский, человек, пользовавшийся фальшивою репутациею, далеко не соответствовавшего его настоящим достоинствам. Носкоро начали прокрадываться сомнения относительно успеха предприятия. Эмигранты нахвастали, что у них повсюду соумышленники в крепостях; но оказалось, что все это неправда<sup>211</sup>. Сдалась пограничная крепость Лонгви, сдался Вердюн; но этим и кончились успехи союзников. Когда пришел слух из Варшавы, что отряд русского войска под начальством Кутузова получил приказание выступить к границам Франции, то герцог Брауншвейгский сказал по этому случаю Алопеусу: "Хотя нет сомнения, что мы войдем в Париж, однако я не вижу, чтоб этот вход положил конец несчастьям Франции; нет возможности оставить там всю прусскую армию, однако без значительных сил нельзя сдержать жителей этого сильного государства<sup>212</sup>. Политическое головокружение и мятеж пустили такие глубокие корни, что в один или в два года их не вырвешь; вражда, вызванная, к несчастью, правительством самым развращенным и питаемая управлением самым отвратительным, так вкоренилась, что для ее утешения нужно целое поколение. Будущее правительство, какова бы ни была его форма, не должно никогда удаляться от начал самого строгого правосудия и справедливости; но можно ли ожидать чего-нибудь подобного от эмигрантов? Эти люди приобрели неискоренимую привычку вместо правосудия опираться на королевскую благосклонность; вместо справедливости употреблять угнетение; посмотрите, как они высокомерно ведут себя даже с нами, тогда как они кормятся на счет прусского короля"<sup>213</sup>.

Непосредственно императрице отправлено было следующее описание поведения эмигрантов: "Едва прусская армия коснулась границ Франции, как вместо 8000 эмигрантов, которых ожидали, явилось около 14 000 и в то же время и в той же пропорции усилились самые нелепые требования. Императорские министры протестовали против такого нарушения Майнцской конвенции, по которой союзники обязались содержать только 8000 эмигрантов; императорские министры объявили, что они исполняют буквально конвенцию и не дадут ни обола больше; но король, по доброте своей, назначил принцам 13 августа еще 8000 лишних рационов; всего издержано было Пруссией на эмигрантов 5 422 168 ливров.

Несмотря на это и несмотря на пособия, которые приходили из Берлина, Петербурга, Вены и Парижа, войско эмигрантское нуждалось в необходимом, ибо Калоннь явился в стане таким же расточителем, каким был во время министерства своего при Людовике XVI. Были генералы, которые брали на одних себя по 500 рационов; у графа Артуа было более 100 адъютантов. От бывших линейных войск (гвардии и жандармерии, Royal-Allemand, Royal-Saxon и проч.) явились только жалкие остатки; вся же прочая масса эмигрантского войска представляла пеструю толпу из людей всех сословий и возрастов, способных только затруднять армию и никак не быть ей полезными. Но что всего хуже, куда только ни появлялись эти эмигранты, повсюду они обнаруживали тот же самый характер, который был для них источником несчастий во Франции, — наглость и легкомыслие. Каждый день новые планы, новые проекты и новые интриги, которые расстраивали и приводили в отчаяние начальников союзных войск. Развращение их нравов и их оскорбительное высокомерие вооружили против них народы, среди которых они нашли гостеприимство. Эти неприятные впечатления перешли и к обеим союзным армиям, и трудно себе представить ту степень ненависти и презрения, с какими обе армии смотрели на когорты, не знающие ни порядка, ни дисциплины. При вступлении во Францию вместо симпатии и помощи, которые обещаны были союзным армиям, нужно было каждый шаг вперед покупать кровию, и везде встречено было решительное нерасположение к восстановлению старого порядка вещей и непримиримая ненависть к эмигрантам. И надобно признаться, что последние употребили все средства, чтоб укрепить это



чувство. Едва только они появились под покровительством прусских пушек в Лонгви и Вердуне, как главные из них начали расточать ругательства и площадные эпитеты горожанам и вообще жителям всех сословий, а другие эмигранты, не так чиновные, позволили себе даже опустошение и грабежи".

Эмигранты действительно вели себя очень дурно; но неуспех кампании не зависел единственно от дурного поведения эмигрантов. По непростительной медленности герцога Брауншвейгского Дюмурье, начальствовавший французскими войсками, успел занять Аргоньские теснины, Фермопилы Франции по дороге к Парижу, и укрепиться тут. Та же нерешительность герцога спасла французов при Вальми, где дело ограничилось одною бесполезною канонадою. Наконец, король сделал новую ошибку: завел переговоры с Дюмурье о мире, что было очень выгодно для Дюмурье, выигрывавшего время для усиления своего войска, а пруссаки между тем пришли в самое печальное положение: по пяти дней не ели; дурная пища произвела болезни, усилившиеся еще от мокрой осенней погоды на болотистых местах, так что больные составляли треть войска. Брауншвейг 30 сентября начал отступление, а между тем еще несколькими днями прежде французский генерал Кюстин начал наступательное движение на Германию, провозглашая войну дворцам тиранов и мир хижинам правдивых. Он захватил Шпейер; Майнц сдался при первом появлении французов; ужас распространился повсюду, все бежало; французы заняли Франкфурт.

Алопеус писал в Петербург, что для него много непонятного в отступлении Брауншвейга, хотя действительно больных много и большой недостаток в съестных припасах. По мнению Алопеуса, с небольшим пожертвованием войска можно было принудить Дюмурье к отступлению и навести страх на остальную Францию: "Осторожность герцога Брауншвейгского зашла слишком далеко, чтоб не сказать больше. Положительно верно, что он ошибся в своих расчетах, ибо после отступления неприятеля от Гранпрэ он мне сам сказал, что дорога к Парижу теперь открыта. Граф Бретейль просил меня повергнуть его к стопам императрицы и умолять Ее Императорское Величество не покинуть короля Французского в эту минуту. Он уверял меня, что спасение Людовика XVI будет зависеть от корпуса войск,

который императрица сооблаговолит отправить весною во Францию"[214](#).

После очищения Франции, в октябре, собрались в Люксембурге австрийские и прусские дипломаты и завели конференцию о вознаграждении за Французскую войну. Австрийцы повторяли старое: что промен Бельгии на Баварию не только не представляет никакого вознаграждения, но еще убыток. Следовательно, чтобы не было убытка, Австрия должна взять у Франции часть Лотарингии и Эльзаса по Мозелю, так чтобы эта река составляла австрийскую границу, но для обеспечения этой границы Австрия возьмет еще крепости Тионвиль, Мец, Понтамуссон и Нанси. Пруссаки объявили, что они возьмут вознаграждение в Польше, равномерное приобретениям Австрии, не будут ни в чем противоречить видам русской императрицы и передадут ей решение всего дела.

Получивши от Алопеуса донесение об этом, Екатерина написала: "После такой блистательной кампании, они еще смеют толковать о завоеваниях!"

Но какое бы негодование ни возбуждала блистательная кампания, надобно было забыть о ней и думать о второй, а этой Второй кампании не хотели предпринимать без вознаграждения. 25 октября Пруссия объявила Австрии, что король Фридрих-Вильгельм будет продолжать войну с Франциею только под условием, чтобы вознаграждение польскими землями было ему обеспечено Россией и Австрией) и чтобы он мог действительно вступить во владение этими землями. В ноябре Шуленбург объявил Алопеусу, что генерал Мёллендорф получил королевское приказание поставить на военную ногу 17 батальонов пехоты, 20 эскадронов конницы и батарею легкой артиллерии; что, под предлогом войны Французской, это войско будут держать наготове ко вступлению в Польшу, если прусский проект относительно вознаграждений будет одобрен императрицею. Шуленбург заметил, что это сообщение вовсе не официальное, министерство не получило еще приказа сделать его; тем не менее оно решило его сделать, зная правило короля относиться во всех делах к ее императорскому величеству с беспредельною доверенностию и неограниченною откровенностию. Шуленбург прибавил, что если императрице угодно будет согласиться на проект королевский, то надобно скорее приводить его в исполнение, потому что волнения в

Польше становятся день ото дня сильнее и ширится дух мятежа, который надобно задуть при самом рождении<sup>215</sup>.

Действительно, Булгаков доносил вице-канцлеру от 31 октября (10 ноября): "Неоднократно уже я имел честь доносить, что отступление назад во Франции соединенных войск и оногo следствия производят в Польше, и особливо в Варшаве, некоторое волнование, которое то умножается, то уменьшается по мере получения из той стороны добрых или худых известий. Занятие Майнца и Франкфурта, взятые с них контрибуции, успехи французов в Савойи и в других местах и, наконец, сношение живущих в Лейпциге недовольных поляков с Парижем опять вскружили головы до такой степени, что начались было беспорядки в публичных местах, как-то в театрах и на раутах. По счастью, число явных оных зачинщиков весьма мало; все они почти дворяне, голые. По сие время неприметно, чтоб варшавские мещане мешались в их шалости, которые состоят в безыменных сочинениях, в дерзких рассуждениях, в криках, в шуме, в повторениях таких пассажей из комедий, кои могут они толковать на изворот или обращать во вред и посмеяние членов конфедерации; но сия, будучи о том извещена, прислала наконец строгое повеление к маршалу коронному Мнишку о укрощении подобных буянств и обещает принять действительнейшие меры к пресечению зла. Есть некоторое подозрение, что взявшие здесь отставку, не принятые в военную службу и возвратившиеся сюда генералы Виельгорский и Мокрановский поджигают между прочими из-под тиха на заведение шума бродяг, но сами они явно нигде участниками не оказываются, в обществах же своих твердят о революции, о восстановлении конституции 3 мая и т. п. Сверх того, расположение на зимние квартиры войск наших подало повод к жалобам и крикам от недовольных, кои пользуются сим обстоятельством для приведения их в ненависть повсюду. Доходило даже до того, что в Варшаве возобновили разглашение, деланное уже во время вступления их в Польшу, о Сицилийской вечерне. Генерал Коховский, исчисляя, сколько нужно на пропитание вверенной ему армии, и истребовав реестр дымов или домов в каждом воеводстве, разложил оное нужное количество на все вообще, так что, например, в Варшавской земле, где, выключая город, считается до 70 000 домов, приходит каждому дому поставить на целые семь месяцев только два четверика муки, полтора

гарнца крупы, четверик овса, три пуда сена. Но маршалы и советники конфедераций воеводских или поветовых, располагая вследствие одного росписания поставку фуража, исключают деревни свои собственные, своих приятелей или покровителей, отчего тягость упадет на бедных дворян и заставляет их кричать".

От того же самого числа новое донесение: "Басням здешним по поводу французов нет конца. Одни полагают уже их близ Дрездена, другие в шести только милях от польских границ и прибавляют, что вступление их в Польшу будет сигналом всеобщего бунта и возмущения крестьян".

Эти известия — с одной стороны, с другой — несогласие прусского короля вести войну с Францией без вознаграждения на счет Польши, наконец, невозможность успокоить Польшу собственными ее средствами, ибо главы конфедерации, взявши в свои руки правление, оказались совершенно к нему неспособными, думалитолько о своих личных выгодах, спешили воспользоваться своим торжеством, чтобы обогатиться, и ссорились друг с другом — все это заставляло Екатерину немедленно же войти в виды Пруссии относительно второго раздела, на который после замыслов польских реформаторов относительно русского православного народонаселения смотрели уже не как на раздел Польши, но как на соединение раздробленной России. Право распоряжаться считали за собою полное, потому что Польша была завоевана и сдалась безусловно на волю победителей; конфедерация нисколько не помогала русским войскам, но шла по их следам и крепла с их успехами<sup>216</sup>.

В ноябре прусский посол в Петербурге граф Гольц представил карту Польши, где отмечен был участок, желаемый Пруссией. "Ее Императорскому Величеству всеподданнейше докладываемо о домогательствах прусского министра графа Гольца получить ответ на предъявленное со стороны короля его желание, касающееся до приобретения им части земли от Польши, чертою на карте означенной и до введения войск его в ту часть. По рассмотрении всех бумаг и разных сведений по сей материи Ее Величество указала в высочайшем своем присутствии и под собственным Ее усмотрением протянуть черту на карте Польской для показания того удела, который предназначается к Всероссийской Империи в удовлетворение убытков ее и вследствие общих видов обоих союзных дворов поставить

Польшу в такое положение, чтоб она, служа барьером между окружающими ее, не могла, однакож, сама собою беспокоить их: в лучшее же объяснение монаршей воли описав некоторые места и урочища по той черте, Ее Величество изволила утвердить оную своеручною припискою"<sup>217</sup>. Черта была проведена от восточной границы Курляндии, мимо Пинска, через Волынь, к границам Австрийской Галиции. Прусский удел заключал Познань, Гнезно, Калиш, Серадж, Ленчицу, Ченстохов, Торн, Данциг. Екатерина последнее время усердно занималась древнею русскою историею; ей было тяжело, что не все русские области войдут в состав Всероссийской империи, останутся за чужими стольные города знаменитых русских князей, но она рассчитывала, что со временем можно будет выменять их у Австрии на турецкие области<sup>218</sup>.

Привести в исполнение план раздела Екатерина поручила не Булгакову, который был отозван, а Сиверсу, который умел самые неприятные дела обрабатывать таким образом, что люди, получившие неприятность, не сердились на него, оставались к нему в самых лучших отношениях. В рескрипте императрицы к новому послу говорилось следующее:

"Известно вам, на каких основаниях взаимно полезных и соседственной тишине благоприятствующих с начала нашего вступления на престол наш хотели мы учредить сношения наши с республикою польскою. Приобретенное нами в правительстве ее влияние устремлялось всегда на утверждение вольности и независимости ее с предохранением законных прав сограждан ее. Но все сии подвиги, вместо должного ими признания, произвели злобу к государству нашему, междоусобную зависть и кровопролитные мятежи, кои пресеклись наконец разделом в 1773 году, в действие произведенным. Не может быть, конечно, ни одного Поляка, несколько сведущего о делах, который бы не знал, сколь приступление наше к таковой мере вынуждено было обстоятельствами и тут умели мы не только ограничить собственные наши права в пределах крайней умеренности, но и воздержать лакомство и алчность других дворов, в оном с нами участвовавших. Казалось бы, по всем вероятностям, что вышеупомянутое событие послужит поучением и убеждением для передо, что дальняя целость и спокойствие Польских владений зависят нераздельно от соблюдения тесного и непрерывного согласия с нами и

державою нашею. Но время и весьма короткое доказало, что легкомыслие, надменность, вероломство и неблагодарность, сему народу свойственные, не могут быть исправлены ниже самими бедствиями; ибо как скоро управляющие оным увидели нас озабоченными двумя явными войнами и происками потаенными наших завистников, то не усумнились поползнуться на расторжение всех торжественных с нами обязательств и на разные всякого рода оскорбительные поступки как против нас самих, так особливо против войск наших и даже против подданных наших, по невинным своим промыслам в Польше находившихся, увенчав напоследок все сии неистовства испровержением в 3-й день мая 1791 формы правления, нашим ручательством утвержденной. Перемена, столь несвойственная коренным пользам государства нашего, не могла быть от нас долго терпима, и мы твердо положили оную уничтожить при первом удобном случае, который нам и представился в замирении нашем с Портою Оттоманскою. Уважая вышеозначенные нарушения торжественных договоров и разные обиды, нам от Поляков причиненные, имели мы бы неоспоримое право приступить к исполнению нашего намерения и точным объявлением войны. Но, упреждая напрасное пролитие крови и предпочитая везде и всегда способы кротости и человеколюбия, мы прибегли к средству, в Польше издавна известному и в чрезвычайных случаях обыкновенно употребляемому, то есть составлению новой конфедерации. Для сего велели мы призвать ко двору нашему изъявивших гласно неудовольствие их о переменах, в их отечестве воспоследовавших, от короны генерала артиллерии графа Потоцкого и польного гетмана Ржевуского и от Литвы находящегося в службе нашей генерал-поручика Косаковского; скоро присоединились к ним коронный великий гетман Браницкий и человек до 12 разных чинов из рыцарства.

Но сколь ни малоллюдно сие число, однакож при соглашении с министерством нашим о предварительных мерах и о началах будущего правления примечено было разнообразие видов, не предвещающих ни единодушия, ни прочности в создаваемом здании, каким бы образом оно ни устроилось. Одни помышляли о сохранении или распространении преимуществ чинов их, другие о приобретении оных, а третьи, исключая ручательство наше на форму правления,

хотели сохранить армию Польскую в том количестве, которое определил ей последний сумасбродный сейм. Словом, мало из них, или, лучше сказать никто, кроме генерала артиллерии графа Потоцкого, не занимались прямо благом отечества, согласуя оное с выгодами соседей его и не примешивая к тому личных и корыстолюбивых видов. Но как главный вопрос состоял не в раздроблении сих видов, а паче в поспешении предположенным делам, то и повелели их наискорее отправить к начальникам войск наших, а сим с разных сторон вступить в пределы польские и там под защитою оружия нашего обнародовать генеральную конфедерацию, которая и взяла свое бытие под именем Тарговицкой. Его Величество признал наконец конфедерацию. Но сколько поступок сей был нечистосердечен, то явно изобличается его поведением; ибо, не говоря о тех коварных предложениях, которые он нам чинил в намерении поссорить нас с другими соседственными дворами, мы достоверно знаем, что он и поныне продолжает возбуждать и питать в польском народе злобу и недоброжелательство к нам и войскам нашим, в чем он довольно и предупел, ибо вседневно обнаруживаются разные знаки таковых неприятных расположений, и особливо самым непристойным неуважением к главным начальникам помянутых войск наших.

К вящему доказательству сей строптивости духа, ныне там господствующего, долженствует служить собственное признание главных членов присланной сюда конфедератской делегации, что как скоро войска наши выступят из пределов Польши, то все там под их щитом установленное в мгновение ока испровергнуто будет. Но не столько заботимся мы сим могущим воспоследовать событием, сколько расположением нынешнего пагубного французского учения до такой степени, что в Варшаве развелись клубы на подобие Якобинских, где сие гнусное учение нагло проповедуется и откуда легко может распространиться до всех краев Польши и, следовательно, коснуться и границ ее соседей. Нет мер предосторожности и строгости, каковых бы опасение толь лютого зла оправдать не долженствовало.

Решительный отзыв короля Прусского принудил нас войти в ближайшее соображение всех обстоятельств и околичностей в оном встречающихся. Тут усмотрели мы очевидно и ощутительно во 1) что по испытанности прошедшего и по настоящему расположению вещей



и умов в Польше, то есть по непостоянству и ветрености сего народа, по доказанной его злобе и ненависти к нашему, а особливо по изъясняющейся в нем склонности к разврату и неистовствам французским, мы в нем никогда не будем иметь ни спокойного, ни безопасного соседа, иначе как приведя его в сущее бессилие и немогущество; во 2) что неподатливостию нашею на предложение короля Прусского и исследуемым за тем его отпадением от Римского императора в настоящем их общем деле мы подвергаем сего естественного и важного союзника нашего таким опасностям, что следствия оного вовсе опровергнут европейское равновесие, и без того уже потрясенное нынешним положением Франции, и в 3) что король Прусский, ожесточенный бесполезностию употребленных им издержек, не взирая и на отчуждение наше от его видов, может по известной горячности его нрава или теперь силою завладеть теми землями, или, для достижения к тому надежнейшего способа, навлечь на нас новые отяготительные хлопоты, к усугублению которых сами Поляки готовы будут соделаться первым орудием. Сии и многие другие уважения решили нас на дело, которому началом, и концом предполагаем избавить земли и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменниками ее населенные и созданные и единую веру с нами исповедующие, от соблазна и угнетения, им угрожающих"[219](#).

В Берлине были в восторге от согласия России на раздел Польши; но чем веселее были в Берлине, тем печальнее были в Вене: Пруссия получит немедленно вознаграждение за войну, а Австрия? Должно ждать обмена Бельгии на Баварию, а между тем французы уже заняли Бельгию и менять стало нечего! Король Фридрих-Вильгельм писал в Петербург Гольцу: "Вы изъясните графу Остерману в самых сильных выражениях признательность, какую внушили мне поступки его государыни"[220](#).

Но в этом же письме король уведомляет, что венский двор не хочет довольствоваться вознаграждением, которое получает в промене Бельгии на Баварию, а требует польских земель во временное владение, на случай, если выговоренный промен не состоится. Чтобы отвязаться от Австрии, прусский король предлагает новую сделку: если нельзя будет отнять Бельгии у французов и нечего будет променивать на Баварию, то вознаградить Австрию церковными

владениями в Германии (посредством секуляризации). В то же время<sup>221</sup> Кобенцель получает от своего правительства приказание настаивать в Петербурге, чтобы Россия двинула корпус войск своих из Польши против французов и гарантировала промен Бельгии на Баварию и суррогат, который должна еще получить Австрия. Филипп Кобенцель писал Люи Кобенцелю: "Мы никогда не соглашались на требуемый королем Прусским весьма знатный удел в Польше, а только был оный принят *ad referendum* (к обсуждению. — Прим. ред.), буде бы согласился нам уступить при всем от него зависящем споспешествовании в баварском обмене Аншпах и Байрейт. Поелику король в сем уступлении наотрез отказал, то из сего выводится само по себе следствие, что он, по всей справедливости, удовольствуется гораздо меньшим польским приобретением и что нам, без сомнения, желать надобно всевозможного уменьшения оному, как то всеконечно интересу Российского императорского двора прилично. При нынешнем крайне сумнительном положении наших обстоятельств само по себе явствует, что мы не будем домогаться всевозможного соразмерного уменьшения Прусского удела в Польше, ниже настоять непосредственно на отсрочении явно приданного взятия во владения оного и прямым образом противоборствовать Берлинскому двору. Совсем различно, однако же, при сем положение Ее Императорского российского Величества, и токмо от ее твердой решительности зависит, как на всеобщий, так особенно наш интерес обратить все то деятельное внимание, которого ожидать должно от Ее дружества к Его Императорскому Величеству. Существеннейшее в сем зависеть будет от того, чтобы Ее российское Императорское Величество потщилось ограничить удел Прусский по справедливой соразмерности, причем мы вообще признаем совершенно основательным предложенное г. Зубовым правило, чтобы стараться при новом разделе удержать Польшу яко державу, посреди лежащую, и уклоняться от того, чтобы были те три двора в соседстве. Потом чтобы Ее российское Императорское Величество согласилось на раздел сей токмо с двояким *conditio sine quo non* (непременное условие. — Прим. ред.), дабы, с одной стороны, король Прусский продолжал войну противу Франции со всевозможным усилием, с другой же стороны, дабы наш обмен был равным образом приведен в порядок, а после войны к окончанию".

Венский двор прямо признавался, что не смеет явно действовать против Пруссии, имея нужду в союзе ее против Франции, но тайно позволял себе действовать и против Пруссии, и против России, мешая им в Польше. Сейм 1793 года назначен был в Гродно. Сюда приехал и Сиверс и 29 марта (9 апреля) подал декларацию о разделе. Все было спокойно, сопротивления быть не могло, но скоро<sup>222</sup> посол дал знать императрице о письме польского министра при австрийском дворе Войны к канцлеру Малаховскому. Война писал, что император Франц утешал его насчет печальной участи Польши, уговаривал не терять надежды. "Я не одобряю раздела и в нем не участвую, — говорил Франц, — но мое положение таково, что не могу ничего сделать. Утешьтесь и успокойте своих поляков насчет этой беды, ибо обстоятельства, наверное, могут измениться". Австрийский поверенный в делах в Варшаве Декаше говорил громко, что его двор при других обстоятельствах стал бы противодействовать разделу. Вследствие этого король Станислав-Август тотчас переменял тон.

Между тем военное счастье перешло на сторону союзников; Бельгия была очищена от французов; несмотря на то, надежды променять ее на Баварию было еще меньше, чем прежде. Англия, присоединившаяся к союзу против Франции, требовала, чтобы Бельгия оставалась за Австриею и была усилена линиею крепостей, отнятых у Франции: для Англии было важно, чтобы Бельгия принадлежала одному из самых сильных государств в Европе и, таким образом, сдерживала бы Францию на севере, тогда как независимая Бельгия по слабости своей не могла представлять никакой сдержки. Наследники Баварского престола также не соглашались на обмен. Это заставляло Австрию еще сильнее волноваться насчет событий, происходивших в Польше. Иностранными сношениями венского двора управлял в это время знаменитый Тугут. 16 июня он писал Кобенцелю в Петербург: "Император в промене Бельгии на Баварию никак не может видеть части вознаграждения, которое он должен получить, ибо по крайней мере сомнительно, чтоб огромная несоразмерность в народонаселении и доходах была вознаграждена выгодами округления, какие представляются со стороны Баварии. В настоящую минуту нерасположение Англии, более чем двусмысленные расположения прусского короля, сопротивление курфюрства Баварского и его наследников не позволяют императору долее останавливаться на

проекте, который можно привести в исполнение только силою и который потому возбудит самые сильные жалобы со стороны главных членов империи, доставит недоброжелателям и завистникам Австрии случай оклеветать намерения его величества, отдалит от него все германские дворы и умножит этим настоящие затруднения и невыгоды нашего положения. Император, решившись избегать таких важных неудобств, не может по этому самому согласиться и на секуляризацию и ни на какое приобретение в Германии, ибо этим можно подать опасный пример для жадности Берлинского двора, который им воспользуется, сложив всю вину на нас, и вооружит против Австрии все германские государства. Из этого следует, что в случае, если нельзя будет выполнить наших намерений относительно Франции, императору не останется ничего более, как искать вознаграждения в той же Польше, по примеру дворов Петербургского и Берлинского. Его величество будет принужден, таким образом, прибегнуть к великодушной дружбе своей искренней союзницы, дабы ее величеству императрице благоугодно было наперед согласиться и гарантировать вознаграждение Австрии в Польше в том предположении, если, несмотря на все усилия императора и деятельную помощь, которой он вправе ожидать от союзников, ему нельзя будет получить вознаграждения на счет Франции. Быть может, вашему превосходительству возразят, что Польша будет совершенно уничтожена, если император будет также в ней искать вознаграждения наравне с двумя другими дворами, но я буду иметь честь вам заметить, что в том состоянии, в каком будет находиться Польша вследствие приобретений, уже сделанных на ее счет, когда она будет служить очень недостаточным барьером между пограничными державами, окончательный раздел остающегося не может повлечь за собою очень больших неудобств. Исключая крайнего случая, император вовсе не желает обогащаться на счет Польши; дело идет не о том, чтоб распространять наши владения в Польше, но укрепить, сделать более сносною нашу настоящую границу. Императору желательно было бы получить город Краков: положение Ченстохова, столь грозное для Галиции, необходимо заставляет нас желать этого оборонительного пункта".

В то время как явился третий претендент на владения республики, на ее древнюю столицу, в Гродно не хотели уступать требованиям ни

России, ни Пруссии. Король Станислав-Август в речи своей 20 июня объявил сейму, что он приступил к Тарговицкой конфедерации под условием неприкосновенности польских владений, что он никоим образом не будет содействовать уступке польских провинций в надежде, что и сейм будет поступать точно так же. Но Сивере и прусский посол Бухгольц потребовали, чтобы сейм немедленно выбрал и уполномочил комиссию для переговоров с ними. Король настаивал, чтобы не соглашались на комиссию, а вместо того отправили бы посольства к дружественным дворам с просьбою о посредничестве. Несмотря на то, большинством 107 голосов против 24, было решено выбрать комиссию, но уполномочить и вести переговоры только с Сиверсом, а не с Бухгольцем.

Как скоро в Вене получено было известие, что сейм выставил сопротивление требованиям послов русского и прусского, так пошла депеша от Тугута к Кобенцелю в Петербург: "Император обращается с доверенностью к августейшей союзнице, просит ее взвесить в своей мудрости — перемены, происшедшие в расположении сейма, не представляют ли важных побуждений к тому, чтоб не употреблять сильных средств к ускорению раздела, но отложить его до окончания войны. Прежде всего это единственное средство обеспечить более или менее деятельное содействие прусского короля до конца войны с Франциею. Содействие это необходимо ослабнет, если и не прекратится совершенно, с той самой минуты, как он вступит в полное владение польскими областями и не будет более видеть в них будущую награду обещанных усилий для блага общего дела"<sup>223</sup>.

Депеша опоздала. 13 июля уже начались в Гродне конференции у Сиверса с сеймовою комиссиею. Угроза, что русский посол сочтет дальнейшую проволочку дела за объявление войны, заставила сейм принять предложенный Россиею договор, согласиться на уступку требуемых земель. 11 июля (ст. ст.) договор был подписан. 13 июля Бухгольц потребовал от сейма назначения новой комиссии для переговоров об уступках в пользу Пруссии. Сиверс поддержал требование прусского посла. Несмотря на то, оно было встречено упорным сопротивлением со стороны сейма: воспоминание о поведении Пруссии с 1788 года возбуждало сильную ненависть к недавним великодушным союзникам. Сейм затянул дело. Угроза Бухгольца, что генерал Мёллендорф начнет неприятельские действия,

не помогла. Сиверс ввел русских солдат в замок, где происходило заседание сейма; комиссия была уполномочена подписать договор об уступке требуемых Пруссией земель, но с условиями: например, чтоб архиепископ-примас жил в Польше, но пользовался доходами от имений, отходящих к Пруссии; что договор об уступке земель не прежде будет подтвержден, как по заключении торгового договора между Польшею и Пруссией. Бухгольц потребовал безусловного подписания договора. Это повело к сильному волнению на сейме. Некоторые депутаты позволили себе резкие выходы против обоих дворов и их представителей. Сиверс велел схватить четверых депутатов<sup>224</sup> и выпроводить из Гродна. Тут-то 23 сентября (н. ст.) последовало знаменитое немое заседание, когда депутаты думали, что могут отмолчать свои земли. Сиверс велел объявить, что он не выпустит депутатов из залы, пока не заговорят, не выпустит и короля. Пробила полночь — молчание; пробило три часа утра — молчание. Наконец раздался голос Анквича, депутата краковского. "Молчание есть знак согласия", — сказал он. Сеймовый маршал Белинский обрадовался и три раза повторил вопрос: уполномочивает ли сейм комиссию на безусловное подписание договора с Пруссией? Глубокое молчание. Тогда Белинский объявил, что решение состоялось единогласное. 25 сентября (н. ст.) договор был подписан. С Россией заключен был договор, по которому обе державы взаимно ручались за неприкосновенность своих владений, обязывались подавать друг другу помощь в случае нападения на одну из них, причем главное начальство над войском принадлежало той державе, которая выставит большее число войска; Россия могла во всех нужных случаях вводить свои войска в Польшу; без ведома России Польша не могла заключать союза ни с какою другою державою; без согласия императрицы Польша не может ничего изменить в своем внутреннем устройстве. Число польского войска не должно превышать 15 000 и не должно быть менее 12 000.

Так произошел второй раздел Польши, доказавший прежде всего, что в Польше не было народа; народ молчал, когда шляхетские депутаты волновались в Гродне вследствие требований России и Пруссии. Оказались следствия того, что в продолжение веков народ молчал и шумел только один шляхетский сейм, на нем только раздавались красивые речи. Но такое явление не могло быть

продолжительно, и сейм принужден был онеметь, потому что все вокруг было немо. Быть может, некоторые будут поражены этим немым заседанием сейма; быть может, в некоторых возбудится сильное сочувствие к онемевшим депутатам; но разве их не сильнее поражает еще более страшное онемение, онемение целого народа; разве они не видят в онемении депутатов последнего сейма только необходимое следствие онемения целого народа?

В то время, когда Россия и Пруссия вознаграждали себя на счет Польши, Австрия и Англия стремились вознаградить себя на счет Франции. Теперь Пруссия уже бьет тревогу и взывает к императрице Русской, чтоб она не позволяла Австрии слишком усиливаться. В конце августа в главную квартиру прусского короля явился граф Лербах с тайным поручением от императора Франца. Лербах объявил уже известное нам, именно — что промен Бельгии на Баварию труден по сопротивлению родственников Палатинского дома и по сопротивлению Англии; императору, следовательно, остается вознаградить себя на счет Франции, а в таком случае Эльзас и Лотарингия больше всего ему пригодны и завоевать их всего легче. Лербах требовал, чтобы прусский король обязался вести войну с Франциею до тех пор, пока Австрия не получит это вознаграждение. Фридрих-Вильгельм отказал Лербаху и отправил жалобу в Петербург: "Ее императорское величество, руководясь чувством дружбы, нас соединяющей, отдаст мне справедливость, что я сделал гораздо больше, чем сколько обязался сделать, и что, при всем моем желании, я не могу продолжать на свой счет войны, которой я принес в жертву, в продолжении двух разорительных кампаний, мою казну и кровь моих подданных. Австрия отказалась приступить к петербургской конвенции (о вознаграждении России и Пруссии на счет Польши) и до сих пор даром пользовалась моею помощью, а теперь отвращается от настоящей цели войны и имеет только в виду завоевание французских областей, и мы не знаем еще, где будет положен предел этим завоеваниям. Нельзя поверить, чтобы граф Лербах, назвавши мне Эльзас и Лотарингию, исчерпал этим притязания своего двора; без сомнения, сюда присоединится еще Французская Фландрия, которая уже завоевана отчасти. Англия также питает завоевательные замыслы против своей старинной соперницы, и я взываю к просвещенной политике ее императорского величества: следует ли мне, к моему



собственному ущербу, содействовать обширным замыслам этих обоих государств? И разве это будет большая требовательность с моей стороны, если я у них попрошу денежных пособий на издержки третьей кампании, от которой они получают главные выгоды"<sup>225</sup>.

Денежные пособия, которых Фридрих-Вильгельм II требовал у союзников, простирались до 22 миллионов; из них 9 должна была заплатить Англия, 3 — Австрия, остальные 10 должны быть распределены между членами Германской империи; но так как в последних вдруг собрать такой суммы нельзя, то пусть Австрия и Англия заплатят и эти 10 миллионов, а потом уже сами ведаются с германскими владельцами. Прусский король объявил, что если ему не заплатят этих 22 миллионов, то он по необходимости должен будет отказаться от главной роли в войне и ограничиться поданием той помощи, которую он обязан давать Австрии в ее качестве главной державы, подвергшейся нападению, независимо от прусского участка в имперской армии<sup>226</sup>.

Венский двор в свою очередь приходил в ужас от поведения Пруссии и обращался в Петербург с горькими жалобами на "ненавистные процедуры нечестной политики Берлинского двора"<sup>227</sup>. В Петербурге спешили успокоить Вену по крайней мере относительно Польши — объявили, что у России с Польшей будет вечный союз, который исключит всякое влияние прусского двора на польское правительство. Чтобы обеспечить Польшу от дальнейших замыслов Пруссии, республика будет приглашена укрепить многие города, в том числе Краков и другие, на которые укажет Австрия как на необходимое прикрытие галицийской границы от враждебных движений Пруссии; мало того, Австрии дано будет право держать в этих крепостях гарнизоны. Россия обещала все это сделать для Австрии, лишь бы только император не настаивал на своем праве в крайнем случае искать вознаграждения в Польше; чтобы отказался от своего проекта овладеть Краковом и распространить свои владения на счет Польши.

Все эти предложения из Петербурга несколько не могли уменьшить в Вене страшной тоски по вознаграждениям. Тугут писал Кобенцелю: "Мы знаем очень хорошо, что неизбежным следствием союза между Россией и Польшей будет неограниченное влияние первой на вторую, благодаря которому Польша превратится почти в провинцию Российской империи. Но так как император вполне уверен

в чувствах императрицы и знает, что взаимные интересы обеих империй не допускают зависти относительно выгод, получаемых тою или другою из них, то послу русскому в Вене графу Разумовскому дан был самый удовлетворительный ответ насчет союза России с Польшею. Что касается двух других пунктов, то я представил графу Разумовскому, что его величество может отказаться от права в крайнем случае искать вознаграждения в Польше только при уверенности, что его августейшая союзница укажет ему на другое вознаграждение и обяжется облегчить ему его приобретение всеми своими силами и средствами"<sup>228</sup>.

С началом 1794 года все более и более усиливались жалобы Австрии на Пруссию за ее требование пособий во Французской войне деньгами и натурою. 27 февраля Тугут писал Кобенцелю: "Император смеет ожидать с доверенностию от дружбы, великодушия и справедливости своей августейшей союзницы, что она соблаговолит неотлагательно воспользоваться своим первенствующим положением и употребит самые действительные средства для предупреждения и сдержки дальнейших неправд отвратительной политики Берлинского двора". Россия платила Австрии ежегодно по 400 000 рублей на военные издержки, но в марте 1794 года Венский двор кроме этого пособия стал просить еще корпуса русских войск для прямого действия против французов<sup>229</sup>. На этот раз войска нельзя было отправить против французов: войско опять стало нужно — в Польше.

## ГЛАВА XII

После печального конца майской конституции у ее приверженцев, как выехавших за границу, так и оставшихся в Варшаве, было одно средство действовать в пользу проигранного дела: составлять заговоры, возбуждать неудовольствие и дожидаться удобного случая для поднятия восстания. В Варшаве главным деятелем был генерал Дзялынский, но для успеха дела ему нужны были союзники в других сословиях, и он обратил внимание на самого видного человека между купцами, Капостаса. Капостас был родом из Венгрии<sup>230</sup>; в 1780 году переехал в Варшаву, служил сначала у купца Баугофера, а в 1785 году завел сам банкирскую контору в товариществе с Мазингом. Начались преобразовательные движения; Капостас был уже купеческим старшиною и ратманом в магистрате; он составил проект банка, напечатал и представил в 1790 году сейму, за что возведен был в шляхетство.

Когда в 1793 году в исходе мая или начале июня Капостас пришел к Дзялынскому для сведения торговых счетов, то Дзялынский начал говорить ему: "Ко мне ежедневно стекаются военные и гражданские чиновники, мещане — все хотят революции, хотят видеть Польшу независимою и завоевать недавно потерянные земли". "Об этом деле надобно подумать и подумать, — отвечал Капостас, — нетрудно начать, но как кончить? Чтоб не было хуже!" "Я говорил то же самое многим, — сказал на это Дзялынский, — но мне возражают, что хуже настоящего положения быть не может, потому что если мы и будем побеждены, то можно ожидать только общего раздела всего государства; но не лучше ли быть под какою-нибудь чужою державою, нежели под нынешним нашим правлением?" Тут же Дзялынский познакомил Капостаса с людьми, принимавшими деятельное участие в движении. Для заговорщиков было важно привлечь на свою сторону Закржевского, человека очень видного, поборника конституции 3 мая и бывшего муниципальным президентом в Варшаве до отмены конституции 3 мая. Дзялынский и Капостас спрашивали у Закржевского, не хочет ли он с ними соединиться и подкрепить предприятие советами и деньгами; Закржевский не согласился из

любви к жене и детям. Он обещал только хранить все в тайне, прибавив: "Если вы сделаете что-нибудь благоразумное, то после явного начатия дела пожертвую собою благу отечества". Главными заправителями дела стали теперь Дзялынский, Капостас, Сцис, Павликовский, Ельский и Алое. Они решили начинать дело не прежде, как удостоверятся: во 1) как расположено общество в других городах; 2) как расположены военные в провинциях — в Варшаве же заговорщики могли вполне положиться на войско, потому что офицеры были главными деятелями в распространении революционного духа; 3) имеет ли все государство доверенность к Костюшке; 4) примет ли Косцюшко на себя опасное звание предводителя восстания; 5) могут ли заговорщики положиться хотя на тайную помощь Австрии, по крайней мере на дружественный нейтралитет, чтобы из австрийских областей получить все нужное для войны; 6) начнет ли Турция или Швеция войну против России и Пруссии; 7) нельзя ли получить от Франции займы денег; 8) нельзя ли начать везде вдруг, обезоружить войска русские и прусские<sup>231</sup>.

Дзялынский, Ельский и Капостас собрали деньги и отправили на них двоих эмиссаров: одного — в Краков с областью, другого — в Литву и Вильну испытывать расположение тамошних жителей. Два дня спустя по отправлении эмиссаров Капостас пришел к Дзялынскому и застал у него бригадира Мадалинского с подполковником Петровским, они объявили, что в краковском корпусе, состоявшем из 13 000 человек, заключена уже конфедерация, чтобы освободить Польшу и не допустить до уменьшения ее войск. Мадалинский за тем и приехал в Варшаву, чтобы присоединить к конфедерации варшавский гарнизон и мещанство. Дзялынский и Капостас уговорили его оставить это намерение и приступить к их плану, то есть чтобы выбрать Косцюшку начальником восстания. Через две недели после этого пришли известия от эмиссаров из Кракова и Литвы, также из Великой Польши, что там все готово к восстанию. Тогда варшавские заговорщики отправили двоих нарочных к Косцюшке, Игнатию Потоцкому и Коллонтаю, которые жили в Лейпциге.

Косцюшко<sup>232</sup> после приступления короля к Тарговицкой конфедерации оставил службу и сначала жил в Варшаве, потом поехал во Львов, чтоб удостовериться, правда ли, что все говорили и писали в

газетах, будто госпожа Косаковская подарила ему имение с 20 000 флоринов дохода. Косцюшко был у нее, и она лично подтвердила ему это известие. Косцюшко отказался от подарка, хотя был беден. При выходе в отставку у него было только 1000 червонных; потом две дамы дали ему около 1000 червонных. Публика женила его тогда разом на пяти женщинах, хотя он ухаживал за одною — вдовою Потоцкого с целью жениться, но дело не сладилось. Когда на возвратном пути из Львова Косцюшко был в Замостье, является к нему австрийский офицер с приказанием от своего правительства оставить австрийские владения, и в то же время Косцюшко получает анонимное письмо из Варшавы с предостережением, чтобы не возвращался в Польшу, потому что русские войска получили приказание его схватить. Это письмо заставило Косцюшко пролить много слез, по его собственному признанию. Он в ту же ночь оставил Замосц и отправился в Лейпциг, где нашел Игнатия Потоцкого, Коллонтая, Забелло, Вейсенгофа и других эмигрантов. Получая известия о событиях 93 года в Польше, они придумывали средства, как бы помочь беде. Сначала решили обратиться к венскому двору, и Потоцкий написал поздравительное письмо к Тугуту со вступлением в министерство, но не получил никакого ответа. Потом придумали послать кого-нибудь во Францию с просьбою о помощи; выбор пал на Косцюшку, и он отправился.

Приехавши в Париж, он обратился к министру Лебрену, но тот отпотчевал его неопределенными и неверными обещаниями денежного пособия и помощи со стороны турок. Косцюшко возвратился ни с чем опять в Лейпциг. Тут-то явились к нему посланцы от Варшавского комитета с просьбою принять начальство над войском, которого более 20 000. Посланцы объявили, что Варшава хочет непременно свергнуть невыносимое иго; что неудовольствие растет в стране день ото дня; что решились защищать варшавский арсенал, который русские хотят непременно взять, и надобно бояться, чтобы дело уже не началось в Варшаве. Косцюшко отвечал, что единственное желание его — сражаться за отечество и что если десять человек согласны, то он охотно пойдет в одиннадцатые, но прибавил, что Варшава не Польша: если варшавяне начнут — тем хуже для них, но если они хотят действительно предпринять защиту отечества, то должны снестись с жителями и войсками во всей Польше и запастись средствами для борьбы. Несколько недель спустя Ельский с другим товарищем

приехали опять от того же Варшавского комитета с просьбою, чтобы Косцюшко из любви к отечеству приехал бы по крайней мере в Краков, потому что все в страшном отчаянии, что пришел указ уменьшить войска, хотят взять арсенал и все хотят защищать его при малейшем движении русских войск. Косцюшко отвечал, что арсенал — пустяки в сравнении с Польшею, и дал Ельскому инструкцию с бланкетами для генералов в воеводствах, чтобы они набирали людей, доставали оружие, припасы, деньги, платье; в назначенное время генералы должны были прислать ему подробное донесение обо всем. В Лейпциге после этого нашли опять нужным отправить Барца во Францию — представить тамошнему правительству, что отчаяние заставляет поляков взяться за оружие и просить денег. Через несколько недель Косцюшко явился в окрестностях Кракова, где имел свидание с генералом Водзицким и бригадиром Монжетом, и, видя, что ничего еще не сделано по его инструкциям, и найдя очень немного из обещанных донесений, уехал в Рим, оставя письма к генералам, в которых уверял, что всегда будет с ними для защиты отечества.

Между тем в Польше все сильнее и сильнее волновались военные слухом об уменьшении армии; чтобы предупредить эту меру, они торопили восстание, приезжали в Варшаву к Дзялынскому и требовали, чтобы до прибытия Косцюшки он сделался начальником восстания, угрожая смертью, если не согласится. То же делали офицеры краковского корпуса с Мадалинским. Дзялынский и Капостас всеми силами старались отсрочить вспышку и единственно для успокоения горячих голов отправили Ельского и Горзковского в октябре 1793 года в Италию отыскать Косцюшко и привезти его переодетого, если не в Варшаву, так в Краков. Посланные возвратились только в январе 1794 года и объявили, что нашли Косцюшку в Риме, откуда он поехал в Дрезден, велевши сказать в Варшаве, что дело еще не готово, что нет надежды на денежное пособие и вообще на иностранные дворы и что надобно отложить революцию до будущей весны. Ответ этот не понравился офицерам, которых распалил еще больше Ясинский, полковник литовской артиллерии, приехавший делегатом литовских войск из Вильны с объявлением, что все там готовы. Дзялынский и Капостас послали просить Косцюшку, чтобы он в начале февраля приехал в Галицию для переговоров с ними, потому что они ехали во Львов на контракты.

Горячие головы<sup>233</sup> несколько успокоились, Ясинский уехал в Вильну. Дзялынский и Капостас в начале февраля приехали во Львов, но о Косцюшке не было никакого слуху. Капостас возвратился в Варшаву, Дзялынский — в свои деревни. Между тем выдан был декрет Постоянного совета об уменьшении польской армии в исходе февраля и начале марта. Горячие головы опять взволновались, хотели поднять возмущение немедленно — начались конференции, составлялись военные планы. Капостас настоял отправить еще раз к Косцюшке, и послали Прозора, Литовского обозного, и священника Дмуховского. 25 февраля назначена была конференция у камергера Венгерского; собралось человек более 70; тут же уже не говорили, начинать ли без Косцюшки или нет, но начинать ли чрез два дня или нет. Капостас начал говорить, чтобы предприятие было отложено на 5 или на 6 дней до получения ответа от Косцюшки. Но тут артиллерийский капитан Миллер выхватил шпагу и, замахнувшись на Капостаса, закричал: "Я вижу, что ты изменник; ты нарочно к нам присоединился, чтоб мешать нам и средства к спасению государства отдать в руки врагов, потому что где будут через пять или шесть дней храбрые воины и оружие наше, когда уже сегодня начинают уменьшать число их! Лучше умереть с оружием в руках, ибо странно предположить, чтоб враги не знали о наших движениях. Они нарочно притворяются для того, чтоб после уменьшения армии тем удобнее перехватать нас одного за другим". "Гораздо лучше умереть тысяче, чем нескольким стам тысяч людей вследствие нашего безрассудного предприятия", — отвечал Капостас. Собрание успокоилось, все разошлись, но на другой же день все было узвано.

Полномочным послом императрицы в Варшаве был в это время генерал Игельстром, человек, давно знакомый с Польшею, бывший в Варшаве еще при Репнине и отличавшийся точным исполнением приказов. Но, как часто бывает, верный исполнитель чужих приказаний, Игельстром оказался не совсем состоятельным, когда пришлось самому быть главным распорядителем; оказалось также, что Игельстром, несмотря на давнее пребывание свое в Польше, не совершенно изучил поляков. Между жителями Варшавы поднялся сильный ропот вследствие помещения русских войск, и особенно офицеров: благодаря распоряжению польских чиновников, о котором мы уже имеем понятие по донесениям Булгакова в 1792 году,



вознаграждение за квартиры получали только избранные по разным отношениям, бедные должны были держать постояльцев даром, тратить большие деньги на отопление в зимнее время, притом же квартиры вздорожали, что было тяжело для бедных людей, не имеющих своих домов. Игельстром, слыша жалобы и желая сделать облегчение городу, вывел часть русских войск из Варшавы, но ропот не уменьшился, только уменьшились средства против заговорщиков<sup>234</sup>, что придавало духа последним, и мы видели, какие начались многочисленные сборы. Сборы 25 февраля, однако, не могло утаиться от Игельстрома. На другой день он распорядился, чтобы за всеми приезжающими из-за границы был строгий надзор с целью отыскать между ними Косцюшку; также был отдан приказ схватить Венгерского, Капостаса и других подозрительных лиц. Венгерского и Серпинского схватили; они указали, как ходил слух<sup>235</sup>, начальниками предприятия — двоих Потоцких, Игнатия и Станислава, Коллонтая, Малаховского, Сапегу, Косцюшку и других. Дзялынського отправили в Киев. Но Капостас был предвещен 28 февраля: он переночевал следующую ночь в чужом доме, зашел на другой день поутру домой, чтобы взять денег и спрятаться в предместье — Праге; здесь он получил ответ от Косцюшко: "Дождаться; уменьшение войска не так вредно, как преждевременное начатие революции". После этого Капостасу нельзя было долее оставаться в Праге; 15 марта он выехал оттуда через Краков в Кальварию, в Галиции.

Между тем Игельстром, обеспокоенный варшавскими заговорами, дал знать о них в Петербург и просил увеличить его войско. Екатерина не любила этих просьб: она думала, что количество — дело последнее, что без него можно легко обойтись, когда есть хорошие качества, и потому отвечала Игельstromу от 30 марта: "Примеченное вами дурное расположение умов и в самой Варшаве по справедливости возбуждает заботу и попечение ваши. Но казалось бы, на усмирение и удержание их в должных пределах при твердости довольно было и тех сил, кои вы поныне в вашем распоряжении в окружностях сей столицы имели. От умножения оных можно опасаться различных неудобностей, а между прочим того, чтоб не обнажить во все и других важных мест, не затруднить пропитание и притом излишними предосторожностями не придать злонамеренным отваги и наглости и не дать им более уважения, чем достойны они, а тем самым и ускорить произведением в

действие враждебных их замыслов. Вы из опытов знаете, что мы почти всегда не столько числом, сколько мужеством и храбростию войск наших побеждали и покоряли наших врагов, почему и почитаем, что найдете достаточным число войск наших ныне до 10 000 в окрестностях Варшавы и в ней самой простирающееся к удержанию тишины и повиновения, тем более что, не взирая на уверение гетмана Косаковского, нужно вам самим на Литву обращать все внимание и не выводить более из нее войск. Повелеваем вам употреблять все деятельные способы, в руках ваших находящиеся, к усмирению волнения, наблюдая строго поступки людей подозрительных, захватывая под стражу всех тех, которые нескромностию речей или поведения изобличатся в худых намерениях, и предавая иных сеймовому суду, а других удаляя из города в такие места, где их злые умыслы могли бы остаться без действия. Все сии деяния можете вы оправдывать силою и разумом самого союзного нашего трактата с республикою польскою, которым препоручаются нам попечения о предохранении внутренней и внешней ее безопасности".

Мы видели, что главное побуждение к революционному движению заключалось в уменьшении войска. Эту меру должно было привести в исполнение к 15 марта. Но как это делалось? Полк Дзялынського, находившийся в Варшаве, отпустил только 16 человек, объявив Игельстрому, что это весь лишек против числа, определенного Гродненским сеймом<sup>236</sup>. Бригада Мадалинского, стоявшая между Бугом и Наревом, собравши свои эскадроны под Остроленкою, прямо объявила, что не допустит до сокращения своих кадр. Игельстром немедленно отправил против нее отряд войска под начальством Багреева; узнав об этом, Мадалинский решился на отчаянное предприятие: вдоль прусских границ пробраться в Галицию и там со всею бригадою вступить в австрийскую службу. Багреев не мог догнать Мадалинского, который из Млавы перешел прусскую границу и, гоня перед собою малые отряды прусских гусар, составлявших пограничную стражу, переправился чрез Вислу у Вышеграда, в 7 милях от Варшавы; отсюда пошел двумя дорогами: один отряд направился чрез Южную Пруссию, другой — варшавским округом до Иновлодза, где, перешедши Пилицу, направил путь чрез Сендомирское воеводство к Кракову. Игельстром отправил за ним войско под начальством генерала Тормасова.

Между тем Косцюшко получил известие в Дрездене, что многие заговорщики схвачены в Варшаве, что жители ее через два или три дня непременно возьмутся за оружие. Чрез несколько времени пришло верное известие, что Мадалинский начал восстание. Косцюшко рассердился на эту поспешность, но делать было нечего, выехал из Дрездена с Зайончеком, братом Коллонтая и Дмуховским. Приехавши в Краков, он нашел там уже много людей, которые его ждали, и провозгласил восстание 24 марта (н. с.). В это самое время явился в Краков и Капостас, потому что хозяин дома, где он жил в Кальварии, не хотел держать его более трех дней. Косцюшко сначала встретил Капостаса очень холодно, упрекал, зачем оставил Варшаву, и не хотел слушать оправданий, но потом смягчился, когда Капостас купил на свой счет 5000 кос и подарил их революционной войску. Соединившись с Мадалинским и набравши толпы повстанцев, вооружив крестьян косами, топорами и пиками, Косцюшко выступил из Кракова; 24 марта (4 апреля) под деревнею Рацлавицами встретил отряд генерала Тормасова и сломил его, пользуясь перевесом своих сил и невыгодою положения русских<sup>237</sup>.

Это дело, ничтожное само по себе, имело важное значение как первый удачный шаг начальника восстания, особенно в таком впечатлительном, увлекающемся народе, как поляки. Еще как только Косцюшко провозгласил восстание в Кракове, варшавские заговорщики начали сильно волноваться: на углах улиц стали появляться афишки, призывавшие народ к соединению с Косцюшкою; в театрах возбуждали патриотизм пиесами, приноровленными к настоящему положению; наконец, стали поднимать чернь частыми пожарными всполохами. Известие о поражении Тормасова еще более усилило революционное движение. Ни одному из русских не позволялось входить в арсенал, а между тем все знали, что там день и ночь работают, льют пули и ядра и готовят все нужное для артиллерии. Генерал-квартирмейстер Пистор предложил Игельstromу захватить арсенал, окружить ночью и побрать в плен полк Дзялынского и баталион канонерский, отличающиеся революционным духом. "Как можно, — отвечал Игельstrom. — А союзный трактат с Польшею! Восстание начинает не республика, а только некоторые лица; правительство республики высказалось против Косцюшки в своем манифесте; взять арсенал — значит начать неприятельские действия

против республики; шаг этот будет сигналом к восстанию целого города". Игельстром полагался на великого гетмана коронного Ожаровского, который головою ручался за верность гарнизона; Ожаровский смотрел на все глазами варшавского коменданта Циховского, а Циховский принадлежал к числу заговорщиков.

Между тем вторжение Мадалинского в прусские границы встревожило пруссаков; войска их начали стягиваться и приближаться к Варшаве, сносаясь с Игельстромом насчет совокупного действия против Косцюшки. Это испугало варшавян; магистрат прислал к Игельструму с просьбою, чтобы не позволял прусским войскам входить в город и размещаться по квартирам. Генерал обещал исполнить просьбу магистрата с условием, если варшавяне будут вести себя спокойно, в противном случае пруссаки войдут в город. Магистрат дал торжественное обещание, что он с добрыми гражданами будет противиться изо всех сил затеям головорезов. Не менее варшавян испугалось движения прусских войск австрийское правительство. Тугут, объявляя петербургскому двору<sup>238</sup> об отъезде императора Франца в Бельгию, просил, чтобы русское правительство "наблюдало и сдерживало своими войсками вредные проекты, которыми может заняться беспокойная политика двора, равно опасного для обеих империй". Известие о некоторых оскорблениях, какие позволил себе Мадалинский, проходя вдоль новых границ прусских, едва достигло Берлина, как сейчас же был отдан приказ двинуть войска в Польшу; а между тем при дворе и в городе не скрывали радости, что это событие должно повести к разделу остальной Польши, ибо надобно положить конец правительству слабому, неспособному обеспечить спокойствие своих соседей. "Мы постоянно надеемся, — писал Тугут, — что храбрость русских войск скоро потушит смуту, возбужденную безрассудною дерзостью нескольких искателей приключений; мы надеемся также, что барон Игельстром, оправившись от первого впечатления внезапного взрыва, увидит, что собственных его сил очень достаточно для уничтожения нестройных банд и вовсе не нужно прибегать к помощи прусских войск". Тугут удивляется, что Игельстром согласился на вступление прусских войск в Польшу.

К несчастью, Игельстром не успел еще оправиться от впечатления, произведенного первым внезапным взрывом, как

последовал другой. Игельстром церемонился, не хотел захватывать арсенала и войск, зараженных революционным духом, уважая права союзного государства. Но заговорщики не церемонились, — разглашая, что русские намерены захватить арсенал и в наступающее Светлое Воскресенье произвести всеобщую резню в Варшаве, в которой пруссаки примут ревностное участие, что, следовательно, надобно предупредить врагов восстанием. Главными подстрекателями были военные; но они знали, что без мещан и черни ничего не сделают. Капостас ушел, и потому заговорщики обратились к другому богатому мещанину, также ратману магистрата.

В 1780 году приехал из Познани в Варшаву башмачник Ян Килинский. Молодой, ловкий, красивый, краснбай, Килинский в короткое время приобрел большую известность у варшавских дам, сделался модным башмачником, купил два каменных дома, стал членом магистрата. Будучи самым видным человеком в цехе сапожников, многочисленнейшем из варшавских цехов, Килинский мог оказать восстанию самую деятельную помощь; ксендз Мейер свел его с офицерами-заговорщиками, но первое братское целование с ними дорого стоило Килинскому.

О сборище донесли Игельструму, на другой же день явился от него офицер к Килинскому и пригласил его к генералу. Килинский захватил с собою кинжал, чтобы заколоть Игельстрома и себя, если бы генерал велел засадить его в тюрьму, но он сам признается, что, когда вошел в дом, занимаемый генералом, ноги у него задрожали от великого страха<sup>239</sup>. Игельстром начал его распекать: "Ах ты, бестия, бунтовщик, шельма, изменник, каналья, вор! Вот я тебя велю повесить!" Кончивши распекание, Игельстром обратился к нему с вопросом: "Что ж ты, дурак, думаешь?" "Не знаю, за что изволите гневаться, — отвечал Килинский, — до сих пор не слышу о моем преступлении". Игельстром пошел в кабинет и вынес рапорт, где было подробно описано вчерашнее свидание Килинского с заговорщиками. Опять у Килинского задрожали ноги и волосы встали на голове, когда генерал стал читать ему рапорт. Как быть — запереться нельзя; нельзя ли обмануть и вывернуться от беды? "Ясновельможный добродей! — отвечал Килинский. — Я стою перед тобою виноватым, это правда; но кто же тому причиною, как не сам пан? У вашей милости на днях был наш президент магистратский, и вы его просили, чтоб нас, всех



ратманов, от вашего имени просил наблюдать в кофейных, погребках и биллиардных, что толкуют о бунте, и доносить президенту, который будет доносить вам либо сам арестовывать виновных. Президент нас обо всем этом просил вашим именем, и я старался отыскивать людей, толкующих о бунте, и вчера нашел их; когда я к ним вошел, то они стали и меня уговаривать к бунту; но мне что же было им другое говорить, как только поддакивать, ибо иначе я бы ничего от них не узнал; вот я им и начал говорить все, что у вас там написано в донесении; а если б я им сказал, что не хочу быть с ними заодно, то они бы меня сейчас же вытолкали, а может, и убили где-нибудь в закоулке. Я уж обо всем начал у себя писать, чтоб донести президенту, а всех офицеров-заговорщиков позвать к себе, и как бы только они ко мне пришли, то я послал бы за полицией и всех их перехватал".

Игельстром всему поверил, начал просить извинения у почтенного гражданина, что так с ним сначала обошелся, велел принести вина и потчевал Килинского, а Килинский, возвратившись с торжеством домой, начал всеми силами хлопотать, как бы привлечь к заговору побольше ремесленников, только действовал осторожно.

Днем восстания назначен был четверг Страстной недели, 6 (17) апреля. Ночью было все спокойно на улицах, и, чем ближе было к взрыву, тем менее можно было ожидать его. Килинский раздавал деньги черни, роздал 6000 злотых<sup>240</sup>. Между войском разгласили, что русские в эту ночь овладеют арсеналом и пороховым магазином<sup>241</sup>. В 4 часа утра послышалось какое-то движение в арсенале; потом отряд конной гвардии выехал из своих казарм и ударил на русский пикет, который стоял с двумя пушками между казармами и железными воротами Саксонского сада. Пикет выстрелил два раза из пушек и отступил пред многочисленнейшим неприятелем. Отряд, подрубивши колеса у пушек, возвратился в казармы; вслед за тем выехала вся конная гвардия: два эскадрона направились к арсеналу, два — к пороховому магазину. Из арсенала даны были сигнальные выстрелы. Генерал Циховский послал приказ полку Дзялынского выступать, а сам из окна кричал народу: "К оружию! К оружию!" С разных сторон стремились к арсеналу войска: скарбовая милиция, народова кавалерия. В арсенале раздавали палаши и ружья всякому, кто только хотел брать; лучшие мещане сидели спокойно по домам, заперши двери; главное участие в восстании принимали ремесленники, лакеи,

извозчики. Где только завидят русского — хватают, бьют, умерщвляют, офицеров забирают в плен, денщиков по большей части убивают.

Генерал Игельстром, услышав о возмущении, приказал генерал-поручику Апраксину расставить все отряды русского войска на определенных заранее местах. Главное нападение повстанцев было на квартиру Игельстрема на Медовой улице. Несколько раз с разных концов напирала толпа и всякий раз была отражаема русскими войсками. Что же делалось в это время во дворце? Короля разбудили в 5 часов: к нему приехал маршал Постоянного совета граф Анквич с известием, что от его дома снят почетный караул; вслед за Анквичем приехали во дворец великий маршал Мошинский и великий гетман Ожаровский, которые не знали, что значит эта суматоха в городе. Король сначала посылает за своею конною гвардиею и за уланами, чтобы ехали немедленно ко дворцу, но их уже и след простыл: они отправились к арсеналу и пороховому магазину. Король сошел вниз, на дворцовый двор, чтобы увериться, тут ли по крайней мере обычные караулы, и запретил им двигаться с места; потом вышел в сопровождении пяти или шести человек посмотреть, что делается на улице, и видит, что вооруженные толпы куда-то бегут. Минут десять спустя раздается шум сзади, король оборачивается: гвардейцы, которые сейчас дали ему слово не трогаться с места, бегут. Король идет к ним навстречу, кричит, машет рукою; солдаты останавливаются; молодой офицер подходит к королю и с клятвами в верности к его величеству объявляет, что они должны идти туда, куда зовет их честь. "Честь и обязанность повелевают вам быть подле меня", — отвечает король. Но в это самое время слышится выстрел в той стороне, где живет Игельстром, и гвардия бросается туда, так что король едва не был сбит с ног; во дворце не остается ни одного караульного. Час спустя является магистрат с объявлением, что он потерял всякую власть над мещанами, которые разломали оружейные лавки, вооружились и бегут на соединение с войсками. Тут король посылает своего брата к генералу Игельструму с предложением выйти из города с русскими войсками, чтобы ему, королю, можно было успокоить город, ибо народ и солдаты кричат, что без этого они не перестанут драться. Игельстром отвечает, что принимает предложение. Подождавши час и видя, что Игельстром не трогается и стрельба не перестает, король посылает к Игельструму старого генерала



Бышевского с прежним предложением. Игельстром хотел сначала сам ехать к королю, но когда Бышевский представил ему, что он рискует подвергнуться большим опасностям со стороны народа, то Игельстром посылает племянника своего для переговоров с королем.

Вместе с молодым Игельстромом едут Бышевский и Мокрановский с целью защищать его от народа, но, разъяренные толпы кидаются на Игельстрома и умерщвляют его; Бышевский, хотевший защитить его, сам тяжело ранен в голову; Мокрановский, как видно, не употреблял больших усилий к защите и потому остался цел и невредим. Станислав-Август затеял все эти переговоры и приказывал известить Игельстрома о расположении войска и народа, вовсе не зная этого расположения. Только когда убили молодого Игельстрома, король вышел на балкон и стал говорить народу, что надобно выпустить Игельстрома с войском из города. Народ закричал, что русские могут выйти, положивши оружие. Король отвечал, что русские никогда на это не согласятся; тогда в толпе раздались оскорбительные для короля крики, и он должен был прекратить разговор. В десять часов привели к королю тамбурмажора, который отличился тем, что овладел русскою пушкою. Станислав-Август не счел приличным с ним объясняться и велел ему выйти из комнаты; но тут же в виду короля и в его комнатах собрали большую подписку для тамбурмажора<sup>242</sup>. Между тем завязался сильный бой на улице Свентокржыской, где генерал Милашевич и полковник князь Гагарин удерживали полк Дзяльгаского, находившийся под начальством полковника Гаумана. Здесь поляки сначала хотели действовать обманом: от Гаумана явился к Милашевичу офицер с уверениями, что дзялынцы не имеют никакого враждебного намерения, а идут по королевскому приказу в замок, чтобы заодно с русскими действовать против повстанцев; но Милашевич не вдался в обман, потому что имел от Игельстрома точное приказание не пропускать полка Дзялынского.

После приехал к Милашевичу генерал Мокрановский с требованием от королевского имени, чтобы пропустил полк Дзялынского, который должен действовать заодно с русскими против мятежников, но Милашевич вместо ответа показал ему приказ Игельстрома. Еще в третий раз дзялынцы потребовали пропуска и, получивши опять отказ, начали стрелять картечами. Долго Милашевич и Гагарин с успехом отбивались от неприятеля; но, истративши боевые

запасы и терпя сильный урон от стрельбы из окон домов, отступили на Саксонскую площадь. При этом отступлении оба генерала были тяжело ранены, отнесены в ближайшие дома, и здесь Милашевич был взят в плен, а князь Гагарин умерщвлен чернью. Это несчастье имело решительное действие. И без того русские войска находились в самом печальном положении. Русские солдаты привыкли действовать в чистом поле, брать города; а теперь они были застигнуты мятежом в тесных улицах большого города, где на каждом шагу засада, где стреляют из окон домов. До чего могло доводить это движение по закоулкам — доказательством служит, что один русский батальон, шедший для соединения с своими, встретил их, принял за поляков и так попотчевал пушечными ядрами, что те должны были рвануться в сторону. Батальоны, расположенные поодиночке в разных местах, были предоставлены самим себе, не могли стягиваться для общего дела, ибо не было общего направления, не было общего начальника, сообщения были прерваны, адъютанты не могли скакать с приказаниями: их били повстанцы. Сыскался один герой-медик Лебедев, который взялся передавать приказания, продираясь между рядами повстанцев; но одного Лебедева было мало, притом же ему плохо верили, не зная, кто его уполномочил!

После этого нечему удивляться, что большая часть русских войск, стянувшихся под начальством генерала Новицкого, ушла из Варшавы, не зная, что делается у квартиры Игельстрома, предоставляя своего главного начальника собственной его судьбе. При соображении всех обстоятельств нельзя, как нам кажется, много толковать о том, что русского войска было достаточно для подавления мятежа<sup>243</sup>, потому что польских войск было не более 1200 человек и столько же повстанцев из народа: число при известных местных условиях теряет свое значение — надобно принимать в соображение главное, какой вред могла наносить небольшая толпа повстанцев при благоприятных им местных условиях и какое впечатление эта возможность должна была производить на русских.

Говорят<sup>244</sup>, что надобно было руководствоваться обстоятельствами, а не предписаниями. Но нельзя требовать от каждого батальонного начальника суворовской гениальности и вместе смелости взять на себя ответственность. Главнокомандующий знал, что готовится восстание, но не знал дня, когда оно должно вспыхнуть.

Войска не были приготовлены; офицерам и солдатам в голову не приходило, что могло случиться что-нибудь подобное. Одному батальону была очередь говеть на Страстной неделе, и в Великий четверг, в день восстания, он находился в церкви для приобщения Св. Таин; здесь он был окружен повстанцами, перерезан или разобран в плен.

Но обратимся к генералу Игельstromу, который отбивался у своей квартиры на Медовой улице. В первый день отбиты были все нападения повстанцев. Ночью Игельstrom сжег секретнейшие бумаги, но не решился оставить своей квартиры и выйти из города, воспользовавшись темнотою, хотя ему и представляли, что на другой день может быть плохо, потому что о русских войсках, которые могли бы прийти к нему на помощь, не было слышно (Новицкий уже ушел из Варшавы). На рассвете другого дня повстанцы начали нападение на квартиру генерала со стороны Подвальной улицы, открыли убийственный огонь на дом Игельstromа с домов Сенаторской улицы. Оставив отряд для защиты своей квартиры, Игельstrom с остальным войском перешел на площадь Красинских, ибо на Медовой улице держаться было нельзя — ее обстреливали со всех сторон. Но и новое положение было не выгоднее старого: повстанцы сосредоточили свои силы в окрестностях, и русские попали в перекрестный огонь. Игельstrom попробовал, нельзя ли дать делу мирный оборот, и послал бригадира Бауера в арсенал для переговоров. Командовавший в арсенале генерал Мокрановский велел отвечать, что неприятельские действия прекратятся, когда Игельstrom запретит своим стрелять и сдастся на милость. Тогда Игельstrom начал отступление и под выстрелами, преодолевая множество затруднений, пробился со своим маленьким отрядом за город и соединился с пруссаками в Повонзках (дача княгини Чарторыйской). Маленькие русские отряды, оставшиеся в разных местах Варшавы, после упорного сопротивления были истреблены или забраны.

Русских не было более в Варшаве; надобно было учредить революционное правительство. Еще в первый день восстания толпы народа ворвались во дворец, схватили здесь Мокрановского и Закржевского, понесли их в ратушу и там провозгласили: Закржевского — муниципальным президентом Варшавы, а Мокрановского — военным начальником города. На третий день, 8 (19), в ратуше

устроили Правительственный совет из Закржевского, Мокрановского и 12 других особ, 8 шляхтичей и 6 мещан; в числе последних был и Килинский. Члены нового Совета послали сказать королю, что сохраняют в отношении к нему уважение и привязанность, но повинуются только Косцюшке; желают, чтобы король благоприятствовал их намерению, и требуют, чтобы он не покидал Варшавы. Король в ответ предложил им вести себя не по-якобински, уважать религию и позаботиться о полиции. На другой день, в Светлый праздник, король мог удостовериться, какое уважение будет ему оказываемо: Закржевский надел орден Белого Орла и подвергся за это оскорблениям от народа. Килинский явился с просьбою об арестовании некоторых лиц и в просьбе назвал себя главою народа.

29 апреля назначено было торжественное поминовение по убитым 17 и 18 числа. Король отправился в соборную церковь к заупокойной обедне. Во время проповеди оратор Вытошинский обратился к нему со следующими словами: "Так как вы здесь сами лично, государь, то позвольте обратиться к вам с свободою служителя алтаря и вольного гражданина. Я знаю доброту и кротость вашего характера; вы могли быть обмануты; кто знает, какие советы посмеют вам давать еще. Но теперь наступила последняя эпоха вашего царствования — дело идет о том, восстановится ли Польша на прочном основании, или могущественный и мстительный враг изгладит навсегда имя Польское; теперь вы не можете, вы не должны отдаляться от нации: вы должны или погибнуть, или спастись вместе с целым народом. Соблаговолите, государь, испытать вашу душу и приготовить ее к этим двум крайностям. Соблаговолите отвратить слух ваш навсегда от изменников и врагов отечества. Быть может, указывая вам какой-нибудь луч надежды, они будут вам советовать отделиться от народа или что-нибудь еще хуже этого: приходите в гнев и ужас при мысли об этом! Неужели вы захотите царствовать только над изменниками отечества и над рабами; неужели вы захотите приблизиться к своему трону по могилам граждан! Я знаю твое сердце, кроткое и благодетельное: ты этого не сделаешь; я уверен, что ты твердо решился жить или умереть с народом".

При этих словах король, по его собственному выражению, не мог долее удержать своей чувствительности, но, прервав проповедь, сказал громким голосом: "Вы говорите не понапрасну. Я поступлю по

вашим советам. Я буду всегда с народом, хочу жить и умереть с народом!"

Все это было сказано задним числом. Все это было уместно 3 или 5 мая 1791 года, когда движение происходило под королевским знаменем; когда королю готовы были вручить диктаторскую власть. Но теперь революция шла другим путем, теперь и Килинский в опьянении от новой роли называл себя главою народа. Революционеры признали верховным правителем своим генералиссимуса Косцюшку. Каково же было положение короля? Две власти — старая и новая — друг подле друга, что вело необходимо к образованию двух партий, к борьбе между ними. 1 мая приехал курьер от Косцюшки: генералиссимус одобрял все сделанное в Варшаве; назначил Мокрановского своим наместником. Вместе с этим озаботился и насчет своего соперника — короля: предлагал взять предосторожности, чтобы Станислав-Август не уехал из Варшавы, ни с кем не переписывался; чтобы все особы, близкие к королю, были арестованы. Вследствие этого члены нового правления явились во дворец с требованием, чтобы один из самых сильных приверженцев России, Виленский епископ князь Масальский, отдал им драгоценный крест, полученный от русской императрицы после подписания Гродненского трактата.

В тот же день в 9 часов вечера явился к королю Мокрановский с требованием, чтобы велел арестовать Виленского епископа и выдать его правлению; король отказался, тогда правление само распорядилось — арестовало Масальского, Скорчевского, епископа Хельмского, и Мошинского, великого маршала: все трое помещены были в Брюльском дворце. Король решился завести сношения с генералиссимусом. 6 мая послал объявить Косцюшке, что тесно соединил свое дело с народным и не сделает ни одного шага для собственного спасения. Но в Варшаве не верили этим заявлениям. 8 мая король выехал погулять из Варшавы в Прагу: народ взволновался, думая, что он хочет бежать, и правление прислало просить его, чтобы он не выезжал больше из Варшавы в предместье. Между тем народ волновался и по другой причине: он требовал казни лиц, известных своею приверженностью к России, — и поспешили удовлетворить требованиям народа: 9 мая были повешены гетман коронный Ожаровский, гетман Литовский Забелло, Анквич; народ требовал казни Масальского — и епископа повесили, несмотря на протест

папского нунция Литты. Народ не был доволен: поджигаемый Килинским и каким-то Чижом, он требовал новых жертв. Тогда Закржевский вышел к нему и сказал: "Поставьте виселицу перед моим домом и повесьте меня первого". Эти слова произвели действие: толпы стихли.

Эмигранты возвратились: Игнатий Потоцкий, Коллонтай, Капостас. 27 мая король имел любопытный разговор с Потоцким, который клялся, что он не якобинец; но так как должно делать стрелы из всякого дерева и так как крестьяне сделали и делают много для революции, то надобно им льстить до известной степени, равно как и горожанам; а потом мало-помалу надобно обрезать все, что будет слишком.

Король: "Должно ли верить слухам, что Косцюшко имел тайные сношения с пруссаками?" Потоцкий: "Никогда не было прямых сношений об этом; но Косцюшко старался дать понять пруссакам на деле, что не хочет враждебно действовать даже против настоящих границ прусских, если только пруссаки не будут неприятельски поступать против нас". Король: "Каковы ваши отношения к Австрии? Палатин Венгерский будет ли моим наследником с условием принятия конституции 3 мая?" Потоцкий: "Дело об этом только начинается. Если Тугут утвердит свой кредит, то наши надежды могут увеличиться". Король: "Что вы мне скажете о турках?" Потоцкий: "Пока еще ничего; но, по моему мнению, они двинутся". Король: "Получили вы деньги из Франции?" Потоцкий: "Нет, но, может быть, получим". Король: "Если вы их получите, то будете принуждены следовать французской системе и французским правилам?" Потоцкий: "Нет, нет, нет! Вначале будет некоторое сходство, но не впоследствии"<sup>245</sup>.

28 мая по распоряжению генералиссимуса образовался Верховный правительственный совет, членами которого были: Сулистровский, Вавржецкий, Мышковский, Коллонтай, Закржевский, Веловейский, Игнатий Потоцкий и Яскевич. На другой день Закржевский и Потоцкий явились к королю и показали ему подлинное предписание Косцюшки, что Верховный совет обязан отдавать почет королю и сообщать ему обо всех важнейших делах. Обнародование нового учреждения произвело сильное волнение между мещанами: в прежнем Совете они были членами на одинаковых правах с шляхтою, а из нового исключены! Допущены в каждый департамент так

называемые застенпцы, но не в качестве действительных членов, ибо без решительного голоса. Килинский объявил, что воспротивится открытию нового Совета именем всего варшавского мещанства, пока Косцюшко не назначит в члены Совета и из мещан. Капостас, видя, что сопротивление Килинского может ослабить кредит Косцюшки, столь необходимый для успеха революционного дела, настоял, чтобы не принимать предложения Килинского, не мешать действию нового Совета, но отправить депутацию к Косцюшке с просьбою исполнить желание мещанства. Депутация возвратилась без успеха: генералиссимус отвечал, что он, следуя желаниям своего сердца, охотно бы согласился на требования мещан, но никак не может этого сделать по разным, ему одному известным важным политическим причинам, а потому и просил ради Бога не беспокоиться. Мещанство успокоилось<sup>246</sup>.

Капостас, если верить его собственному свидетельству, много работал в это время: как ратман магистрата, он имел надзор за мучниками, булочниками и мясниками, чтобы они не поднимали цен на необходимые съестные припасы; наблюдал за раздачею денег бедным, большое число которых отсылалось ежедневно работать над городскими укреплениями. Капостас сочинил проект о дисциплине и правах мещанского войска; проект этот с небольшими изменениями был одобрен, напечатан и разослан ко всем начальникам мещанских войск для руководства. В звании генерал-инспектора казенной ассигнационной дирекции, Капостас с помощью разных людей, особенно купцов, сочинил указ Верховного совета, которым выпускались ассигнации; написал другой проект о приведении в порядок ассигнационной дирекции и о составлении ассигнаций. Несмотря на всю эту деятельность, Капостас не мог соперничать с Килинским относительно влияния на толпу: Капостас работал в магистрате, в ассигнационной дирекции, а Килинский всегда находился с толпою, начальствовал при работах на шанцах, и работать было весело благодаря тому же Килинскому, который нанимал музыку, угощал тех, которые могли доставлять ему влияние. Капостас, не без зависти смотрел на значение, приобретенное Килинским, что видно из отзывов о знаменитом башмачнике.

Говоря об участии Килинского в заговоре, Капостас замечает: "Килинский обещал в случае возмущения выставить тотчас в разных



местах многие партии мящан на помощь войску. Но он, как я под рукою узнал, а особливо от Гасчеровского, тогдашнего адъютанта коронной гвардии, выполнил это очень дурно или, лучше сказать, ничего не выполнил, и если б чернь не присоединилась к войскам вскоре сама собою, то они бы погибли именно вследствие неисполнения Килинским своего обещания. Даже многие сказывали мне, что не понимают, почему Килинскому приписывают так много важного, тогда как никто не знает за ним ни одного поступка, достойного таких похвал, какие ему расточают. Зная самолюбие его непомерное, не сомневаюсь я нисколько, чтоб он не хвалился тридцатью подвигами, из которых едва ли справедлив тридцатый. Как ни честен характер этого человека, однако он так слаб и недалновиден, что каждый мнимый патриот может склонить его ко всему, к чему угодно"<sup>247</sup>. Скоро Килинский должен был оставить Варшаву; но чтобы объяснить причину этого удаления, мы должны обратиться к военным действиям.

Вы видели, что по выходе своем из Варшавы генерал Игельстром соединился с пруссаками; отряд его заключал в себе около 250 человек; потом, перешедши в Лович, он стянул около себя 7000 войска. Генерал Денисов стоял с своим корпусом в Щекоцинах (на реке Пилице к северу от Кракова); в двух милях от Щекоцин, в Жарновце, стояли пруссаки под начальством генерала Фавра. К ним на помощь скоро явился с войском сам король Фридрих-Вильгельм II. Пруссаки спешили наступательными движениями на Польшу, во-первых, для того, чтобы не дать распространиться мятежу в областях, присоединенных к Пруссии; во-вторых, чтобы воспользоваться малочисленностью русских войск в Польше и взять себе здесь первенствующую роль, которая бы дала возможность приобрести хороший кусок при третьем, последнем разделе: раздел этот был несомненен при так безрассудно начатом движении со стороны поляков. 6 июня (н. с.) Косцюшко напал на соединенные русские и прусские войска при Щекоцинах и потерпел поражение. 8 июня русский генерал Дерфельден поразил при Хельме поляков, бывших под начальством Зайончека; 15 июня Краков сдался пруссакам. Косцюшко был в отчаянном положении. Он хотел поднять крестьян, набрал из них отряд, подделывался к ним, надел деревенскую сермягу, ел и целые дни проводил с ними<sup>248</sup>.

Но все это не вело ни к чему: придавленные крестьяне не понимали, какое у них может быть общее дело с шляхтою; не понимали, зачем они должны драться, чтоб дать торжество так называемой Польской республике над ее врагами. Крестьяне не поднимались, а между тем шляхта сильно встревожилась, увидев поведение генералиссимуса относительно крестьян, и нисколько не думала сообразоваться с этим поведением. В то время, когда Косцюшко заставлял крестьян в рядах своих биться за *ойчизну*, шляхта обременяла жен и детей их *паньщизною* (барщиною). Косцюшко разослал универсал, в котором стращал шляхту, что Москва старается поднять польских крестьян, указывая им на их злую долю и обещая облегчение властью императрицы Екатерины. Косцюшко требовал: чтобы крестьянин был лично объявлен свободным; чтобы рабочие дни были уменьшены; чтобы землевладелец мог отнимать у крестьянина землю, только доказавши перед судом, что тот не исполняет своих обязательств; чтобы землевладельцы и управляющие за притеснения крестьян отвечали перед судом как виновные в намерении погубить дело национального восстания<sup>249</sup>. Универсал возбудил в шляхте страшный ропот на нарушение права собственности — и остался без исполнения<sup>250</sup>.

В это время, когда шляхта не хотела сделать ни малейшего облегчения сельскому люду, в Варшаве в церкви Св. Креста проповедник с кафедры во время обедни произносил похвальное слово Робеспьеру. Понятно, что королю после этого стало не очень приятно в Варшаве. 16 июня, уведомляя Косцюшку о необходимости укрепить Варшаву в известных местах, Станислав-Август писал, что надобно отправить дам из города и освободить знатных арестантов, чтобы революция не носила якобинского характера. Тут же король изъявлял желание находиться в лагере подле генералиссимуса и жаловался, что Верховный совет сообщает ему о делах поверхностно, и то когда уже решение постановлено; что члены Совета избегают свидания с ним: Потоцкий и Закржевский были только раз во дворце. Когда король повторил эти желания и жалобы Деболи, тот отвечал: "Мое мнение — оставайтесь здесь и будьте покойны, оставьте правительствующим лицам делать все, что они хотят". Король сказал на это: "Если бы я руководился единственно самолюбием, то был бы вашего мнения; но я люблю народ и хочу спасти настоящее правительство". "Правительство

в хаосе, оставайтесь спокойным зрителем", — отвечал Деболи<sup>251</sup>. По свидетельству Немцевича, Коллонтай употреблял все средства, чтобы погубить короля<sup>252</sup>.

Вести о поражениях Косцюшки и Зайончека и о сдаче Кракова подали повод в Варшаве к явлениям, напомнившим сентябрьские дни Французской революции. 27 июня Казимир Конопка, бывший секретарь Коллонтая, стал произносить пред народными толпами зажигательную речь, указывал на измену краковского коменданта Венявского, сдавшего город пруссакам; говорил, что в стенах Варшавы много таких же изменников, пощаженных 9 мая; увещевал народ требовать их казни. Ночью народ в разных местах поставил виселицы, а на другой день, 28 числа, толпы направились к тюрьме, повесили прежде всего начальника тюрьмы Маевского за то, что он не хотел им выдать списка заключенных, а потом перевешали без разбора и последних. Капостас вместе с Килинским старались тут утишить расвирепевшую толпу, но понапрасну: им самим грозили виселицею. Килинский рассердился и подал в Верховный совет предложение — забрать несколько тысяч бедных и беспокойных людей, участвовавших в деле 28 числа, и отправить их в армию к Косцюшке. Предложение было принято, и самого Килинского сделали полковником и отправили к войску. "Воспользовались случаем, — говорит Капостас, — чтобы только с честью выпроводить его из города, потому что слишком сильное влияние его на чернь при всей честности его сердца, но при слабости ума могло сделаться вредным".

Но удаление беспокойных людей и Килинского не уничтожило якобинских замашек, которые сильно тревожили короля. 1 июля он писал Косцюшке: "Надобно, чтоб вы знали, в каком положении находится Варшава. Открыто на рынке и в питейных домах поют песню, в конце которой говорится: "Мы, краковяне, носим на поясе шарик: мы на нем повесим короля и примаса". Те же угрозы слышались в толпах 28 июня. Всей Варшаве известно, что в продолжение двух ночей перед 28 числом дворец и Вислу стерегла община рыбаков, чтоб воспрепятствовать моему мнимому бегству; слухами об этом бегстве свернули головы народу, и следствием были ужасы 28 июня. В целой Варшаве теперь нет ни одного человека, которому было бы поручено и который был бы в состоянии охранять меня. Поэтому я прошу вас прислать сюда отряд войска для

сохранения безопасности и спокойствия и для моей защиты, только бы этот отряд состоял не из рекрут, недавно набранных в Варшаве".

Но Косцюшке было не до этого. После поражения при Щекоцинах он поспешил к Варшаве и ввел свои войска в линии ее укреплений; но в то же время стремился к Варшаве и король прусский и 13 июля осадил ее, подкрепляемый русским войском, которым предводительствовал Ферзен, сменивший Игельстрома. Пруссакки хотели воспользоваться своим численным преимуществом, чтобы распорядиться Польшею в свою пользу; русские, разумеется, не должны были допускать их до этого. Фридрих-Вильгельм II жаловался, что Ферзен день ото дня становится менее *traitable* (сговорчив). К ужасу своему, король узнал, что император Франц хочет приобрести себе южные палатинаты Польши — Люблин, Хельм, Краков и Сендомир. Пруссакки сильно сердились, а Ферзен хладнокровно говорил, что австрийские желания вполне справедливы. В прусском лагере было разногласие во мнениях относительно ведения войны: Люкезини советовал действовать энергически, взять Варшаву, перейти Вислу, вступить в Литву, так чтобы после, при разделе, можно было хвалиться умеренностью, ограничившись линиею Вислы с Сендомиром и Краковом. Другого мнения был Бишофсвердер: он говорил, что не следует тратить прусских солдат в кровопролитном деле взятия Варшавы, которая должна сама сдаться, когда жители увидят серьезные приготовления к осаде. Решено было длить осаду и пускать русских биться около польских шанцев: пусть их тратят своих солдат. Но Ферзен на это не поддался. Когда король приглашал его к отдельному нападению, то он отвечал, что слишком слаб, чтобы действовать порознь, а вместе с пруссакками готов. Гольц присылал из Петербурга вести, что там вполне одобряют поведение Ферзена; что генерал этот, пожалуй, уйдет за Вислу и оставит пруссакков одних. Фридрих-Вильгельм в августе отправил в Петербург одного из своих дипломатов, Тауенцина, который должен был внушить русскому министерству, что король желает для себя земель между Силезиею, Южною Пруссиею и Вислою; король считает полезным, чтобы между Россиею и Пруссиею находилось небольшое отдельное владение; это владение Тауенцин должен был предложить графу Зубову с условием, чтобы тот поддержал прусские требования против австрийских.

Но скоро пришла весть, что король прусский отступил от Варшавы. Сам Фридрих-Вильгельм уведомил об этом императрицу следующим письмом<sup>253</sup>: "С горестию узнал я о варшавских убийствах, и, преисполненный таким же негодованием, какое было возбуждено и в вашем величестве, я с редкою энергиею занялся средствами наказать их виновников. Я собрал наспех все войска, какие только были поблизости, и разбил вместе с генералом Денисовым постоянно возрастающую армию так называемого генералиссимуса, которого повстанцы себе назначили. Не обращая внимания на тысячу военных потребностей, которым я не имел времени удовлетворить, я ускорял поход наших победоносных войск; я заставлял неприятеля покидать одну позицию за другою и заставил наконец броситься в линии Варшавы. Но если наши храбрые войска умели побеждать в открытом поле, то существуют препятствия, которых одно мужество преодолеть не в состоянии. Я нашел перед столицею, где я надеялся уничтожить гнездо мятежа, страшные укрепления, многочисленную артиллерию, а у меня именно недоставало артиллерии. В то время как я распоряжался, чтоб осадные орудия были взяты из прусских крепостей и доставлены под Варшаву с большими издержками, мятежники успели усовершенствовать свои укрепления и, что всего хуже, возбудить мятеж в провинциях, недавно мною приобретенных, и характер этого мятежа становился день ото дня опаснее. Я долго льстил себя надеждою, что, взявши Варшаву, я предупрежу взрыв, и если бы корпус генерала Дерфельдена, находившийся уже в Пулавах, не получил приказа принять другое направление, вместо того чтоб пособить мне нанести решительный удар, то, конечно, я не обманулся бы в моей надежде. Принужденный ограничиться собственными средствами, я, однако, не терял мужества, несмотря на умножающиеся препятствия. Я приказал сделать все распоряжения к последней атаке; но накануне получаю печальное известие, что суда мои с транспортом взяты или потоплены инсургентами. Со всех сторон меня извещают, что мятеж в южной Пруссии приобретает день ото дня более силы. Наши сообщения прерваны, получение запасов ненадежно, равно как и спокойствие моих провинций.

В этом положении, при потере надежды, что или корпус войска вашего величества, или императорский могут на правом берегу Вислы помочь усилиям, которые я посвящал взятию Варшавы, так как не

было возможности и по опасности сообщений, и по малости времени вознаградить скоро потерю снарядов, которых я ожидал с таким живым нетерпением, то мне не оставалось другого выбора, как отступить с моими войсками, причем часть их ввести в взбунтованную провинцию, остальные же поместить в недалеком расстоянии от столицы, чтоб держать в страхе ее виновных защитников".

Когда письмо это было получено в Петербурге, то на Тауенцина повеял дипломатический холод: императрица проходила мимо молча; Марков и Остерман толковали, какую ошибку сделал король, потому что одно взятие Варшавы могло положить конец волнениям в прусских областях. Зубов на известное предложение отвечал, что слишком много чести, да и австрийцы не позволят; что всего хуже для Тауенцина, Зубов объявил, что Австрию надобно вознаградить за ее борьбу с Французскою революциею, а вознаградить больше негде, как в Польше. Когда Тауенцин объявил притязания своего двора на земли в 1300 квадратных миль, то Зубов, Марков и Остерман отвечали, что хотя доля и велика, однако они употребят у императрицы все старания в пользу Пруссии.

Но Екатерина отвечала, что она просит короля отказаться от воеводств Краковского и Сендомирского, необходимых для Австрии; что же касается до русской доли, то сама природа указала границы; Буг и Неман; да еще к России отойдет Курляндия, потому что при двух прежних разделах Россия не получила приморских городов. Вся остальная Польша отдавалась Пруссии с городом Варшавою. При этом третьем разделе Россия получала 2000 с чем-нибудь квадратных миль, Австрия — 1000, Пруссия — с чем-нибудь 700; но хуже всего для Пруссии было то, что Австрия получала перевес. Тауенцин был в самом печальном положении. К большому его несчастью, приходит известие, что договор Пруссии с Англиею для ведения Французской войны нарушен; что генерал Мюллендорф идет назад с Рейна. "Императрица, — говорил Остерман, — не хочет обсуживать, кто здесь прав, кто виноват, Пруссия или Англия. Но ее величество не понимает, против кого Пруссии нужно усиливать войска свои в Польше. Она думает, что Пруссия не должна была бы показывать себя в такой зависимости от английских денег; теперь она видит, как хорошо сделала, что не послала своих войск на запад в такую коалицию. Как

блистательно отличается поведение Австрии, которая, несмотря на все жертвования, продолжает оказывать ревность к Французской войне".

Марков говорил: "В Пруссии забыли благодеяния договора 1793 года, не хотят обратить внимание на то, что южная Пруссия составляет вознаграждение не за один, но за пять походов; позабыли, что в договоре прямо обещано не оканчивать войны до совершенного уничтожения Французской революции". Все эти разговоры заставили Пруссию торопиться начатием сношений с Францией; а России был дан ответ, что Пруссия не может уступить Кракова, который в прусских руках будет только пунктом защиты, потому что лежит на север от гор, а в австрийских — пунктом нападения, и Прусская Силезия будет со всех сторон окружена австрийскими владениями. Если же нельзя удовлетворить требованиям Пруссии, то она вовсе не желает раздела<sup>254</sup>.

Судьба Польши решилась русским оружием: для этого императрица отправила Суворова, хотя звание главнокомандующего носил граф Румянцев-Задунайский. Суворов поразил корпус генерала Сераковского при монастыре Крупнице, потом добил его в окрестностях Бреста 8 сентября: 8 часов бились холодным оружием; поляков едва спаслось 500 человек; пленных было взято мало — едва несколько сот. "Ее императорского величества победоносные войска, — писал Суворов Румянцеву, — платили его (неприятеля) отчаянность, не давая пощады, отчего наш урон примечателен, хотя не велик; поле покрыто убитыми телами свыше пятнадцати верст. Мы очень устали"<sup>255</sup>. Суворов шел на соединение с Ферзеном; 3000 польский отряд под начальством Понинского был выслан помешать переправе Ферзена через Вислу; но он не успел этого сделать, оправдывая себя впоследствии густою мглою. В таких обстоятельствах Косцюшко решился соединиться с остатками корпуса Сераковского, с Понинским и напасть на Ферзена, не допуская его до соединения с Суворовым. Главная квартира польского войска после удаления пруссаков перенесена была в Мокотово, имение княгини Любомирской.

5 октября (н. с.) Косцюшко отдал приказ, чтобы два полка пехоты с несколькими орудиями перешли мост под Прагою и шли на соединение с отрядом Сераковского. Вечер Косцюшко, Игнатий Потоцкий, Немцевич и несколько других членов их кружка провели у



Закржевского; вечер был веселый и оживленный; никто из собеседников не предчувствовал, что расстаются так надолго и что их ожидает такое тяжелое несчастье<sup>256</sup>. На другой же день, 6 числа, Косцюшко вместе с Немцевичем отправился в лагерь Сераковского; 7-го, не дождавшись ни подкрепления из Варшавы, ни Понинского, Косцюшко выступил против Ферзена с 6500 пехоты и 4000 кавалерии; 9 числа около 4 часов пополудни поляки, держа путь к селению Мацеевицы, вышли из большого леса. Косцюшко и Немцевич в товариществе нескольких уланов выехали наперед — и через несколько минут открылась им русская армия, стоявшая обозом вдоль Вислы. Польские вожди должны были признаться, что впечатление, производимое этою армиею, было и сильно, и надавало страху. Поляки немедленно же начали перестрелку с казаками, но эта перестрелка скоро утихла; ночью приготовились к битве. Русские превосходили числом войска и орудий; у поляков было выгоднейшее положение: они стояли на земле сухой и возвышенной, тогда как русские — в болоте, где с каждым шагом грязли орудия и люди. Русские действовали убийственно своею артиллериею, потом, приблизившись на карабинный выстрел, начали страшный ручной огонь. В мгновение ока земля покрылась убитыми и ранеными.

Польские пушки умолкли, поляки потеряли всякое терпение; польский отряд полковника Кржицкого рванулся было, чтобы ударить в атаку, но русские ядра стелят его мостом и не дают проходу крестьянам, вооруженным косами. Наконец поляки обращаются во всеобщее бегство. Их было побито на месте 5000 да взято в плен 1500, большею частью раненых; урон русских от отчаянного сопротивления неприятелей был не мал. Честь дела принадлежит генерал-майору Денисову; Ферзен явился уже к концу битвы. Польские генералы Каминский, Сераковский, Княжевич, бригадир Копец, Немцевич были взяты в плен. Около пяти часов вечера явился в главную квартиру отряд русских солдат, которые несли полумертвого человека: то был Косцюшко, кровь покрывала его тело и голову, лицо было бледно-синее<sup>257</sup>.

Получив известие о плене Косцюшки, Суворов писал Румянцеву: "Поздравляю в живых первого героя, Российского Нестора. Господь сил с нами!" Еще легче и раньше было потушено литовское восстание. И здесь, как в Польше, среди спокойного народонаселения страны

волновалась одна Вильна, и небольшие отряды войска были единственными представителями восставших. Мы видели, какую роль играл артиллерист Ясинский в варшавском заговоре: легко понять, что он был главным двигателем виленского восстания, когда в Литве распространилась весть о событиях в Кракове и Варшаве. Ясинский с 300 солдат и с небольшою толпою народа взволновал Вильну. Русский генерал Арсеньев по своей невнимательности попался в плен; гетман Косаковский был повешен как изменник. Но после этого взрыва сейчас же оказалось, что в Литве нечего больше делать: ни людей с правительственными способностями, ни войска, ни денег, а между тем русские отряды перекрещивали Литву во всех направлениях. Командующим литовскою армиею Косцюшко назначил Виельгорского. Новый главнокомандующий, приехавши в Вильну, пришел в ужас от рапорта о состоянии армии; еще в больший ужас пришел он, когда, сделав смотр войскам, увидел малое число солдат, способных к бою, недостаток артиллерии. Послали к Косцюшке представить ему это бедственное состояние; Косцюшко отвечал, что, будучи сам стиснут неприятелем, находившимся у ворот Варшавы, не может разделять своих войск и подать помощь Литве; он просил Виельгорского не отчаиваться и не начинать с русскими решительного дела, чтобы иметь возможность держаться как можно долее в Литве<sup>258</sup>.

Но это было трудно сделать: русские явились под Вильною; Виельгорский, больной физически и нравственно, сдал команду генералу Хлевинскому, и тот очистил Вильну перед русскими войсками, которые вошли в город 12 августа.

Оставалось покончить с Варшавою. Весть о плене Косцюшки встречена была здесь отчаянием. Верховный совет дал ему в преемники генерала Вавржецкого. Сделаны были разные распоряжения; все войска сосредоточены около столицы; всех жителей заставили работать над укреплениями Праги; но уже со всех сторон громко толковали о необходимости сдаться русским на милость. Суворов не заставил себя долго ждать, тем более что ему хотелось предупредить прусского короля. 4 ноября на рассвете русские начали атаку польских укреплений, особенно тех, которые находились на правом берегу Вислы. В короткое время все они были взяты, людей не жалели с обеих сторон; 8000 поляков погибло, вся их артиллерия досталась русским. Прага, состоявшая преимущественно из

деревянных домов, представляла одни обгоревшие трубы и кучи пепла. Бомбы много зажгли домов и в самой Варшаве. Верховный совет решился наконец сдать город; сначала он отправил к Суворову Игнатия Потоцкого; но Суворов не принял Потоцкого, объявивши, что не войдет в сношения ни с одним из глав мятежа. Тогда магистрат назначил троих уполномоченных депутатов, которые и подписали с Суворовым условия сдачи: жителям обещана была личная и имущественная безопасность и прощение прошлого; они были все обезоружены.

Революционное правительство было уничтожено; король на время вступал опять во все свои права и написал Екатерине следующее письмо: "Судьба Польши в ваших руках; ваше могущество и мудрость решат ее; какова бы ни была судьба, которую вы назначаете мне лично, я не могу забыть своего долга к моему народу, умоляя за него великодушие вашего императорского величества. Польское войско уничтожено, но народ существует; но и народ скоро станет погибать, если ваши распоряжения и ваше великодушие не поспешат к нему на помощь. Война прекратила земледельческие работы, скот взят, крестьяне, у которых житницы пусты, избы сожжены, тысячами убежали за границу; многие землевладельцы сделали то же по тем же причинам. Польша уже начинает походить на пустыню, голод неизбежен на будущий год, особенно если другие соседи будут продолжать уводить наших жителей, наш скот и занимать наши земли. Кажется, право поставить границы другим и воспользоваться победою принадлежит той, которой оружие все себе подчинило".

Екатерина отвечала: "Судьба Польши, которой картину вы мне начертали, есть следствие начал разрушительных для всякого порядка и общества, почерпнутых в примере народа, который сделался добычею всех возможных крайностей и заблуждений. Не в моих силах было предупредить гибельные последствия и засыпать под ногами Польского народа бездну, выкопанную его развратителями, и в которую он наконец увлечен. Все мои заботы в этом отношении были заплачены неблагодарностью, ненавистью и вероломством. Конечно, надобно ждать теперь ужаснейшего из бедствий, голода; я дам приказания на этот счет сколько возможно; это обстоятельство вместе с известиями об опасностях, которым ваше величество подвергались среди разнузданного народа Варшавского, заставляет меня желать,

чтоб ваше величество как можно скорее переехали из этого виновного города в Гродно. Ваше величество должны знать мой характер: я не могу употребить во зло моих успехов, дарованных мне благостью Провидения и правдою моего дела. Следовательно, вы можете покойно ожидать, что государственные интересы и общий интерес спокойствия решат насчет дальнейшей участи Польши".

Королю очень не хотелось выехать из Варшавы; он представил Суворову, что ему не с чем выехать в Гродно, не с чем оставить в Варшаве своих родных и служителей, потому что он давно уже не получает никакого дохода, живет в долг. Суворов отвечал, что князь Репнин позаботится об этом в Гродне. Король обратился к Репнину, и тот отвечал, что в Гродне все готово к его принятию и он не будет иметь ни в чем нужды. Барон Аш, заведовавший дипломатическими делами, уверял короля, что все остававшиеся после него в Варшаве будут обеспечены. Король в разговоре с Ашем, упомянув о новом разделе Польши, сказал, что в таком случае он согласится лучше отречься от престола и провести остаток жизни в Риме. Аш отвечал, что отречение совершенно зависит от воли королевской, что его величество может устроить это дело в Гродно с князем Репниным. 8 января 1795 года Станислав-Август простился с главнокомандующим и был так тронут нежным прощанием Суворова, что растерялся и не припомнил всего, что хотел ему сказать<sup>259</sup>.

Станислав-Август не возвратился в Варшаву; Польша исчезла с карты Европы<sup>260</sup>.

## Примечания

В этом году православные Западной Руси получают своих архиереев, поставленных Иерусалимским патриархом Феофаном, вследствие чего приобретают новые силы в борьбе. См. Историю России с древн. врем. Изд. 4-е, 1888 г. Т. X. С. 73 и след. (Издан. Товар. "Общ. Польза". Кн. 2. Т. 1. Стб. 1462.) // Соловьев С. М. Соч. Кн. V. М., 1990. С. 413 и др.

См. Историю России с древн. врем. Т. XI. (Издан. Товар. "Общ. Польза" Кн. 3.) // Соловьев С. М. Соч. Кн. VI. М., 1991.



См. Историю России с древн. врем. Т. XIII. Гл. 1. (Издан. Товар. "Общ. Польза". Кн. 3.) // Соловьев С. М. Соч. Кн. VII. М., 1991. С. 7–172.

Здесь немецкий историк пропустил, что отпадение Малороссии вследствие религиозной борьбы вполне соответствует отпадению Нидерландов от Испании. Мы увидим, куда он по своему взгляду отнесет это соответствие.

Sybel: Geschichte der Revolutionszeit, I, 157 // Sybel H. Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1800. Bd 1. Dusseldorf, 1859.

См. Ист. России с древн. врем. I, II, III. (Издан. Товар. "Общ. Польза". Кн. 3.) // Соловьев С. М. Соч. Кн. VII. Главы 1–3.

Знаменитый Конисский.

Браницкий сам думал о короне. Рассказывали, что между ним и Саксонским курфирстом был заключен договор: если курфирст потеряет надежду на успех, то будет поддерживать Браницкого. Курфирст имел в виду при этом, что гетман стар, скоро умрет и тогда можно будет опять возобновить свои искательства. Но вместо старика гетмана умер молодой курфирст, и смерть его нанесла страшный удар саксонской партии.

9

30 октября 1764 года.



15 ноября 1764 года.

20 апреля 1765 года.

В этой речи Конисский говорил, между прочим: "Христиане от христиан угнетаемы, и верные от верных более, нежели от неверных, озлобляемы бываем. Затворяются наши храмы, где Христос непрестанно восхваляется; отверсты же и безнаветны жидовские синагоги, в коих Христос непрестанно поруган бывает. Что мы человеческих преданий в равной с вечным Божиим законом важности иметь, и землю мешать с небом не дерзаем, — за то раскольниками, еретиками, отступниками нас называют; и что гласу совести бесстыдно противоречить страшимся — за то в темницы, на раны, на меч, на огонь осуждаемы бываем".

См. первую главу, письмо короля от 20 апреля 1765 г.

**14**

13 мая 1765.

2 января 1766.

21 августа 1766.



6 сентября 1766.

6 октября 1766 года.

Говоря о Чарторыйских, обыкновенно употребляли это слово.

9 ноября 1766 г.

**21**

12 ноября.

19 ноября 1766.

28 февраля 1767, из Дрездена.

**24**

7 марта.



Репнин Панину 31 января 1767 г.

Репнин Панину 28 марта (8 апреля) 1767 г.

Репнин Панину 4 апреля старого стиля 1767 г.

Репнин Панину 16 (27) мая 1767 г.

Репнин Панину 31 мая (11 июня).

14 (25) июня 1767 г.

Репнин Панину 5 (16) августа.

Репнин Панину 30 августа (10 сентября).



Репнин Панину 6 (17) сентября.

Репнин Панину 30 августа (10 сентября).

Репнин Панину 12 (23) сентября.

Репнин Панину 30 августа (10 сентября).

Панин Репнину 14 августа 1767 г.

Репнин Панину 6 (17) сентября.

Репнин Панину 21 сентября (2 октября).

Репнин Панину 21 сентября (2 октября).



Репнин Панину 4 (15) октября.

Репнин Панину 11 (22) декабря 1767 г.

Репнин Панину 12 (23) декабря.

Депеша саксонского посланника Ессена к своему двору, 7 декабря 1768.

Pamiętniki do panowania Augusta III, i pierwszych lat Stanisł.  
Augusta, II, 73.

Там же, стр. 90.

Pamiętnik do historyi polskiej Adama Moszczyńskiego. Стр. 126 и след.

Репнин Панину 20 (31) августа 1768 года.



Копия с доношения христианских обывателей Балты Гурьеву от 16 июня 1768 г. приложена к депеше Репнина.

Репнин Панину 20 (31) августа.

Репнин Панину 5 (16) декабря.

Репнин Панину 20 (31) декабря: "Я все, что в приватном совете у короля происходило, знаю чрез весьма верного человека, который сам в том находился".

"Лучше ничего не делать, чем заниматься пустяками" —  
непереводимая игра слов; буквально: "Лучше ничего не делать, чем  
делать ничего" (Примеч. ред.).

Репнин Панину 24 декабря 1768 г. (4 января 1769 г.).

Репнин Панину 28 января (7 февраля) 1769 г.

Lettres du baron de Viomenil, p. 7.



Liv. 1, chap. VII et VIII.

Волконский Панину 11 (22) июня 1769 г.

Волконский Панину 26 июня (7 июля), 22 июля (2 августа).

Волконский Панину 26 июля (6 августа), 27 июля (7 августа).

Панин Волконскому 4 сентября.

Панин Волконскому 30 сентября.

Волконский Панину 31 октября.

Волконский Панину 22 августа (2 сентября).



Волконский Панину 1 (12) октября.

Волконский Панину 12 (23) октября.

Волконский Панину 18 (29) ноября.

Волконский Панину 27 ноября (8 декабря).

Волконский Панину 14 (25) декабря.

Волконский Панину 17 декабря 1769 г. (7 января 1770 г.).

Панин Волконскому 3 апреля 1770 г.

Волконский Панину 8 (19) января, 7 (18) февраля, 18 (29) марта.



Волконский Панину 20 (31) мая.

11 (22) мая 1771 года.

Салдерн императрице 1 (12) июня.

Салдерн Панину (28 мая) 8 июня.

Салдерн Панину 1 (12) июня.

Салдерн Панину 4 (15) июня.

Салдерн Панину 25 (6 июля).

Салдерн Панину 13 (24) июля.



Салдерн императрице 15 (26) июня.

Салдерн Панину 3 (14) сентября.

4 января 1771 года.

19 января 1771.

Фридрих II вследствие союзного договора платил субсидии России на время войны.

Салдерн Панину 4 (15) июня 1771 года.

Депеша от 14 июня.

Депеша от 3 июля.



Вспомним, как прежде утверждалось, что Франция никак не может помочь Австрии.

Депеша 10 сентября.

Салдерн Панину 19 (30) ноября 1771 года.

Салдерн Панину 3 (14) декабря.

"Вспомните, мои дорогой и уважаемый друг, что я представитель России и ваш бедный посол" (Примеч. ред.).

"Вы проявляете недоверие к вашему другу и вашему послу; вы столь вежливы с этими мошенниками-поляками, а с ними надо обходиться как со сбродом, они того заслуживают" (Примеч. ред.).

Салдерн Панину 20 января (1 февраля) 1772 года.

24 января.



Салдерн Панину 25 июля (5 августа).

Штакельберг Панину 8 (19) сентября.

Штакельберг Панину 13 (24) сентября.

**100**

Штакельберг Панину 14 (25) октября.

Штакельберг Панину 29 октября (9 ноября).

Штакельберг Панину 1 (12) ноября.

Штакельберг Панину 26 ноября (6 декабря).

Князь Михаил Чарторыйский, великий канцлер Литовский, умер вскоре после раздела; князь Август, палатин Русский, прожил еще семь лет.



Считали, что истрачено было на подкуп до 150 000 золотых.

Донесение Ессена см. у Herrmann. Geschichte des russischen Staates, VI Band. // Herrmann E. Geschichte des russischen Staates. Bd 6. Hamburg, 1832–1853.

17 июля 1782 года.

1 августа 1782 года.

10 (21) сентября 1782.

Дринский залив (Примеч. ред.).

13 октября 1782.

25 августа 1787 года.



24 сентября 1787 года.

25 сентября 1787 года.

24 сентября.

2 октября.

2 ноября 1787 года.

1 ноября 1787 года.

4 ноября 1787 года.

**120**

26 января 1788 года.



26 февраля 1788.

27 мая 1788.

**123**

4 июня 1788.

Екатерин [а] Великий (шутливое выражение де Линя. — Примеч ред)

3 июля 1788.

13 июля 1788 ("так что я понюхала пороха". — Примеч. ред.).

31 июля.

Записки Храповицкого (по изд. Москов. Истор. Общ.), стр. 110 // Храповицкий. А. В. Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. М., 1862.



Там же, стр. 115.

Штакельберг вице-канцлеру Остерману 15 октября 1788.

Записки Храповицкого, стр. 126.

"Францию лихорадит" (Примеч. ред.).

Имение куплено было Потемкиным.

**134**

20 мая 1789.

18 октября 1789.

10 января и 6 февраля 1790.



**137**

13 мая 1790 г.

17 июля 1790 г.

5 августа 1790 г.

9 августа 1790 г.

29 августа 1790 г.

**142**

25 марта 1790 года.

**143**

14 апреля.

**144**

2 мая 1790.



**145**

2 мая.

Депеша вице-канцлера Филиппа Кобенцеля из Вены  
австрийскому послу Люи Кобенцелю в Петербург 13 июля.

Герцберг говорил после полякам: "Votre plus grand ennemi c'est ce serpent Italien (Люкезини). C'est lui qui a compromis et qui compromet sans cesse les interets de la Pologne et de son roi. Les Italiens ont moins de politique que de ruse. Ils ne combattent pas, ils harcelent: ce sont les cosaques de la diplomatie". (Булгаков Безбородку 11(22) августа 1792 года) — "Эта итальянская змея (Люкезини) — ваш самый главный враг. Он постоянно ставил и ставит под угрозу интересы Польши и ее короля. Итальянцы больше хитрят, чем занимаются политикой. Они не сражаются, а изматывают противника, это казаки дипломатии" (Примеч. ред.).

Алопеус Остерману 25 ноября (6 декабря) 1790.

Memoires de Michel Oginski. 1, 88–102 // Memoires de Michel Oginski sur la Pologne et les polonais depuis 1788 jusqu'a la fin de 1815. O. 1. Paris, 1826.

Rapport de Vice-Chancelier de Cour et d'Etat au Chancelier pr. de Kaunitz Richtberg sur la conversation avec M. de Bischofswerderr le 20 fevr. 1791.

28 марта 1791.

Алопиус Остерману 8 (19) февраля 1791.



Stanhope — Life of William Pitt, II, chap. XV // Stanhope, Ph. Life of the right honourable William Pitt. Vol. 2. London, 1867.

Екатерина не забыла союзников. Записки Храповицкого, стр. 243: "Требую мраморный бюст Фокса, с которого сделав бронзовой, поставлю на колоннаде, подле Демосфена, он красноречием своим не допустил Англию до войны с Россиею". — Я (Храповицкий): "Il se croira trop honore". — "Non, je ne puis autrement exprimer ma reconnaissance" ("Он сочтет, что его удостоили чересчур большой чести". — "Ну нет, я не могу иначе выразить мою признательность". — Примеч. ред.).

Штакельберг Остерману 10 (21) января.

Штакельберг Остерману 13 (24) января.

Штакельберг Остерману 28 марта (8 апреля).

Штакельберг Остерману 7 (18) апреля.

Тот же тому же 14 (25) апреля.

Штакел. Остерману 29 апреля (10 мая).



Тот же тому же 18 (29) апреля, 9 (20) мая, 19 (30) мая.

7 февраля 1790.

Старого стиля.

Штакельб. Остерману 2 (13) марта 1790.

Штакельб. Остерману 7 (18) марта.

Штакельб. Остерману 20 (31) марта.

Аш Остерману 17 (28) июля.

В одном письме Потемкина к императрице находим о Штакельберге: "Он всюду бьет в набат, если б он не подписал своего имени, то я бы мог его письмо принять за Лукезиниево". В другом письме: "Из неограниченного моего усердия говорю, что вреден в Польше Стакельберг".



Екатерина заметила по этому делу: "П (Штакельберг) n'a rien fait de ce qu'on lui a ordonnй, et il a fait tout ce qui lui etoit defendu, outre cela il entend tout infiniment mieux que nons autres" "он (Штакельберг) не сделал ничего из того, что мы ему велели, зато сделал все то, что ему было запрещено; а между тем он намного лучше нас все понимает". — Примеч. ред.).

**170**

От 25 сентября.

Депеша 12 (23) октября 1790 года.

Pamiętniki Ochockiego II, 48.

Эссен и Гэльс утверждают, что депеши были фальшивые — сфабрикованы в Варшаве.

Pamiętniki Ochockiego II, 56.

Депеши Эссена у Hermann, Geschichte des russischen Staates, VI, 358.

О своем участии в событиях Булгаков доносил: "Сколь ни разглашают, что я издержал 60 000 червонных: не издержал я ничего, ибо, предвидя все, было бы деньги бросать в воду". Булгаков императрице 30 апреля (11 мая).



Булгаков Остерману 9 (20) июля 1791 г.

**178**

24 мая 1791 года.

Записки Храповицкого, стр. 202. Разговор о Франции: "Со вступления на престол я всегда думала, что ферментация там должна быть; ныне не умели пользоваться расположением умов: Фазта, comme un ambitieux ("как истец". — Примеч. ред.), взяла бы к себе и сделала своим защитником! Заметь, что делали здесь с восшествия?"

Храповицкий, стр. 206: "Да, ils sont capables de pendre leur roi a la lanterne, c'est affreux" ("они способны повесить своего короля на уличном фонаре, это ужасно". — Примеч. ред.). Стр. 209 — Изволила мне сказывать, что короля с фамилиею перевезли на житье в Тюльери: "il aura le sort de Charles I" ("ему суждена участь Карла I"- Примеч. ред.)

Записки Храповицкого, стр. 258. — "В воскресенье при разборе московской почты сказано мне: "Je me casse la tete ("Я ломаю себе голову". — Примеч. ред.), чтоб подвигнуть Венской и Берлинской дворы в дела французские. Прусский бы пошел, но останавливается Венский". Написали записку к вице-канцлеру: "Они меня не понимают: ai-je tort? Il y a des raisons, qu'on ne peut pas dire; je veux les engager dans les affaires, pour avoir les coudées franches (Они не правы. Есть соображения, которые нельзя высказать; я хочу вовлечь их в дела, чтоб развязать себе руки". — Примеч. ред.); у меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтоб они были заняты и мне не помешали".

20 сентября 1791.

12 ноября 1791.

Собственноручная записка Екатерины 4 декабря 1791.



Государственные имущества, раздававшиеся в пользование знати.

Булгаков Остерману 15 (26) января 1792 г.

Булгаков Остерману 15 (26) января, 4 (15) февраля.

Булгаков Остерману 6 (17) марта.

Записки Храповицкого, 7 марта: Рассматривая почту московскую, сказали, что "устали, никогда столько дел не было. Да еще приезд Потоцкого и Ржевуского время занимает. Как их не принять? Один 30 лет нам верен и предан; а другой, из неприятеля, по обстоятельствам, сделался нам друг, потому что Польская республика не может устоять против России. По польским делам есть один из самых неблагодарных... *c'est le roi* (таков король. — Примеч. ред.)".

Булгаков императрице 31 марта (11 апреля) 1792.

In partibus infidelium (В области неверных. — Примеч. ред.).

Булгаков императрице 12 (23) апреля, 6 (17) мая.



Recueil des traites, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne, par le comte d'Angeberg, p. 274.

Булгаков Остерману 17 (28) мая.

Булгаков Остерману 19 (30) мая.

Булгаков Остерману 15 (26) мая.

Алопеус Остерману 24 апреля (5 мая).

Алопеус Безбородку 27 апреля (8 мая).

Алопеус Остерману 8 (19) мая.

Булгаков императрице 11 (22) июня.



Булгаков Остерману 18 (29) июня, 19 (30) июня, 30 июня (11 июля), 7 (18) июля.

Булгаков Безбородке 16 (27) июля.

Булгаков Остерману 28 июля (8 августа), 18 (29) сентября.

Булгаков Остерману 16 (27) июля.

Булгаков Остерману 2 (13) июня.

Кауниц Кобенцелю 9 июня 1792.

Алопеус Остерману 19 (30) июня.

Алопеус Остерману 22 июня (3 июля).



Алопеус Остерману из Франкфурта 13 (24) июля.

Алопеус Остерману 13 (24) июля.

Алопеус Остерману из Люксембурга 8 (19) августа.

Алопеус Остерману из Люксембурга 8 (19) августа.

Еще прежде Шуленбург говорил Алопеусу, что по занятии Франции нужно будет оставить в ней русские войска, которые менее немецких могут быть подвержены опасности увлечься французскими приманками (elles sont moins sujettes a etre ebranles que le militaire allemand, qui ne resistera pas egalemt auxappas de la seduction francaise).

Алопеус Остерману из Вердюна 25 августа (5 сентября).

Алопеус Остерману, Вердюнъ, 20 сентября (2 октября). Алопеус находил много непонятного в поведении герцога Брауншвейгского. Но вспомним, что герцог Фердинанд под именем *Eques a Victoria* (Рыцарь Победы. — Примеч. 'ред.) был главным великим магистром масонства в Германии; вспомним, какую роль играло масонство в революционных движениях Франции; что главные деятели в этих движениях принадлежали к ложам; вспомним, что герцог Брауншвейгский провозглашался кандидатом на французский престол по свержении Бурбонов.

Алопеус Остерману, Берлин, 6 (17) ноября.



Записки Храповицкого, стр. 283: Из Риги получено по почте письмо Северина Ржевуского в собственные руки. Он делает возражения на раздел Польши и описывает, сколь затруднительно теперь положение его и графа Потоцкого. Он не верит, чтобы была на то воля ее в-ства. — "Я думала войти в Польшу к готовой конфедерации, но вместо того войска мои дошли до Варшавы и конфедерацию открыли за спиной армии. Они сами не сдержали слова, и теперь беру Украину в замен моих убытков и потери людей".

Записка Безбородко 2 декабря 1792 г.

Записки Храповицкого, стр. 286: Сказывали, что Елагин дивится, откуда собран родословник древних князей Российских (составленный Екатериною), и многое у себя в Истории поправил. Дошли до занятия Польши: "Владимир на Волыни мы теперь не взяли по причине. Но со временем надобно выменять у императора Галицию: она ему не кстати, а нужна прибавка к Венгрии из владения Турецкого".

**220**

Рескрипт от 22 декабря.

**221**

26 декабря 1792.

**222**

23 декабря.

**223**

17 (28) апреля.

**224**

От 12 июля.



Краснодемского, Шидловского, Микорского и Скаржинского.

Депеша Гольцу 25 октября 1793.

Депеша Гольцу 15 ноября.

Тугут Кобенцелю 18 декабря.

**229**

18 декабря.

Тугут Кобенцелю 13 марта 1794.

Собственные показания Капостаса генерал-прокурору Самойлову  
в Петербурге (неизданные).

Тут Капостас прибавляет: "А после намеревались мы отправить немедленно в Петербург курьера с поручением, что если ее в-ство позволит нам восстановить конституцию 3 мая и востребовать от Пруссии земли вооруженною рукою, то мы уступим ей в Украине и Подолии такую часть, какую она признает нужною для сообщения с пределами турецкими, да наследство Польского престола отдали бы одному из Российских принцев".



Собственные его показания в Петербурге (неизданные).

Я употребляю выражение Капостаса. Весь этот рассказ в точности составлен по соединенным показаниям Косцюшки и Капостаса.

Записки генерала Пистора: в Рамізнікі з 18 wieku. I, 16.

Seux-ci ont nomme, dit-on (Говорят, что они указали. — Примеч. ред.). Так выражается король Станислав-Август в своих записках (неизданных).

Пистор. С. 15.

Пистор. С. 25.

Тугут Кобенцелю 10 апреля 1794.

Записка Килинского в Раміетнікі z 18 wieku, I, 177.



Показания Деболи (неизданные).

Записки короля С.-А. Понятовского (неизданные).

Записки короля; показания Деболи.

9 батальонов и две компании, 8 эскадронов, 36 пушек.

Пистор, который хочет сложить всю вину на нераспорядительность русских.

Записки С.-А. Понятовского.

Показания Капостаса.

Показания Капостаса.



Pamiętnik Józefa Zajeczka: Pamiętniki z 18 wieku, II, 118.

D'Angeberg — Recueil des traites et, c. p. 373.

Zajeczek. 119.

Записки С.-А. Понятовского.

Показания Немцевича (неизданные).

**254**

От 1 сентября 1794.

Sybel. Geschichte der Revolutionszeit. III. 268 и след.

Донесение из Бреста 8 сентября 1794 года.



Немцевича; о битве под Мацеевицами, в Раміетнікі з 18 wieku, t.  
II.

Известно знаменитое выражение Косцюшки, когда он падал от ран: "Finis Poloniae" ("Конец Польше". — *Прим. ред.*). Впоследствии, в 1803 году, в письме к графу Сегюру он сам отрицает это известие: "Прежде всего, до окончания сражения, я был почти смертельно ранен и очнулся только два дня спустя, когда уже находился в руках моих врагов. Потом, если подобное слово непоследовательно и преступно в устах каждого поляка, то оно было бы гораздо более непоследовательным и преступным в моих устах. Я не был последним поляком, с моею смертью Польша не могла и не должна кончиться" (Recueil des traites, conventions etc. par le Comte d'Angeberg. Page 392).

Понятно, что в 1803 году Косцюшко считал себя обязанным опровергнуть известие о "Finis Poloniae". Мы вовсе не думаем уличать его во лжи; но заметим, что если он очнулся только два дня спустя, то спрашивается: мог ли он помнить, что ему пришло на ум и на язык в минуту отчаяния. Он защищает свою скромность; но зачем же было ему относить гибель Польши к собственной особе: Польша погибла потому, что истощала последние силы, и, проигравши сражение, выигрыш которого мог бы дать еще какую-нибудь, хотя слабую, надежду помериться с русскими силами, Косцюшко имел полное право сказать "Finis Poloniae". Немцевич, описавший нам сражение под Мацеевицами, говорит прямо, что Косцюшко был еще жив и не ранен, когда уже судьба сражения не могла быть сомнительна, когда уже русские овладели полем битвы.

Memoires de M. Oginski. I. 415 сл.

Записки С.-А. Понятовского.

В настоящем издании опущены следующие далее Приложения С. М. Соловьева, представляющие интерес главным образом для специалистов и состоящие в основном из цитирования переписки на французском языке Екатерины II, Людовика XVI, Марии-Антуанетты и др. лиц.